

-
-
-
-
-
-
-

Annotation

Шубин Алексей.
Семь пар железных ботинок.



ОТ АВТОРА

Неведомые нам авторы старинных русских сказок очень старательно, даже любовно снаряжали в путь-дорогу своих героев. Особенно озабочивало их то, что мы теперь назвали бы «транспортной проблемой». И, нужно сказать, разработали они ее на славу! Помимо золотогривых коней, умевших скакать «выше леса стоячего, чуть пониже облака ходячего», в распоряжении путников-богатырей оказывались мудрые сивки-бурки, вещие каурки, серые волки, сапоги-скороходы. Моря и океаны преодолевались с помощью китов и щук, для передвижения по воздуху сказочным персонажам служили орлы, гуси-лебеди и ковры-самолеты.

Но любимейших своих героев, тех, кто не боялся самых трудных и хлопотливых подвигов, заботливые сказители предусмотрительно обували

в железные ботинки.

— Иди к кузнецу, — наказывали они герою. — Пусть скуют для тебя семь пар железных ботинок. Тогда своего добьешься, когда последнюю пару износишь...

Автор этой книги полагает, что не сделал ошибки, объединив общим заглавием «Семь пар железных ботинок» повести о крестьянском сыне Иване Перекрестове. От такого заимствования сокровищница народного творчества не оскудеет, а Ивану Перекрестову железные ботинки очень нужны. Ему предстоит далекий и долгий путь, а сколько встретит он на том пути приключений и подвигов — ни автору, ни самому Ивану неизвестно...

Художник Д. В. Баженов.

ОХ, УЖ ЭТОТ ВАНЬКА!

ГЛАВА ПЕРВАЯ

ПОВЕСТВУЕТ ОБ ОДНОМ ПРИЯТЕЛЬСКОМ РАЗГОВОРЕ.

ЧИТАТЕЛЬ ЗНАКОМИТСЯ С НОВОСТЯМИ ГОРЕЛОГО ПОГОСТА

1.

Отпуская Ваньку на улицу, мать заранее предвидит неприятности.

— Смотри мне, наушников у малахая не подымай: нынче морозко, околянишь уши, как намедни, болеть будут.

— Ладно уж! — уклоняется от обещания Ванька.

— Ты мне не ладь, а слушай, что говорят! Дай-ка я сама мотузки завяжу... А ну, стой спокойно!

В качестве напутствия и профилактического средства от обмороживания ушей Ванька получает подзатыльник. Материнский подзатыльник по толстому овчинному малахаю для Ваньки — плевое дело. Все же, выйдя на двор, он несколько минут добросовестно выполняет полученный наказ. Но наступает (притом очень скоро) момент, когда жизнь в наушниках становится невыносима, Ваньке обязательно нужно все видеть и слышать, а тут, как ни верти головой, непременно что-нибудь прозеваешь. Опасливо поглядывая на дверь избы, Ванька начинает тянуть концы противных мотузков, но узел и не думает развязываться. Тогда, скинув рукавицы, он запускает обе пятерни под завязку и что есть силы тянет ее книзу. Мотузки не рвутся, а только скрипят и еще туже затягиваются. Остается последнее, самым Ванькой изобретенное средство. Он

пробирается к поленнице, поднимает со снега острую березовую щепку и, пользуясь ею, как пилой, начинает перепиливать мотузок.

Несколько минут работы и — крак! — узелок завязки свободно болтается под ухом. Ванька поднимает наушники и обретает счастливую способность слышать щж щр происходит на белом свете.

А на белом свете происходит многое. Слышно, как, звеня пешней, кто-то пробивает на реке прорубь, как у соседа, хромого Сыся, в хлеву стучит копытами жеребая кобыла, как далеко за погостом на дворе Изотовых лает собака. В глубоком молчании зимней тайги каждый звук отчетлив и гулок. Поэтому Ванька Издалека, может быть версты за три, слышит звон колокольчика: по реке бежит почтовая тройка. Это целое событие, Ванька во всю прыть спешит к берегу.

Мимо Горелого погоста почта пробегает раз в неделю, а по непогоде — того реже; Не мудрено, что на наблюдательном пункте Ванька застает друга и приятеля Пашку Свистуна с его пятилетним братишкой Савкой. Предстоит обязательный обмен приветствиями. Инициативу на этот раз берет на себя Ванька.

— Здорово, еретики окаянные! — свирепым басом говорит он. — Просфору по полу катали, собакам нюхать давали, в церкви на престол клали!

Пашка Свистун по-приятельски улыбается и торопливо отвечает:

— Вы вообще просфору на киселе ставили... Ложки, плошки, чугуны, староверы-шептуны...

Ванька спокойно выслушивает до конца сочиненную про староверов дразнилку и парирует:

— Щепотью соль крали, щепотью крест клали...

— Бусого расстригу в архирее поставили!

— А вы, табачники, вместо ладана в кадило чертова зелья напхали!

— А вы...

И дальше продолжали бы ребята этакий богословский диспут, но на этот раз некогда: звон колокольчика быстро приближается.

— Пошта бежит! Пошта! — приплясывая от восторга, кричит окаянный еретик Савка.

Ванька и Пашка застывают в позах внимательных зрителей. Оба они — великие знатоки конного дела и ямской службы.

— Левошка гонит! — по звуку колокольчика определяет Пашка.

— Левоха! — соглашается Ванька и добавляет: — Нынче рано погнал, к ночи в Нелюдном будет.

— До ночи будет! Леонтий на вожжах не заснет.

Колокольчик, кажется, совсем близко, но морозная тишина обманывает: проходит минут пять, прежде чем из-за заснеженных елей показывается тройка горбоносых лохматых лошадок... Еще каких-нибудь две минуты, и она скрывается под обрывом высокого, поросшего тайгой берега. Увязая в сугробах, Савка бежит за тройкой и кричит:

— Пошта! Пошта!

— Ух ты! — восторженно оценивает Ванька событие,

— Ты ничего не видел?—спрашивает Пашка.

— Дуга у Левонтия новая: зеленая, цветы красные.

— И правая пристяжка молодая. Звезда на лбу и заносит.

— Лешка выучит...

— Лешка-то?.. Он любую выездит.

— А человека в санях видел, какой в тулупе?

— Стражник. Когда почта с деньгами бежит, при ней всегда стражник с леворвертом.

— Может, ссыльного везут?

— Ссылных весной погонят... Их по одному не возят.

2.

Разговор о почте понемногу иссякает. Отзвучал колокольчик, застыла над Горелым погостом белая скука зимней тишины. Ванька вздыхает, Пашка с хитрецей на него поглядывает.

— Про Гришку Ерпана ничего не слышал? — словно невзначай, спрашивает он.

Всякая новость на Горелом погосте на вес золота, про Удалого Гришку Ерпана — того дороже. Гришка — зверовщик и слывет лучшим добытчиком. Неужто стряслось что-нибудь с Ерпаном? По лицу приятеля Ванька понимает, что тот сразу новость не выложит.

— Ерпан зверовать пошёл,— отвечает он.— Про него теперь долго слуха не будет.

— Отзверовал!—таинственно сообщает Пашка и, желая помучить приятеля, смолкает.

— А что?

— Да вот то...

— Что с ним случилось?

— Вернулся...

Не было еще случая, чтобы Ерпан возвращался с промысла до срока.

— Без добычи?

— Какая добыча! Дюжину хвостов принес, не боле...

— Может, заболел?

Пашка даже не отвечает на такую малоинтересную догадку.

И здесь на Ваньку снисходит вдохновение. Притворившись, что неожиданное возвращение Ерпана ничуть его не интересует, он говорит:

— Ну и хрен с ним, Ерпаном, коли вернулся!.. Прощай.

еретик, мне домой надо: мать велела скорее приходить.

Хитрость удастся на славу. Теперь уже Пашке не терпится как можно скорее все рассказать. Новость тем и дорога, что ею поделиться можно. Не поделишься, будет она тяготить, как неразменный рубль...

— Обожди...— просит он.— Ты Гришкино ружье знаешь?

— А то! Он его сам давал мне в руках подержать. Тяжелое!

— Порвалось!

У Ерпана ружье порвалось!.. Ради такой новости не то что уши поднять, малахай с головы сбросить не жаль!

— Врешь! — не верит Ванька. — Ерпану ружье от отца перешло, ему сто лет, такое не порвется.

— А вот и порвалось!.. Он, значит, полным зарядом по лисе бил... Как вдарил, так левый ствол и разворотило! А лису добыл все-таки... Хорошая лиса... Крестовка!

— Что ж, он ружье чинить повезет?

— Знамо, починит... А то и новое купит. Такое, в какое заряд сзади пхается. У Ерпана добытных денег много.

— Он и новое осилит! —соглашается Ванька.

За интересным разговором Ванька забыл обо всем и прежде всего о морозе. Неладное заметил Пашка.

— Почто у малахая уши задрал?.. Глянь, левое ухо все белое.

Будет теперь в наказание за любопытство Ванькино ухо болеть и пухнуть. Заодно Ванька вспоминает о перепиленном мотузке и предстоящих подшлепниках.

— Потри мне ухо-то!—просит он Пашку. — А то мне мамка задаст...

— Это я враз...

За таким лекарством, как снег, на Горелом погосте по зимнему времени далеко идти не надо. Пашка трет Ванькино ухо так старательно, что оно становится багровокрасным и начинает гореть. Однако Ванька и не думает торопиться домой. Дело в том, что, выпытав у Пашки его новости, свою новость Ванька припрятал про запас.

— Меня мамка нынче к ссыльным с молоком посылала...— говорит он таким тоном, будто ничего особенного в таком сообщении нет.

Ссыльных привезли на Горелый погост совсем недавно, поздней

осенью, и что они за люди, толком никто не знает. Их трое, живут они в пустом дьяконовском доме, и что у них делается — неизвестно. Замечали только, что свет в их окнах горит далеко за полночь.

— Ну? Прямо в дом к ним заходил?—интересуется Пашка.

— Звали, только я не пошел, а с крыльца в дверь глянул.

— Иконы-то есть у них?

— Икон не видел. Вот книг на столе много лежит. Вот сколько!

Согрешив против истины, Ванька показал на сажённый сугроб.

— Божественные?

— Кто их знает... Высокий, который с усами, увидел, что я на стол смотрю, начал меня про буквы спрашивать.

— Про какие буквы?

— Знаю ли я буквы...

— Ты ему чего сказал?

— Ничего не сказал... Оробел в ту пору.

— Значит, он сердито разговаривал?

— Вовсе он не сердитый, а насмешник... Взял и обозвал меня.

— По-нехорошему?

— Кто ж его знает как...

— Как же все-таки?

Ванька шмыгнул носом и шепотом сказал:

— Дитем тайги обозвал — во как!.. Ты, говорит, дитя тайги, передай матери деньги, а домой бежать будешь, пустые кринки не побей.

— А ты что?

— Ухватил кринки и — бегом...

— Ладно сделал. С ними, безбожниками, говорить грех, — оценил Пашка Ванькино приключение.

— Безбожники, а вот живут,— поразмыслив, сказал Ванька.— Батька говорил, человек без бога дня прожить не может.

— Так то человек, а они колдуны... Их не бог, а другой на земле держит, понял? На том свете им место давно уготовано.

Хоть и обозвал Усатый Ваньку «дитем тайги», но тог на него зла не имел. И уж кто бы сулил ад, а не щепотник!

— На том свете и вам, никонцам, горячие сковородки глотать придется! —отвечает он.

— А вас, староверов, вовсе свинец расплавленный пить заставят! Мы-то в раю будем, а вы...

— Так вас туда и пустили!

Еретик Савка, молча слушавший разговор старших, решил, что

пришло его время, и пустился в пляс, припевая:

— Шиш, о восьми концах крыж! Шиш, о восьми концах крыж!..

— Ваш поп сургутскому протопопу колокол с церкви в карты продул!..

Попрекнув братьев-щепотников таким вполне достоверным, вошедшим в историю Горелого погоста фактом, Ванька счел себя победителем и с достоинством покинул поле сражения.

ГЛАВА ВТОРАЯ

ВАНЬКА В ГОСТЯХ У КОЛДУНОВ. ВОЛШЕБНАЯ КНИГА.
ВАНЬКА ПОСТУПАЕТ КАК ЧЕЛОВЕЧЕСТВО. СЕРЕБРЯНЫЙ КОРАБЛЬ
И ЦАРЕВНА АРИХМЕТКА

1.

На другой день, проснувшись и свесив голову с полатей, Ванька увидел, что черная бревенчатая стена, выходившая на улицу, густо поросла инеем, а окна замерзли так, что солнечный свет едва пробивался в избу.

— Ух ты!—подивился про себя Ванька и уже совсем собрался снова нырнуть под овчину, но мать не позволила.

— Вставай, вставай, нечего бока пролеживать! Молоко нести надобно...

Тут Ванька вспомнил о новой обязанности: носить молоко колдунам, поселившимся в дьякон овском доме, и сон как рукой сняло.

Ванькины сборы недолги. Пожалуй, он побежал бы, не молясь и не завтракая, но мать враз навела порядок: сначала показала на образа, потом на старый чересседельник, висевший у притолоки. Пришлось Ваньке молиться и есть все, что положено. А положено ему было в тот день постное: квашеная капуста с солеными грибами и паренки — пареная репа и морковь в сусле.

Завтрак нежирный, но и за тот благодарить надо. Ванька, встав из-за стола, торопливо крестится не то на образа, не то на чересседельник. Теперь все в порядке. Но у матери возникает сомнение.

— Нынче на улице страсть! — говорит она.— Уж не знаю, пускать ли тебя...

Судя по промерзшей стене, сложенной из хорошо пригнанных и крепко-накрепко проконопаченных бревен, на улице и впрямь неблагоприятно. У Ваньки даже ком к горлу подступает от одной мысли, что мать может его не пустить. Поэтому он как можно серьезнее и басовитее говорит:

— Чего страстью пугаешь? Что я, девчонка али маленький?

На шестке печи, там, где, прорываясь в трубу, гудит жаркое смоляное пламя, чернеют большие корчаги со щелоком: мать готовится к стирке. Это обстоятельство решает ее сомнения.

— Сама бы отнесла, кабы не дела... Но помни: коли на улице задержишься да обморозишься, домой не приходи!.. Бегать не вздумай!.. Принесешь к ним молоко, сразу из избы не уходи, обогрейся маленько. Они хоть и безбожники, а, чай, люди, на мороз не выгонят.

Одевание на этот раз обходится без подшлепников. Впрочем, Ванька с грустью замечает, что мать успела пришить к наушникам новые мотузки, на этот раз из сыромятного ремня. Такие хоть целый день пили, ни за что не перепилишь.

На улице и впрямь была страсть. Низкое солнце светило через морозную мгу. Эта мга была так плотна и тяжела, что, казалось, давила землю. Когда Ванька попробовал поглубже вздохнуть, у него сразу захватило дух. В другое время он обязательно воскликнул бы: «Ух ты!», но сейчас что-то подсказало ему, что теплого воздуха зря выпускать не следует. Полверсты до дьяконовского дома шел непривычной степенной походкой, точно прижатый к земле, чувствуя, как настойчиво старается мороз добраться до его прикрытого меховым козырьком носа. И добрался бы обязательно, если бы дьяконовский дом стоял сажень на сто дальше.

В такую пору не до вежливости. Не извещая о своем прибытии стуком, Ванька толкнул плечом тугую дверь и впустил в избу столько пара, что хозяева не сразу его заметили и поняли, в чем дело. Первым догадался Усатый.

— А, юный гипербореец явился? — весело воскликнул он. — Как оно нынче?

Было ясно, что Ваньку опять обозвали. Как обозвали, он, конечно, не понял (сквозь наушники ему послышалось: «выюн ты, гриб и перец»), однако обстоятельства были таковы, что обижаться не приходилось. Поэтому, вытерев рукавом полушубка нос (это требовалось сделать безотлагательно), он с деловитой сухостью сказал:

— Молоко принес. И чтобы порожние кринки мне сейчас отдали. А деньги, мамка сказала, потом заплатить успеете.

Опростать кринки оказалось делом нелегким. За десять минут пути молоко взялось льдом.

Впрочем, Усатый заботился не так о молоке, как о Ваньке.

— Ты, малец, шапку сними, полушубок расстегни и обогрейся как следует...

Легко приказать: «сними шапку да расстегнись!» Пальцы, хоть и были

в варежках, но плохо слушались Ваньку. Кончилось тем, что за дело взялся сам Усатый, сумевший быстро и ловко развязать кожаный узел малахая и расстегнуть пуговицы.

Освободившись от головного убора, Ванька осмотрелся по сторонам в поисках иконы. Иконы нашлись, хотя и были, на взгляд Ваньки, повешены на неподобающем месте— посредине стены. Облюбовав самого бородатого и красивого святого, Ванька как можно ниже опустил на рубаше пояс, трижды перекрестился размашистым двуперстным крестом и отвесил бородачу полууставный поясной поклон. Осенившись крестным знаменем, он почувствовал себя куда смелее и увереннее. Теперь общество колдунов было ему не страшно. Когда Усатый поинтересовался, зачем перед молитвой нужно было опускать пояс, Ванька Пояснил:

— Правильный крест до пупа доставать должен, а пояс мешает. Через пояс креститься грех.

— Скажи, пожалуйста, я и не знал! — сокрушенно сказал Усатый.

В глубине сердца Ванька почитал молитву делом нелегким и не очень интересным. Поэтому от души пожалел Усатого.

— Плохо, коли не знал, зря руками махал. Ежели кресты до пупа не доходили или ты через пояс крестился, бог на твою молитву плевать хотел, все равно, что ее вовсе не было.

Усатый мог возразить на это, что Ванька сам напрасно махал руками, потому что крестился на портрет Дмитрия Ивановича Менделеева, но он этого делать не стал, только печально вздохнул.

Ванька решил его утешить.

— Ты не жалеешь... Крестился-то ты небось щепоткой, так что твоя молитва все одно была негодная.

Постепенно отогреваясь, Ванька начал обретать утраченную на морозе любознательность.

По правде говоря, комната дяконовского дома, пустовавшего много лет, и при новых хозяевах выглядела не очень уютно. Три самодельных топчана, накрытых темными одеялами, грубо сколоченный большой стол, несколько скамеек и полки — вот и вся обстановка. Правда, над одним топчаном висело ружье, но то была обыкновенная ижевская берданка и такого знатока, как Ванька, заинтересовать не могла. Вот книги и бумаги, горой лежавшие на столе,— дело другое. Повышенный интерес Ваньки к этим предметам объяснялся тем, что он не знал способов их употребления. И уж совсем не предполагал Ванька, что внимательно наблюдавший за ним худощавый и длинноусый человек (Ванька считал его старшим колдуном) был учителем, умевшим разбираться не только в маленьких ребячьих

душах, но и в душах взрослых, серьезных людей.

Не спрашивая ни о чем Ваньку, Усатый нагнулся и достал из-под стола такую огромную и красивую книгу, что у парня сердце ходуном заходило. И понятно: дожив до девятого года, Ванька за всю свою жизнь видел одну-единственную книгу—«Псалтырь», до которой ему строго-настрого запрещено было дотрагиваться. Здесь же ему показывали — и не то что издали показывали, а прямо в руки давали такое великолепие, такую красоту, что он сначала попятился.

— Возьми, посмотри картинки, — предложил Усатый.

Ванька мог удержать книгу только двумя руками. Положив ее на скамейку, он поднял крышку переплета и... тут-то и началось колдовство, которого он все время побаивался!

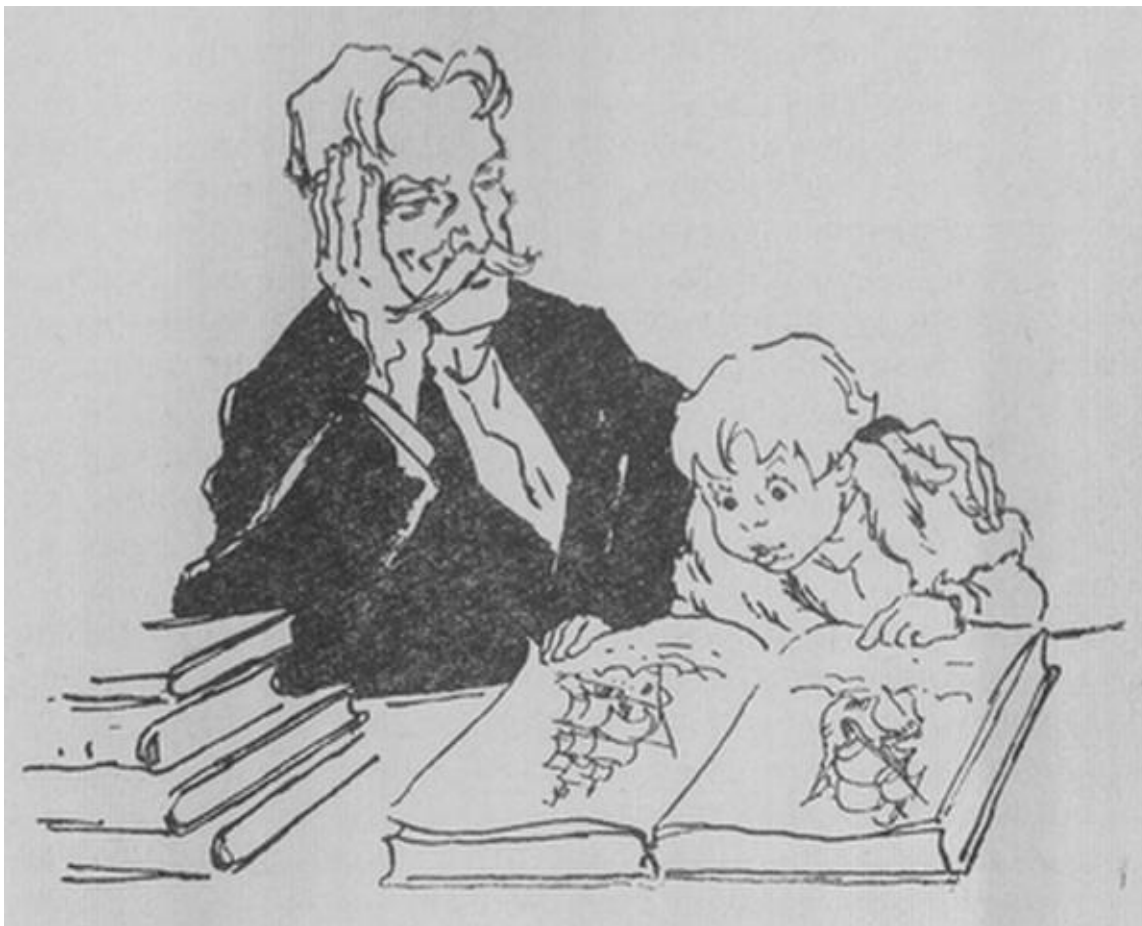
Первое, что увидел Ванька, была лодка, скользившая под парусом по кудрявому морю. За первой лодкой шли другие суда, еще красивее и больше размером.

— Ух ты, какой плавает! — воскликнул Ванька, увидев несущийся под всеми парусами фрегат.

— Да, красивый корабль! — согласился Усатый.

— Ко-ра-абль! — повторил Ванька.

И насмотрелся же он всяких кораблей! Одни из них плыли под гордо раздутыми парусами, другие приводились в движение рядами длинных весел, третьи дымили высокими трубами. Что ни страничка—новый корабль. То высокие, то низкие, то окутанные облаками порохового дыма, то празднично разукрашенные гирляндами флагов, они, каждый по-своему, были прекрасны. Ни один пароход, ни одна баржа, не говоря уже о паузках и карбасах, когда-либо проплывавших мимо Горелого погоста, ровно ничего не стоили по сравнению с кораблями на картинках!



Ваньке так часто приходилось ухать от восторга, что его губы превратились в трубочку.

Только одно было плохо: он не мог прочитать подписи под картинками, обращаться же с частыми вопросами к Усатому стеснялся.

И все же иногда не выдерживал.

— А это чего? — спрашивал он, тыча пальцем в удивительно грозный черный корабль, извергавший из двух высоченных труб тучи густого дыма.

— Броненосец береговой обороны «Адмирал Ушаков».

— Ух ты, какой!.. Видать, много дров жжет. А из чего он сделан?

— Из железа.

— Весь как есть из железа?! Из самого настоящего? Ух ты-ы-ы!!!

Последнее восклицание относилось уже к другой картинке. Изображенный на ней корабль выглядел, может быть, не так грозно, но удивительно гордо. Возможно потому, что он был сфотографирован снизу, его корпус, надстройки над палубой и мачты казались очень высокими. К тому же он был окрашен светлой краской.

До понятия «красота» Ванька не дозрел, но корабль так ему

понравился, что он забыл обо всем окружающем.

— Крейсер первого ранга «Адмирал Нахимов»,— без просьбы пояснил Усатый.

— Первого ранга адмирал Нахимов...— задумчиво повторил Ванька и очень уверенно решил:—Этот не из железа, а вовсе из серебра сделан!

И тут случилось нечто странное. Ванька сочинил небылицу: не делают кораблей из серебра, но из троих умных взрослых людей, находившихся в комнате, никто не улыбнулся, никто не возразил ему. Все поняли, что стоят у истока волшебной сказки или, что еще дороже, у колыбели детской мечты.

2.

Все когда-нибудь кончается. Перевернул Ванька последнюю страницу волшебной книги, и начали рассеиваться колдовские чары.

— Спрячь! — со вздохом сказал он Усатому.— Завтра, когда молоко принесу, еще посмотрю. Можно?

И нужно же было так случиться, что, когда Усатый стал прятать книгу, со стола упали какие-то бумаги, и Ванька увидел на нем такую диковину, что остолбенел от любопытства. На столе стоял низенький ящик без дна, а поперек ящика шли золотые прутики с нанизанными на них желтыми и черными кругляшками.

— Эго чего у тебя?—не выдержал Ванька.

— Это?... Ты считать умеешь?

Вопрос как будто не относился к делу.

— Умею! —храбро ответил Ванька.

Усатый подсел к столу.

— Ну-ка, считай!

— Раз!

В ту же секунду Усатый тронул одним пальцем диковину, и желтая кругляшка, звонко щелкнув, перелетела с одной стороны ящика на другую.

— Пара!

Щелк!

— Тройка!

Щелк!

Ванька запнулся, потом не очень уверенно сказал походившую на правду несурязицу.

— Четверток!

Щелк! — снисходительно согласилась с ним диковина.

— Пятак!

Щелк!

Здесь Ванька конфузливо умолк. Начиналась высшая математика, а с ней он был не в ладах.

— Ну?

— Пол... полдюжины...— выдавил из себя он.

Щелк! — подтвердила очередная кругляшка.

— А дальше?

— Домой идти надо! — сказал Ванька, отодвигаясь от не в меру любопытного, к тому же бездонного ящика.

Но отделаться от Усатого колдуна оказалось нелегко. Взяв Ваньку за плечи, он привлек его к себе.

— Подожди, теперь я тебе покажу, как я считаю. Смотри и слушай... Один!.. Два!.. Три!.. Четыре!..

Он выговаривал слова выразительно и четко, и кругляшки, перелетая справа налево, подтверждали каждое из них: так, так, так!

— Понял? Теперь попробуй сам.

Ванька нерешительно протянул руку и дотронулся до косточки счетов.

— Раз... два... три... четыре... четыре... пять... шесть...

— Семь!

— Семь!.. Осемь!.. Де...

— Девять!

— Девять!.. Десяток!..

С грехом пополам все кругляшки перебрались налево.

— Давай еще раз.

— Давай! Только ты не подсказывай, а то неинтересно...

Новое колдовство: увлекательная игра с головой затягивает Ваньку. И невдомек ему, почему весело улыбается Усатый, почему так внимательно следят за игрой его товарищи. Большой день нынче у Ваньки, а он о том не догадывается!

— Сколько здесь сейчас? — экзаменует его Усатый.

Не веря глазам, Ванька пересчитывает костяшки пальцем.

— Семь...

— Правильно. А сейчас?

Три костяшки отлетают направо.

— Четыре.

— Молодец! Теперь скажи, как тебя звать?

— Ванька. А тебя?

— Петр Федорович.

— А во что мы с тобой играли?

— В арифметику.

— А-рих-мет-ка!—добросовестно, чтобы не забыть, повторяет Ванька.

Он одевается, завязывает малахай, прячет руки в рукавицы, берет кринки, подходит к двери и... останавливается как вкопанный.

— А это у вас чего?

Около порога лежат осколки красного стекла от фотографического фонаря. Ванька поднимает осколок, смотрит через него на лица улыбающихся колдунов, на окно...

— Ух ты!.. Все как есть красное!

— Возьми, если хочешь,— предлагает один из колдунов.

— Я один только... Самый малюшечный...

— Забирай все.

Ванька вспоминает окаянных еретиков Пашку и Савку, заботливо собирает осколки в карман и объясняет:

— Ребятам отдам. Пусть поиграются.

На улице та же страсть, та же мга, но, должно быть, оттого, что с пустыми кринками идти легче, Ванька не очень торопится, а, подойдя к дому, даже решается бросить дерзкий вызов рассвирепевшему дедоморозу: подняв козырек малахая, наводит на солнце осколок красного стекла. Солнце кажется таким красным, будто его только что из печи вытащили. Небо и снег еще краснее, а деревья... Деревья-то Ванька, между прочим, рассмотреть не успел. Пока вертел головой во все стороны, хитрый дед подкрался к нему потихонечку и ухватил за нос!.. И, конечно, загнал в избу.

3.

А в избе ох и скучно! Мать Ванькиной скуки не разделяет, советует:

— Сиди да играй! Чего тебе еще нужно?

Не понимает мать, что человеку очень многое нужно, а такому, как Ванька, земного шара мало.

Игрушками Ванька не избалован: все его сокровища уместаются в старом туеске. Кроме осколков красного стекла лежат там пустые катушки из-под ниток, сломанный нож и найденный около реки камень с дыркой.

Высыпав на пол содержимое туеска, Ванька осматривает катушки, и лоб его морщится...

Из ничего чего-нибудь не сделаешь.

На взгляд Ваньки, катушки отжили свой век и должны перевоплотиться. Он берет нож и начинает перерезать их пополам — четыре белые и одну черную. Затем выбирает ровную сосновую лучину и

вытесывает из нее длинную палочку, такую тоненькую, чтобы можно было нанизать на нее половинки перерезанных катушек. Нанизывает по порядку четыре белые, две черные, снова четыре белые.

— Четы! — говорит Ванька, с удовлетворением осматривая свое изделие.

Ванька и впрямь сделал счеты, на которых можно считать до целого десятка. Но тут возникает новая техническая задача. Достаточно Ваньке приподнять конец палочки, кругляшки соскальзывают с нее и разбегаются по полу.

Ясно, что палочку нужно закрепить с обоих концов. При Ванькиных технических средствах такая задача представляется неразрешимой. Но мало ли «неразрешимых задач» стояло на пути человечества? Оно никогда не отступало перед неразрешимым и всегда побеждало.

Ванька поступает как человечество. Прежде всего в поисках выхода из положения изучает окружающий его мир. Темные бревенчатые стены и вся нехитрая обстановка избы прекрасно ему знакомы. Но на этот раз он смотрит на все глазами конструктора. Внимание его привлекают два предмета — деревянное корыто и лукошко. И то и другое нетрудно было бы переделать на счеты, но присутствие матери исключает такую возможность.

Нет, кажется, ничто не выручит Ваньку! Он снова осматривает избы и на этот раз замечает длинные черные трещины в стенных бревнах. Трещину в бревне, собственно, очень трудно считать вещью или предметом, но иной раз и она может сослужить службу. Тем более, что мать за нее заступаться не будет. Ванька втыкает палочку в одну из трещин. Палочка держится прочно, но техническая задача разрешена ровно наполовину: кругляшки соскакивают со свободного конца палочки.

Человечество в лице Ваньки некоторое время пребывает в недоумении, но потом довольно быстро доходит до мысли — придвинуть друг к другу противоположные стены избы. Уж тогда-то палочка будет закреплена намертво! Правда, не осталось бы места для печи, полатей, столов и скамеек и вообще вся внутренность избы превратилась бы в узкую щель, но техническая задача была бы разрешена радикально, фундаментально, даже монументально... Проект (такого слова Ванька, конечно, не знал, но автор убежден, что Ванька разработал проект) был великолепен, но... не всякий проект обязательно выполняется! На своем пути человечество каждодневно перешагивает через горы отвергнутых проектов. Так же поступил и Ванька, понявший, что осуществление его затеи встретит кое-какие препятствия.

Когда Ванька бывал в скверном настроении (чаще всего оно нападало на него после порки), он отправлялся в задний угол под полатами, где в тишине и темноте предавался Философским размышлениям о своей горькой участи. На этот раз его загнала в угол творческая неудача. И кто бы мог подумать, что именно там он найдет искомое! Здесь, в углу, стены избы, постепенно сближаясь, сходились одна

с другой. Сходились сами, не требуя никакой перестройки!

— Ух ты!—с восторгом воскликнул Ванька, что в точном переводе на древнегреческий язык несомненно прозвучало бы как знаменитое архимедовское «эврика!»

Щелей в углу оказалось много, и Ваньке при помощи ножа очень быстро удалось закрепить палочку наискосок между стенами, превратив ее тем самым в гипотенузу, соединявшую стороны прямого угла. Теперь кругляшки не могли соскакивать. Правда, Ванькины счеты не умели громко щелкать, но в принципе ни в чем не уступали настоящим.

Тихое поведение сына, долгое время радовавшее мать, под конец показалось ей подозрительным.

— Чего ты в углу делаешь?—спросила она, оторвавшись от корыта.

— С арихметкой играюсь! — лаконично отрезал Ванька.

— С кем?—не поняла мать и с некоторой тревогой пошла посмотреть, в чем дело. Однако пристроенная в углу арифметика выглядела так безобидно, что мать успокоилась и даже (что бывало с нею не часто) похвалила Ваньку.

— Всегда бы так. Чем по улице скакать и уши морозить, сидел бы себе тихонько да игрался...

4.

Перевалило часа три за полдень, засинело за окном, поползли из углов потемки. Тщетно пробует желтый огонек лампадки разогнать обступившую его темноту. А тут еще мороз потрескивает, норовит сквозь бревна в избу пробраться. От окон, от дверей холодный дух идет, огонек оттого колышется, мерцает, и кажется Ваньке, что кто-то по избе ходит. Мать пошла корове и овцам сено и воду давать, и Ванька один. Хотя Ванька не трус, но лучше было бы, если бы в такую пору отец дома был...

За дверьми мать грохочет ведрами. Входит и торопливо, чтоб мороза не впустить, дверь захлопывает, заиндевелый платок сбрасывает.

— Еще похолодало... Страсть немогутная!.. В сенцы не выскакивай. Для нужды я у порога лоханку поставила.

— Мам, а мам!.. Тятка скоро приедет?—спрашивает Ванька.

— Теперь скоро. К святкам обещал, — серьезно, как взрослому, отвечает мать. Видно, и ей тоскливо.

— А зачем он поехал?

— За деньгами. Лес на лесопилку возить поехал.

— Он бы здесь лучше возил...

— Здесь возить его некуда, никому он не нужен, а в городе за возку платят. Без денег не проживешь...

Чудно получается: по словам отца, человек без бога прожить не может, теперь мать то же самое про деньги говорит, и получается, что бог и деньги — одно и то же.

Молитва перед ужином. Ужин. Молитва на ночь... Гю-сле молитвы (не только вечерней, но и всякой другой) Ваньке всегда спать хочется, и он охотно лезет на полати. Наверху тепло. Ласковый запах овчины еще больше в сон клонит.

Хоть заказано Ваньке после молитвы о мирском думать, засыпает он с мыслью о том, как завтра колдунам молоко понесет... Потом от печного тепла вспоминается Ваньке лето. Будто стоит он на берегу реки, а по реке корабль плывет. Быстро плывет и на солнце блестит.

Подплывает ближе, и видит Ванька, что он весь серебряный, из новых гривенников сделан.

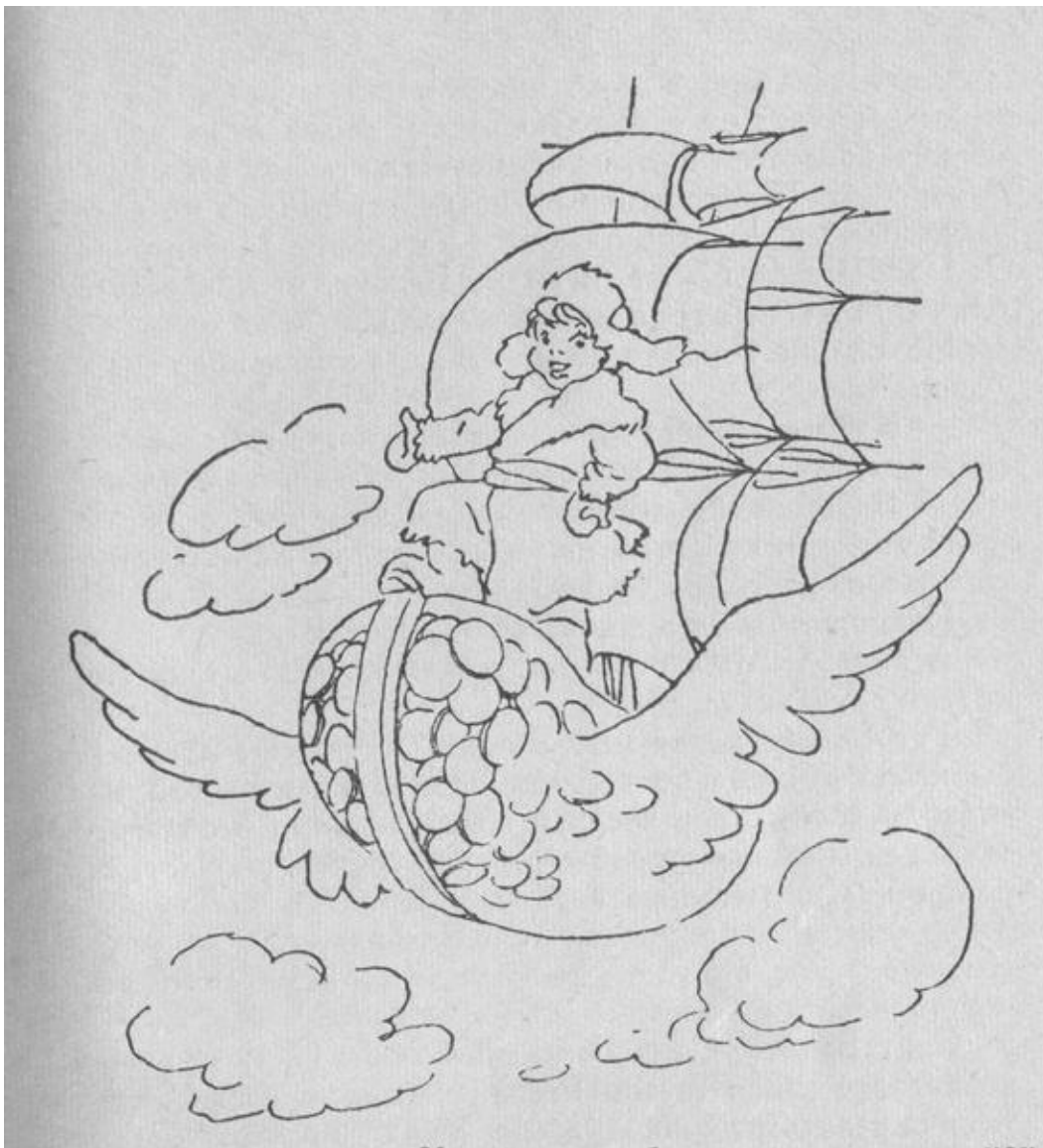
На палубе корабля стоит девица-красавица, царевна Арихметка.

— Куда плывешь, Арихметка? — кричит Ванька.

Арихметка рукой машет: очень далеко, мол, плыву.

— Возьми меня с собой! — просит Ванька.

И вот стоит Ванька на палубе рядом с Арихметкой, а корабль плывет, все больше скорость набирает.



«Хорошо бы еще шибче!» — думает Ванька.

А корабль только того и ждал: наподдал так, что все кругом замелькало.

Тут Ваньке новая мысль пришла, что еще лучше было бы не по речке, а по воздуху плыть. Только подумал, а корабль поднял нос вверх и полетел прямо в облака. Облака, как снежные сугробы, о борта трутся, шуршат, серебряной пылью рассыпаются.

— Ух ты! — бормочет во сне Ванька.

Спит Ванька. Спит Горелый погост. Спит под черным небом занесенная снегом Российская империя. Идет год тысяча девятьсот тринадцатый.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ
СКАЗ ОБ ОПРОМЕТЧИВОМ ЧИНОВНИКЕ, О ТОМ,
КАК КОСТРОМСКИЕ И ВОЛОГОДСКИЕ МУЖИКИ РАЗЫСКАЛИ
РАЙ И ОТКУДА ВЗЯЛАСЬ РЕКА НЕГОЖА

1.

Долга северная ночь: проспишь от зари до зари — пол-жизни упустишь. Давай же, читатель, скоротаем часок: расскажу я тебе давний сказ про опрометчивого чиновника, про его возницу, про то, откуда взялась река Негожа, про то, как Найденный погост стал Новым...

Без малого сто лет назад жил-был в стольном городе Санкт-Петербурге молодой чиновник из правоведов. Жить бы ему там и дальше и наживать большие чины, да он ошибку допустил: взял и слиберальничал. И уж очень некстати— в ту самую пору, когда либерализм из моды выходить стал. И, очень естественно, угодил он, себе в наказание, другим в назидание, в дальний город Томск. Из присланной секретной бумаги тамошний губернатор вычитал, что направили ему того правоведа не для чего иного, как для охлаждения головы.

Потребовал он его к себе и говорит:

— Вот что, опрометчивый молодой человек! Поручаю я вам дело великой государственной важности — изучать, как благоденствуют и процветают вверенные моему попечению здешние северные народы. И все ваше будущее теперь всецело будет зависеть от того, как вы это благоденствие и процветание в своих докладах изображать будете.

И очутился проштрафившийся царский слуга на самом севере губернии, за страшными Васюганскими болотами, в таких местах, куда ни один Макар, ни один ворон дороги не ведал. Два года ездил он по юртам, зимовьям и стойбищам разных народов, а на третий, когда он из очередной поездки по замерзшей реке Оби возвращаться стал, случилось с ним такое происшествие, что едва его голова совсем не остыла. Началась пурга, лошади из сил выбились, и стало понятно, что до ближайшего наслегу ему не добраться. Возница, человек бывалый, и тот загрустил:

— Плохо дело, барин, как бы нам не пропасть...

Лошади едва бредут по заметенной дороге, день на исходе, а кругом ничего, даже звериных следов не видно, и что дальше будет — неизвестно...

Обязательно приехали бы на тот свет и седок и возница, если бы их коренник не спас. Ни с того ни с сего он заржал, круто рванул в сторону, потом стал как вкопанный...

— Что случилось? — спросил, выглянув из-под медвежьей полости, чиновник.

— Чудно, барин!.. На дорогу наехали...

— Обалдел, что ли? Откуда здесь дороге взяться?

— Грех вам лаяться, барин! Нас бог спасает, а вы ругаетесь. Мне не верите, сами поглядите.

Выглянул чиновник и видит: прошел поперек реки сан-йЫи след. Сразу понять можно — совсем недавно дровни проехали. Конские яблоки между полозов даже остыть не успели, от них парок идет.

Раздумывать не приходилось: кто бы ни проехал, а следы наверняка к какой-нибудь печке вели. Только свернули на следы, лошади ободрились. Проехали с полчаса, с обеих сторон лес пошел — с большой реки не то в узкую протоку, не то вовсе в приток заехали. Еще через час стал чужой след на берег подниматься, пролег сначала между кустами тальника, потом по ельнику и пихтарю, а там, на гриве, и сосны показались. Осилив гору, лошади еще ходче пошли: дорога оказалась наезженной. Тут сосны поредели, и под ними что-то зачернело: дом не дом, а какое-то строение.

— Погост, барин! Скудельня и кресты.

Остановив лошадей, возница закрестился.

По берегам таежных рек, по редким дорогам частенько попадались одинокие «жальники» — кресты, поставленные добрыми людьми на месте чьей-либо нечаянной дорожной смерти. Но здесь было целое кладбище. Два десятка крестов и часовенка-скудельня говорили о близости давней оседлой жизни. Иные кресты обрушились, почерневшая от времени часовенка покосилась, но кое-где блестело свежее дерево, на звоннице, крытой щипковым навесом, висел небольшой колокол со свисавшей до высоты человеческого роста веревкой. Кресты были старообрядческие, восьмиконечные.

Между тем на карте не значилось в тех местах ни одного русского селения. Успев немного натореть в сибирских административных делах, царев слуга понял, что сделал немаловажное открытие, разыскав потаенное раскольниковье убежище. За такое дело, как приобщение к государственной жизни целого селения, полагалась награда. Не мудрено, что в голове молодого чиновника замелькала мечта о скором возвращении в Петербург. Правда, нужно было установить добрые отношения с раскольниками неизвестного толка, но это в ту минуту не показалось ему трудным...

— Гони скорее! — сказал он вознице. — Засветло приедем.

Возница, однако, не торопился.

— Приехать мы, почитай, и так уж приехали, а уедем ли? — с

сомнением проговорил он.— Неведомые люди живут. Раскольники всякие бывают: скопцы ежели или бегуны, так те и в прорубь опустить могут.

— Скопцам здесь делать нечего, а бегуны по сто лет на одном месте не живут... Гони и колокольчик отвяжи!

Колокольчик зазвенел, и тройка довольно лихо въехала на улицу селения, вернее в пространство между пятнадцатью дворами, беспорядочно разбросанными поодаль один от другого. Людей не было видно. Если бы не собачий брех да не дым, тянувшийся из труб и дымоволоков, можно было бы подумать, что селение вымерло.

Только в четвертом доме на долгий и сильный стук отозвалась живая душа.

— Кто? — спросил сиповатый мужской голос.

— Чиновник... Из губернии...

— По каким делам приехал?

Походило на то, что чиновник разговаривал с закрытой калиткой.

— По государственным делам.

— Царев человек, значит?

— Выходит, так.

Калитка помолчала, потом спросила:

— Чего царь про нас прослышал, что тебя прислал?

Вести разговор по государственным делам с калиткой, да еще стоя на ветру под снегопадом, было обидно, но Сибирь-матушка быстро выучивает людей принаравливаться к обстоятельствам.

В начавшейся игре такие козыри, как «губерния», «государственное дело» и даже «царь», стоили немного, и чиновник дозрел до мысли, что всего лучше рассказать правду.

— Да я вовсе не к вам ехал, а совсем по другому делу...

И поведал запертой калитке о том, как ездил по юртам и зимовьям, как был захвачен на реке бураном и случайно напал на след саней.

Рассказ возымел действие: калитка подобрела. Сначала загремела засовом, потом залязгала щеколдой и, наконец, распахнулась, сдвинув в сторону тяжелый снежный сугроб.

— Коль ты человек путно шествующий, входи. Таких мы примаем!

Эти слова принадлежали уже не калитке, а высокому седобородому старику, стоявшему перед чиновником в накинутом на плечи полушубке.

Через час царев человек и его возница при свете плошки сидели в маленькой, пристроенной к крытому двору избенке около жарко топившейся печи. Не считая печи, стола и двух скамей, избенка была пуста. Лошади, не в пример хозяевам, были устроены с большим почетом, на

общем дворе, в обществе себе подобных. Помимо сена старик хозяин насыпал для них полную колоду овса.

Можно было подумать, что хозяева забыли о гостях. Но нет! Скоро в избу вошла старуха. Не сказав ни слова, поставила на стол деревянное блюдо с непорухенным вареным тетеревом, горшки с горячей ячневой кашей и топленым молоком и положила пол-каравая хлеба. Только накрыв стол, коротко осведомилась, есть ли у приезжих свои ложки и чашки. Узнав, что есть, облегченно вздохнула.

Доводилось чиновнику кучивать в знаменитых петербургских ресторациях, но едва ли когда ужинал он с таким аппетитом! После долгой сухомятки и тетерев, сготовленный без всяких приправ, и каша показали ему шедеврами кулинарии. Повеселел и возница. И уже совсем развеселился, когда та же старуха, войдя, сказала:

— Банька стоплена. Пойдемте провожу...

Сказано это было не допускающим возражений тоном. И пришлось петербургскому щеголю отведать сибирской бани-каменки... Последовать примеру возницы, трижды выбегавшего «на вольный дух» и барахтавшегося в снегу, он не решился, поэтому так «сомлел», что едва добрался до избушки, где на полу чуть не по пояс было наложено душистое сено. Испив медового квасу, стоявшего на столе, царев человек завернулся с головой в волчью доху и, не успев ни о чем подумать, заснул как убитый. Рассудив, что перед прорубью не угощают и в баню не водят, со спокойной совестью заснул под своим тулупом его возница.

2.

Суровое и молчаливое гостеприимство хозяев, казалось, свидетельствовало о том, что они избегают всякого общения с приезжими. Но это было не совсем так.

Утром, после завтрака (старуха молча принесла хлеба, молока и отварную рыбу муксун), в избушку, постучав, вошли трое мужиков: вчерашний старик и два других, немного помоложе. Сняв шапки, покрестились на иконы. Потом вперед выступил хозяин дома и заговорил:

— Пришли мы к тебе, барин, с общего совета... Мы так понимаем: дорожный человек есть дорожный человек — будь то татарин, убогий, юрод, тайный душегуб или, как ты, слуга царский,— нам все едино Велик грех дорожного человека без помощи оставить и/и обидеть. Но и тебе, барин, непростимый грех будет за добро злом заплатить. И об одном мы тебя, христа ради, просим — не раскрывай нашего последнего убежища!.. Прими от нас дар посильный и езжай себе с богом!..

При последних словах старик протянул руку, и о столешницу звякнуло золото — три больших, старинной чеканки, червонца.

Кровь бросилась в лицо цареву человеку: не совсем в ту пору вымерзла у него совесть. И он впопыхах сказал то, что она ему подсказала:

— За что вы меня обижаете, старики?.. Спрячьте сейчас же деньги! Я и без денег...

Тут бывший правовед едва не допустил новой опрометчивости — не пообещал своего молчания задаром, но вовремя опомнился и овладел собой.

— Потолкуем лучше по-хорошему. Присаживайтесь...

Он показал на передний угол. Такая вежливость вместе с бескорыстием несколько озадачила стариков. Переглянувшись, они сели. Сел напротив них и государев человек.

— Царя признаете? — спросил он.

Три бороды слегка и недружно кивнули.

— Как же его не признавать, коли он есть, — помолчав, промолвил один. — Кабы нам от него обиды не было...

Больших верноподданических чувств в таком ответе не звучало. Но и то сказать: сидя за Васюганскими болотами, можно было вольнодумствовать сколько душе влезет.

Чиновник сделал вид, что не расслышал неучтивости по высочайшему адресу, и спросил:

— Про гонения на веру говорите?

Ширококостый чернобородый мужик, сидевший прямо против чиновника, поднялся и, сердито глядя на него в упор, громко сказал:

— Гонение на древнее благочестие одно... А то, что царица повелела нас, государевых крестьян, в вечную крепость своему кобелю отписать, — это не обида, не антихристово попущение?

На этот раз не расслышать сказанного при всем желании было невозможно.

~ Какая царица? — испуганно спросил чиновник.

— Известно, какая — Катерина, которая Пугачева сказнила!

Царев человек облегченно вздохнул: честь «ныне царствующего дома» была почти не затронута. Но крепка, видно, была обида, если через девяносто лет говорилось о ней с таким гневом!

Чиновник на этот раз оказался догадлив.

— Старики, да вы о манифесте об освобождении крестьян слышали?!

Его собеседники переглянулись. Ответил за всех Чернобородый:

— Откуда нам слышать было? Сороки о таких делах не стрекочут.

Манифеста с собой у царева человека не было, но он помнил его наизусть и, будучи порядочным краснобаем, сумел прочесть так, будто бы оглашал с амвона. По вниманию стариков понял, что манифест произвел впечатление.

— Воля, значит, вышла! — сказал старший и, поднявшись, широко перекрестился. Его примеру последовал другой. Только Чернобородый ничем не проявил своих чувств.

— То для российских,— отозвался он.— У нас воля своя, недареная, не от царя, а от господ бога ее имеем... На веру-то нам воли не вышло?

Живя в Петербурге, чиновник был в курсе «новых веяний». С легкой руки славянофилов, увидевших в раскольниках оплот «русской самобытности», царское правительство пошло если не на полную отмену законов против раскола, то на значительное их послабление, предложив губернаторам «безотлагательно прекратить следствия и разыскания по делам раскольников».

чинов-

Окончательно войдя в роль «царева человека», чиновник разъяснил сущность указа, честно добавив, что он не распространяется на скопцов и другие изуверские секты.

— Эдаких у нас нету,— проговорил Седобороды истинного благочестия держимся... Есть у нас беспоповцы, есть какие к раззявам склоняются, но таких, что себя портят, нету. Их учение от лукавого.

— Какие раззявы?—спросил заинтересованный чиновник.

— Кой в великий четверток при молебствии все служение разинув рот стоят, благочестивое усердие перед святым духом кажут... Со стороны смотреть чудно, однако греха большого в том нету.

Под тяжелым сверлящим взглядом Чернобородого чиновник удержался от улыбки. И хорошо сделал: главный разговор был впереди.

— Так! — медленно проговорил Чернобородый, наваливаясь широкой грудью на столешницу.

— А что нам, к примеру, будет, если мы перед властью объявимся?

— Ничего не будет! Припишут вас к волости и приходу, ну и, конечно, попа с увещеваниями пришлют. Податей и рекрутчины требовать не станут...

Делая щедрый посул, чиновник лгал, но не совсем. Дело в том, что редкие открытия потаенных старообрядческих селений использовались губернским и епархиальным начальством с наибольшей для себя выгодой. Найденные дворы писались переселенческими, и появление на карте нового поселка являлось как бы зримым свидетельством незримого

усердия начальства, стремившегося к заселению и обрусению края. В данном случае (чиновник судил о том по ячневой каше, ржаному хлебу, молоку, муксуну, тетереву и меду) можно было говорить об успехах хлебопашества, скотоводства, охотничьего промысла, рыболовства, даже пчеловодства на крайнем севере губернии, изобразив, по выражению губернатора, картину полного благоденствия и процветания. И все это, не ударив палец о палец! Взамен того найденные дворы могли получить временные (об их кратковременности правовед умолчал) льготы по податной и рекрутской повинностям. Не оставалось в накладе и духовенство, обретавшее если не усердных, то платежеспособных прихожан. Писали их, разумеется, «воссоединившимися». Откровенное очковтирательство шло по всем линиям: в Питере не находилось охотников проверять, что делалось в болотах за Нарымом.

Нелегкую задачу задал царев человек своим собеседникам! Его вежливость, красноречие, видимое бескорыстие, наконец, сама случайность его появления внушали некоторое доверие. Вывод же из того, что он говорил, напрашивался сам собой: пришествия антихриста не состоялось и и потаенное пустынножителство становилось бессмысленным. Это понимали все, даже упрямый Чернобородый.

— Что же с землей будет, какую мы подняли?—по-деловому спросил он.

На такой вопрос ответить было легче всего.

— Посудите, старики,сами: кому, кроме пас, здешняя земля нужна? Мало вам — еще берите, сколько осилите!

Кроме больших вопросов — политического и религиозного — существовал еще один, едва ли не большей важности, экономический, который стыдливо откладывался на конец беседы. Он всплыл в самой неожиданной форме. — Почем в городе коса стоит, ежели ее за деньги брать? — неожиданно спросил все тот же Чернобородый.

— Коса? Этого я, право, не знаю...

— А топор?

Царев человек растерялся.

Проза экономики была ему чужда. Выручил его молчавший до той поры возница.

— Коса косе рознь,- вразумительно сказал он.

— Ежели стальная, вилейская, скажем,за нее целковый просят. Поторгуешся - за девять гривен отдадут, ну, а ежели купца на измор брать, торговаться с уходом, он и за восемь гривен уступит... Топоры, те глядя по закалке, без топорща ежели, — от четырех до семи гривен.

— Меха почем — куница, белка, соболь?

— Белка нынче не в цене, идет по сортам от двугривенного до полтинника. Куница — иное дело: за какую два, а за какую и пять целковых дают. Соболь, тот шибко редок стал, самый завалящий — десять, а ежели темный и ровный — с первого слова полста выкладывают. Настоящий покупатель и больше даст.

Старики переглянулись и нахмурились. Цены на железо казались им непомерно низкими, на меха — неправдоподобно высокими. Наезжавший к ним тайком купец-промышленник недавно взял за неважную косу и дрянной топор редкого по красоте и добротности соболя да еще придачи требовал. Хотя, по словам возницы, белки были «не в цене», но цена бумажного набивного платка в десять беличьих хвостов представлялась ни с чем не сообразной. Промышленник, называвший себя ревнителем старой веры, клялся и божился, что меняет товары себе в убыток, но бесхитростная справка возницы объясняла многое. Становилось ясным, почему промышленник утаил от жителей погоста закон об освобождении крестьян и упорно советовал им «лучше хорониться», пугая каторгой за вероотступничество.

— А воск, кедровый орех, смолка и серка почем?

Этого не знал и возница.

Воцарилось молчание, порожденное тяжелыми сомнениями и взаимным недоверием.

— Вот чего я тебе скажу, барин, — медленно заговорил Седобородый. — Хотя о том прямого разговору не было, но весь твой разговор к тому велся, чтобы мы объявились... Без общего совета решить мы ничего не можем: нас здесь трое, а в пустынке нашей шестнадцать хозяев. Без споров не обойтись... Оно и правильно: в таком деле общий совет нужен...

— Не так, старик, говоришь! — неожиданно прервал его Чернобородый и, повернувшись к чиновнику, громыхнул: — Крест на тебе есть, барин?

Вопрос прозвучал грубо и грозно, и правовед сейчас же сообразил, что лучше всего отвечать по существу, отложив в сторону дворянскую и чиновничью амбицию.

— Есть крест.

— Покажи!

Это было уже прямое, не терпящее препирательств приказание.

Расстегнув рубаху (руки его слегка дрожали), он достал небольшой золотой крестик.

— Целуй крест, что правду сказывал!

Суровым холодом старины дохнуло на вчерашнего столичного франта — временами страшных клятв, каменных мешков и самосожжений. Чиновник был родовит: кому только не целовали кресты его предки! И Годунову, и Лжедмитрию, и Шуйскому, и Тушинскому вору, и Владиславу, и Михайлу...

Но предки творили то по простоте души: училищ правоведения и юридических факультетов не кончали, не изучали прав — ни естественного, ни гражданского, ни государственного, ни римского, ни общего, ни обязательственного...

— Ну, барин?!

Перешагнув через дворянскую амбицию и кучу ниспроверженных прав, царев человек вернулся в семнадцатый век.

— Все, что я здесь сказал,— святая правда, — глуховато выговорил он. — Целую на том крест!

— Аминь!—отрубил Чернобородый и, улыбнувшись, добавил: — Прости, барин. Может, тебе обидно показалось, так грех за твою обиду на мне будет... Отмолю на досуге.

Должно быть, обряд крестоцелования пришелся по душе вознице, потому что он, не ожидая приказания, достал из-за ворота свой медный крест и, поцеловав его, торжественно сказал:

— Расшиби меня паралик на этом самом месте, коли соврал: за косу красная цена — девять, за топор — семь гривен. И что беличьи хвосты не в цене — святая правда! А соболей, хоть самых плешивых, только давай!.. Аминь!

Но Чернобородый лишь рукой махнул.

— Тебе и так поверим, не барин...

Не по себе стало цареву человеку от разысканной им «русской самобытности». И уж совсем загрустил он, узнав, что уехать удастся не так-то скоро. Сообщил ему об этом вечером хозяин.

— Придется теперь тебе погостить у нас, барин. Большой разговор зашел... Лиха тебе не будет, не отощaeшь, коли дней пять поживешь.

На другой день хозяин зашел снова, и тогда-то услышал от него царев человек историю возникновения селения.

Не случайно, говоря об обиде, помянул Чернобородый царицу Екатерину. Щедра была, немецкая душа, на подарки: целыми селами, а то и волостями раздаривала она русскую землю своим любимцам. Раздарила до конца центральные губернии, раздарила Украину, дошла очередь до лесного севера — Костромы и Вологды. Знать ничего не знали лесные мужики: спать легли государственными крестьянами, проснулись

крепостными рабами немца-латынянина. И невозможно было той беды — антихристова плена избыть. Был бы жив Пугачев, к нему подались бы, а тут один исход — в пустыню идти и хранить там истинное благочестие до второго пришествия.

На тот случай бывалый человек подвернулся и подходящий адрес дал.

— Есть,— говорит,— на Востоке райская страна, рекомая Едём, куда праведный град Китеж перенесен бысть. Обретается та страна за многими землями и за горами — в междуречье промеж великих рек Тигра и Евфрата. Столь те реки велики и многоводны, что кто увидит их — сразу узнает...

Без малого полтора ста семей поднялись с насиженных мест и двинулись по тому точному адресу.

Долог и страшен был их путь. Не год, не два — четверть века шли они на восток. Шли крадучись, в обход городов, проселками, лесными тропами, кое-где по рекам на плотах плыли. Когда вовсе из сил выбивались, останавливались в глухих селах, благо многие промыслы знали: кто — санное, кто — печное, кто — ложкарное, кто — пимокатное. Проживут года два-три и — дальше. Многие, конечно, и вовсе отставали, а сколько в дороге людей от голода, холода и горячек померло — никак не счесть: сколько десятков верст прошли, столько крестов-жальников вдоль дороги выросло. Заработки не на харчи, а больше в карманы попов и приказных шли...

При всем том выяснилось, что бывалый человек адрес дал правильный. После десяти лет пути через горы — Каменный пояс — переваливать пришлось, а еще через десять — междуречье между великими и многоводными реками обнаружилось. То ли потому, что малость к северу забрали, то ли за двадцать лет наименования перемениться успели, но только Тигр рекою Обью обернулся, а Евфрат — Енисеем, а в остальном все точно сошлось: столь великих рек не узнать было нельзя. Что рай совсем близко, уже по одному тому приметили, что антихристова племени — бар и чиновников — почти вовсе не стало.

Поднялось с места полтора ста семей, дошло до междуречья двадцать. Еще шесть семей потеряли, когда в самом междуречье подходящее для рая место искали.

И ведь разыскали! Обошли украдкой города Томск и Нарым, для верности еще верст триста к северу и востоку забрали и остановились. Шли через болота зимой, к весне на высокий берег неведомой реки вышли и нашли здесь все, чему в раю быть положено: и ель, и сосну, и березу, и черемуху, и рябину, и дорогую всякому русскому сердцу великую обувных, лубяных, мочальных и медовых дел мастерицу — красавицу липу.

И то сказать: не мыслился земной рай уроженцам Вологодской и Костромской губерний без привычных и нужных деревьев, без ягоды — малины, смородины, клюквы и брусники, без грибов — груздей, маслят и рыжиков, без волков и медведей, без оводов, комаров и мошек.

С медведями можно было перевестись рогатинами, от оводов и комаров отмахнуться или, если уж очень дойдут, обкурить их дымком. Зато опытный глаз северян сразу рассмотрел воистину райские богатства: росло здесь славное и полезное дерево кедр, в обилии водилась дикая пчела. О сохатых, разном пушном звере, дичи — и говорить не приходилось. В родных местах полуаршинная щука за настоящую рыбу шла, здесь же рыба водилась отменная: нельма, белорыбица, муксун, чир. Такая рыба, что ее и за постное почитать было грех.

Правда, найденный рай даже вологодцам показался малость прохладным, но еще в дороге успели ко всяким морозам притерпеться, к тому же за топкой ездить не приходилось. Да за множеством дел и не до морозов было. Живя во временках-землянках, для будущих изб деревья валили, где земля получше была, пускали палы, корчевали пни.

Прошло года три, пока немного в раю обжились. За это время от голода и горячки еще человек десять померло и несколько человек от дыма ослепло. Потом понемножку стали разживаться: по кулигам земля хорошо родила, на вольных кормах скот плодиться начал, приспособились к промыслам: ходили по зверю и дичи, резали посуду, плели лапти. Когда с местными кочевыми народами познакомились, еще полегчало: кое-что у них переняли, кое-чему их научили. Потом стали через тайных скупщиков — промышленников — меха, мед, воск, кедровые орехи и смолу сбывать. Торговля получалась невыгодная, но без нее обойтись было нельзя. Только таким образом можно было добывать железные изделия: лемеха для сох, зубья для борон, косы, серпы, топоры, гвозди и нужные охотничьи припасы.

Но вот что удивительно: пока на ноги становились, царили в поселке мир и согласие, а стали на ноги — пошли споры и неурядицы. За неимоверными трудами, хотя и не забывали совсем о боге, но много не мудрствовали, когда же обжились, нашлись в каждом дворе вероучители-уставщики и пошли между ними распри о том, как молиться, как посты и праздники соблюдать. Пришлось самим придумывать, как новорожденных крестить, молодых венчать, покойников хоронить. В ту пору, когда буран чиновника-правоведа на погост загнал, некоторые насельники начали скучать о каком-нибудь, хоть самом завалящем попенке. Не мудрено, что речи приезжего вызвали волнение и горячие споры.

4.

Разрешились эти споры самым необычным образом: на третий день после приезда чиновника занесла нелегкая на погост обманщика-промышленника. Приехал он, ничего не подозревая, и угодил как кур в щи. О вере можно было разговаривать на досуге сколько душе влезет, но вопросы экономические (хотя и отодвигали их стыдливо на второй план) требовали разрешения немедленного. И уж никакого разногласия не было в том, чтобы свести счеты с мошенником-прохиндеем.

В воздухе запахло самосудом. И, наверное, случилось бы что-нибудь вовсе неладное, если бы Чернобородый по своей настойчивости не добился строгого порядка в судопроизводстве.

Царев человек, разговаривая с седобородым хозяином, и не знал, и не ведал, что творится рядом с ним. О потрясающих событиях дня и последующей ночи он узнал только наутро от пропадавшего целые сутки возницы.

— Ну, барин, было дело! — весело сообщил тот. — Много чего видел на веку, а такой потехи не доводилось... Только приехал этот обманщик и плут, они его сразу сграбастали и в баньку заперли. Баньку выбрали какая подальше, чтоб вас его криком не беспокоить. Опять же старика к вам подослали, чтобы он вам скучать не давал... А меня, как свидетеля-доказчика, на суд повели. Я свое говорю, он, то есть плут этот, — свое. Во всем как есть заперся!.. Заставили они его, как нас с вами, крест целовать. Поцеловал, глазом не сморгнул да еще побожился... Ну и было ж ему!

— Что было?

Возница опасливо посмотрел на дверь и понизил голос:

— Подали сани с двумя тулупами и сначала повезли его в прорубь кунать. Три раза на вожжах кунали — за каждую лжу в отдельности. Сперва — за косу и топор, другоряд—за соболя и беличьи хвосты, по третьему разу— за царский манифест. По всем правилам!.. Потом в тулуп завернули и обратно в баню повезли — кнутом стегать.

— А это за что?

— За то, что крестовую клятву переступил. Вот потеха! Принесли кнут, а банька тесна: нет в ней для кнута разворота. Что робить? Наружу выводить нельзя, можно вас беспокоить. Так что они сделали? Повернули кнут другим концом и давай его кнутовищем обхаживать. Раз двадцать саданули... Дольше бы драли, да он дурной дух пустил, всех из баньки выжил.

— Что еще с ним делали?

— Покормили, обрядили в одежду, сани ему запрягли и отправили восвояси.

— Не ограбили?

— Боже упаси! Ни на что не покорыствовались: ни товаров, ни мошны пальцем не тронули... Вот народ! Оно и нам с вами тоже могло быть.

Чиновник нахмурился: возница нахватался вольнодумства, по всему было видно, что порядок ускоренного судопроизводства пришелся ему по вкусу. Однако размышлять о правовой стороне совершившегося не приходилось. Было плохо уже то, что беззаконие над представителем торгового капитала было учинено в то время, когда в селении находился облеченный властью царев человек. Это портило картину благоденствия.

— Не вздумай в городе об этом рассказать!

— Я человек маленький, если и расскажу, мне не поверят. Вы — дело другое.

Сказано было хитро. Пришлось чиновнику противопоставить хитрости слуги юридическую казуистику.

— Разболтаешь, самого в свидетели потянут.

— Ну и ладно: расскажу суду, как шкуродер этот мужика обманывал.

— Не его, а здешних мужиков за самоуправство судить будут.

Возница задумался.

— Значит, считать, что ничего не знал, не видел?

— Лучше так.

Только закончился этот в высшей степени поучительный разговор, раздался стук в дверь и вошел Чернобородый. Теперь он держался просто и не выглядел таким суровым, как раньше.

— Конец делу, барин! — сказал он. — Можешь в губернию ехать. Порешили объявиться. Не было русскому царю печали, так черти накачали — пушай еще шестнадцать крестьянских дворов получает.

Форма, в которую Чернобородый облек важное сообщение, походила на насмешливое и одновременно мрачное пророчество. Но чиновник уже начал привыкать отличать форму от существа дела.

— Все решили?

— Все как один... Тебе, барин, может, что непонятно, так я объясню. Я с первого начала понял, к чему ты речь клонил, и прямо скажу — твою руку держал. Коли по матушке Оби пароходы пошли, нашему селению в тайне не быть: один конец — объявляться надо... Ежели крест заставил тебя целовать, так для пользы, чтоб у других сомнения было меньше. Оно, если всю правду говорить, твой возница, может, крепче самого тебя делу помог, а тут еще живоглот этот, который нас, как липку, обдирал, в самое

подходящее время к нам пожаловал. Против него у каждого зуб был. Под горячую руку потолковали с ним, полный расчет произвели...

О подробностях расчета царев слуга слушать не хотел, поэтому невинно спросил:

— Интересно, что он вам рассказал?

— Он мало чего говорил, больше мы...

При этих словах Чернобородый покосился на возницу и, чиновнику показалось, слегка ему подмигнул.

— Однако, когда уезжать стал, повинился, что нас обманывал. Только мы все ж таки накрепко ему дорогу к себе заказали. Тем и наше дело разрешилось: не осталось нам другого пути, как самим до базаров и ярмарок добираться, без торговли крестьянскому хозяйству гибель... Где плужок или ружьишко взять? Или семян овощных? Или, по бабьему делу, иголку да нитки?.. Я лет десять назад тайным образом в городе побывал, видел, как в других селах бабы одеваются... А наши чем хуже других?

В свете таких рассуждений Чернобородый представал в облике умного и дельного мужика и довольно тонкого политика. Он окончательно доказал это, сказав:

— Думали мужики своего ходака вместе с тобой послать: меня для этого выбрали, да я сам рассоветовал.

— Почему?

— Потому... Начистоту говорить, барин?

— Конечно...

Чернобородый кивнул вознице на дверь. Подчиняясь его красноречивому взгляду, тот неохотно вышел.

— Потому, барин, что у нас сейчас с тобой один интерес и в городе я тебе еще, не дай бог, по своей темноте помешать могу... Я так понимаю: за то, что ты нас разыскал, тебя похвалят и, может, даже за это награду дадут... Так ведь?

Чернобородый без промаха попал в точку. Начав понимать, в чем дело, чиновник кивнул головой.

— Вот! — продолжал Чернобородый. — И твой прямой интерес нас в лучшем виде представить. Народ мы, верно, дикой, но, сам видишь, честным порядком живем. Пьянства и воровства, скажем, у нас в заводе нет. Ежели мы восемь десятков десятин земли у царя самовольно взяли, так он того не заметил и, сам ты сказал, никому, кроме нас, она не нужна. Так, барин?

— Так!

— И нет тебе никакого расчета нам зла желать. А помочь нам —

прямой расчет. Русский крестьянин, он не только губернатору или царю — всему миру нужен.

— Я сделаю для вас все, что могу.

Это было сказано почти честно. Чернобородый продолжал:

— Что поп к нам приедет, в том беды нет, договоримся с ним. Только чтобы особой приманки к нам ездить не было, ты нас богатыми неставляй. Золото, которым старик по столу звенел, во сне тебе снилось, барин... С испуга последнее собрали, тебе давали... Скажи в губернии правду: селение, мол, невеликое, бедное, люди живут тихие, питаются чем тайга прокормит...

На этом месте политика Чернобородого делала осечку. Чиновника очень устраивал его отказ от поездки в качестве ходока, но обеднять картину пресловутого благоденствия он отнюдь не собирался. Наоборот, услышав о восьмидесяти десятинах пахоты, он тут же решил превратить их в сто восемьдесят. Такие же поправки он рассчитывал внести в поголовье скота, в опись сельскохозяйственных орудий и ульев. И все же он сказал (на этот раз это было уже совсем бесчестно):

— Обязательно так сделаю!

— Вот и ладно, барин!

Невдомек было Чернобородому, что это его «ладно» станет началом многих зол, выпавших на долю погоста. Излишняя его доверчивость повлекла за собой другую ошибку: он правдиво рассказал вооружившемуся карандашом чиновнику о состоянии селения, начав с численности и возрастного состава каждой семьи, и обо всем том, что могло интересовать его величество императора и самодержца всея Руси...

А интересовало его величество все, даже река, протекавшая мимо погоста. На карте она не значилась, и царев слуга собственноручно провел тонкую извилистую линию, упиравшуюся в один из обских островов, как того требовала панорама благоденствия.

— Как ее называют?

— Кого, речку? — переспросил Чернобородый. — Никак. Мы ее просто речкой зовем... Здешние-то татары называют ее негоже.

Тут-то и произошел географо-лингвистический казус, подаривший реке ее странное название. Дело в том, что татары (это были вовсе не татары, а кочевавшие по тем местам редкие охотничьи племена остяков) дали реке название, может быть, очень красивое, даже поэтическое, но для русского уха совершенно неприемлемое по сугубой своей пристойности. Чернобородый был прав, сказав, что «называют ее негоже». По-своему был прав и чиновник, написавший на карте «Негожа». Правда, у него мелькнула

мысль спросить, чем и кому не угодила речка (речкой ее можно было называть только применительно к масштабам Сибири), но, увлеченный разговором о разговоре о рыболовстве, забыл это сделать. И стала хорошая река Негожей!

Нетерпеливый читатель, наверное, ворчит на автора, затянувшего свой сказ, но ночь еще длинна...

Автор, на его взгляд, сделал бы большую ошибку, не заглянув в губернаторский кабинет в то самое время, когда утративший былую опрометчивость чиновник закончил чтение своего доклада.

Его превосходительство пребывало в отменном состоянии духа.

— Могу сказать одно, молодой человек: доволен вашим служением... Да! И поведением тоже... Даже весьма доволен!.. И то и другое заслуживают похвалы и поощрения... Да, и поощрения!.. Вы сколько у нас служите? Уже три года? Скажите, как быстро время летит!.. Мечтаете о Петербурге?.. Понимаю, понимаю... Подумаю... Только вот что, молодой человек... Возьмите доклад домой и поработайте над ним дополнительно. Написан он образцово, но факты и особенно цифры... Вы ведь их со слов записывали?

— Так точно-с, ваше превосходительство. Со слов...— сказал смущенный чиновник.

— Я так и знал!.. Эти каналы всегда приbedняются. Опыт показывает, что подобные сведения нужно увеличивать по крайней мере в три раза. Тогда они становятся достоверными и... убедительными...

— Я, ваше превосходительство, уже внес... коррективы...— снова проговорил молодой чиновник.

— Предусмотрительно, похвально, но... недостаточно! Полагаю, что, корректируя, вы многого не учли. В административных делах все зависит от чутья... Нюх нужно иметь, молодой человек, нюх-с!..

Его превосходительство, закрыв глаза, потянуло носом, наглядно демонстрируя искусство постигать истину в ее полном объеме самым совершенным способом — путем одного обоняния, без участия других средств познания.

— Будет исполнено, ваше превосходительство!

— Великолепно, вопрос о цифрах совершенно ясен!.. Теперь о фактах... Говоря о разводимых в селении овощах, вы упоминаете капусту, репу, морковь. А лук, петрушка, укроп, портулак, сельдерей? Где, наконец, картофель?..

— Лук, ваше превосходительство, не сеют, обходятся дикорастущей черемшой. По той же причине отсутствие семян — не сажают картофель.

— Нужно, чтобы сажали! Если сейчас не сажают, то сие надо предвидеть и, предвидя, о сем упомянуть... И еще: в докладе вы употребляете выражение «найденный погост». Оно не соответствует нашим... как бы выразиться... успехам в части исследования и колонизации края... Посему наиболее уместно писать «Новый погост».

— Совершенно правильно, ваше превосходительство! Будет исправлено.

— Великолепно-с!

Здесь его превосходительство перешло на дружеский, почти фамильярный тон:

— Ваш дядюшка, кажется, сенатор и, если не ошибаюсь, камергер его величества? В бытность в Санкт-Петербурге имел честь знакомства... Рассчитываю, что при возвращении в столицу вы не преминете засвидетельствовать мое искреннее к нему уважение.

Намек на столицу был более чем прозрачен! Выйдя из кабинета, бывший либерал вытер рукой выступивший на лбу от радости пот. При этом ощутил некий холод.

Стало ясно, что температура его головы снизилась до надлежащей среднебюрократической нормы.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

О ЧЕМ ТВЕРДИЛИ ХОДИКИ? КИПРИАН ИВАНОВИЧ ПЕРЕКРЕСТОВ ПРИНИМАЕТ ВАЖНОЕ РЕШЕНИЕ

1.

Ночи долго тянутся, зато дни быстро летят. За четыре Дня до рождества вернулся из города Ванькин отец Киприан Иванович Перекрестов. Хотя и давно ждали его, а получилось все неожиданно. Мать на ночь избу заперла, когда слышался скрип полозьев, лошадиное фырканье и, наконец, знакомый стук кнутовищем по оконному наличнику.

— Тятка приехал!

Чуть с полатей не слетел Ванька, пока спускался. Отец, большой и, как всегда, степенный, войдя в избу, сложил на лавку у двери запорошенный снегом тулуп, шапку и первым делом помолился. Потом повернулся к жене и на Ваньку глянул.

— Как жили?

Мать рада-радешенька, но отвечает по-заученному:

— Господь бог хранил!

— Слава тебе господи!

Мать зажигает большой глиняный светильник и, накинув полушубок и платок, бежит топить баню, отец уходит распрягать лошадей. Ванька один, но сейчас ему ничуть не страшно. И ужин за одним столом с отцом кажется вкуснее. Даже затянувшаяся молитва не так клонит ко сну. И уж совсем исчезает сонливость, когда отец начинает развязывать привезенный из города большой лубяной короб. Делает он это с непостижимой медлительностью, точно испытывая Ванькино терпение.

— Привез тебе, Арина, обновки...

В руках у матери большой пестрый платок. Она по-девичьи краснеет так, что при тусклом свете каганца видно.

— Что это вы, Киприан Иванович, надумали?.. Дорогой, верно, и уж шибко глазастый. Такую пестроту и но-сить-то, чай, грех?

— Другие носят!.. Не стара еще, чтоб хуже других ходить.

И еще подарки: ботинки, свертки с ситцем и миткалем...

На Ванькину долю приходится две рубашки — сатиновая и ситцевая, но больше всего ему по сердцу длинный красный тесменный пояс с большими лохматыми кистями. Он пробует его примерить, но мать вырывает из рук: грех постом обновки надевать.

— Ужо на праздник наряжаться станешь.

— А это, значит, товар на сапоги,— говорит отец.

— Маленек еще в сапогах ходить!—для вида протестует мать.

— Не маленек!.. Вон как вытянулся...

Мать собирается спрятать сверток в укладку, но Ванька просит:

— Маманя, дай я только поддержку маленько!..

Он берет сверток. В нем все, что полагается для настоящих сапог: голенища, подошва, стелька, задники, набор на каблуки.

— Не разворачивай, а то растеряешь.

— Я только понюхаю.

Ванька с упоением вдыхает дегтярный запах новой кожи.

— У-ух ты!

Вот как хорошо пахнут первые в жизни сапоги!

Доходит очередь до хозяйственных припасов.

— Сахару пиленого три фунта взял, чаю две плитки...

— Баловство это,— говорит мать, но бережно берет пакеты.

Было время, когда чаепитие считалось на горелом погосте грехом, но по этому пункту Сибирь сумела переупрямить самых упрямых уставщиков и начетчиков. Настоящие сибиряки почитают за великий грех упустить случай лишний раз почайпить. Сахар, тот действительно, пожалуй, баловство: у каждого своя пасека, дарового меда разнотравного и липового

вдоволь, однако по праздникам, себе в наказание, пьют чай вприкуску с покупным сахаром.

Отец вынимает еще два небольших свертка.

— Лампу вот привез.

Мать качает головой. Такой новинкой она и впрямь недовольна.

— Вот уж это напрасно... Газом вонять будет и до пожара недалеко.

Боюсь я...

Зато Ванька в великом восторге.

— Тять, покажь лампу!..

— Не «ланпа», а лампа,— поправляет отец. — Я сам этак ошибался, так в лавке меня на смех подняли. Газу-керосину четверть привез. В санях оставил.

— Не придумаешь еще, где газ-то держать...— продолжает сомневаться мать.

— Люди в кладовой или в подклети держат. Газ — он кругом нужен. С железа, с замка, скажем, ржавь съедает, и клоп от его духу уходит.

— Сказывали, да боязно...

— Привыкнешь. Лампу я завтра налажу, сейчас нельзя: пузырь с морозу лопнет.

Ванька разочарован, но в коробе оказывается еще сверток. Прежде чем его вытащить, отец с видимой тревогой поглядывает на мать.

— Чего еще?

— Часы купил...

Часы, с точки зрения матери, хотя и баловство, но не опасное, и она улыбается. Отец бережно разворачивает обновку. Ванька следит за каждым его движением.

До чего же хороши часы! На жести, поверх циферблата, изображен еловый лес, в лесу длиннорогий олень пасется. Снизу от часов идет цепочка — длинная-предлинная.

Отдельно завернуты гиря и маятник. Диск маятника блестит так, что Ванька, не спрашивая, понимает: вещь золотая.

— Тять, часы сегодня повесь!..

— Это можно.



Отец вешает ходики на гвоздь, прикрепляет маятник и гирю, подтягивает цепь... Только со стрелками происходит недоразумение: они показывают самое несуразное время, а точное узнать на Горелом погосте не у кого: впору у петухов спрашивать. Не учел этого Киприан Иванович, когда покупку делал...

И еще: то ли часы на морозе простудились, то ли в лавке внутри их что-то заржавело, но постукивали они с хрипотцой и дребезжанием, точно букву «и» выговаривали.

Уже лежа на полатах, Ванька понял, в чем дело.

— Тять, а тять, часы-то разговаривают!

— Тукают, а не разговаривают,— поправил отец.

— Да нет, тятя! Ты лучше послушай, они словами разговаривают.

— Что ж они тебе говорят?

— «Вот и ладно, вот и ладно, вот и ладно!..»

Киприан Перекрестов никакого фантазерства не признавал.

— Юрунду городишь! — сердито отозвался он. — После молитвы спать полагается, а не выдумывать.

Но поди ж ты! Прислушавшись к ходу часов, он сам начал разбирать их хрипловатую и косноязычную речь. Только ему вместо буквы «и» упорно слышалась буква «е», и получалось, что часы твердили совсем другое:

«Вот не ладно, вот не ладно, вот не ладно!»

2.

Такое ни с того ни с сего на ум не придет. Хоть и устал Киприан после дальней дороги, не спится ему. Ваньке заказал думать, а самого обступили думы невеселые, нерешимые... Правда, так и раньше с ним бывало, когда в тысяча девятьсот пятом году на берегу моря-океана в японском плену жил,...

Не обижен Киприан ни силой, ни здоровьем и ума к соседу занимать не хаживал, а нет у него покоя. Недоволен сам собой Киприан Перекрестов, да и только!

Положим, в том, что очутился он в плену, никакой его вины не было. Только когда господа офицеры начали шашки японцам отдавать, зашвырнул он в кусты свою трехлинейную, мосинскую... И то потому, что ни в стволе, ни в магазине, ни в подсумках ни одного патрона не осталось, И понял в ту минуту Киприан Перекрестов, что случилось что-то в высшей степени неладное. И уж совсем тошно ему стало, когда увидел, как офицеры меж собой посмеиваются, радуясь тому, что японцы разрешили им шашки при себе оставить...

Судить офицеров — дело царское, себя самого судить — каждый волен. Силен и умен Киприан Перекрестов, а что толку в его уме и силе? И в медведе ума много, да только тот ум вон не идет — и силен медведь, да всю жизнь в болоте живет...

Привез Киприан из города большую досаду. Никому про нее не сказал — думал, сама пройдет. Но не тут-то было! Смешное дело: разбередил отцовскую рану восьмилетний сын-несмышлениш своей глупой болтовней.

Досада же получилась горькая. За несколько дней до отъезда из города зашел Киприан в контору лесопилки за расчетом и застал великую распрю: полна изба народа и такая ругань стоит, что хоть святых вон выноси.

Прислушался и понял: артельные мужики с приказчиком воюют. Что приказчик народ обсчитывает, об этом давно знали, но тут получилась у него промашка: оказались среди артельных люди пробивные и нахрапистые. Он им слово — они ему десять.

— У меня,— кричит приказчик,— все записано!

А они в ответ свои записи предъявляют за его же или хозяйской скрепой.

— Чего, подлая душа, врешь, чья здесь подпись стоит? Сколько лесу возили, за столько и плати!

У приказчика от злости морда в красных пятнах, сам себе всю бороду оплевал.

— Варнаки! — кричит.— Шпана, обманщики, копеечники!.. У меня счет точный. Хотите — получайте, не хотите...

Тут из толпы один наперед выступил В плечах неширок и не очень чтобы бородат Однако заговорил дельно.

— Обождите, ребята, я сейчас с ним потолкую... Чего, господин приказчик, с нами случится, ежели мы не пожелаем твоей лжи подчиниться?.. Ты не с одним говоришь, а с артелью, и артель всегда на тебя управу найдет! Так и знай!..

— Мировым стращать вздумал? Вот испугал!..

— Мировой на хозяйскую сторону стать может, мы и без него управимся...

— Чем грозишь? Лесопилку подожжешь и меня с хозяином в прорубь спустишь? За такие угрозы знаешь, что будет?..

— Оболгать меня, толстомясый, хочешь? Не выйдет! Нам нет нужды о тебя да о хозяина руки пачкать. Мы так сделать можем, что вы с хозяином сами в реку сиганете... Ежели лесопилка станет, кто за невыполнение казенных подрядов в ответе будет?.. Ежели сейчас полного пересчета не сделаешь, мы хозяина под суд загоним и тебя заодно!..

— Забастовкой грозишь?

— Хоть бы и так!..

Послушал Киприан такой разговор — и за дверь: реши » переждать, пока все образуется. И верно, на другой день образовалось: артельные мужики заработанные деньги сполна получили и разъехались по домам.

Тут-то и зашел на свою беду в контору Киприан Перекрестов, не нашел лучшего времени для расчета! Хозяин сидел злой и расстроенный, приказчик — того более.

— С тобой,— говорит,— я враз рассчитаюсь...

Открыл какую-то книгу, пододвинул к себе счета и давай

отстукивать... Минут пять отстукивал, потом сунул Киприану бумажку для подписи и сразу из стола деньги выложил: четыре красненьких, а на них два серебряных рубля и пятиалтынный швырнул.

— Обожди, сколько мне платишь?

— Сколько полагается.

Хоть и был безграмотен Киприан Перекрестов (только фамилию умел подписывать), но счет возкам вел и свой заработок знал.

— Шестнадцать рублей, восемь гривен недодаешь,— сказал он.

Приказчик враз вскипятился.

— Ты что, колода таежная, меня учить собрался?

Глянул Киприан на хозяина, а тот в окно смотрит, точно до разговора ему дела нет. При найме золотые горы сулил, при расчете — рыло в сторону. И раньше, случалось, обманывали Киприана, но чтобы так нахально и на такую сумму — такого не бывало. И денег, конечно, жаль (семнадцать рублей — деньги не малые), но еще горше, что его, Киприана Перекрестова, унизили, в глаза посмеялись над его темнотой. Прав он, бесспорно прав, а доказать своей правоты не может. Приказчик насмехается:

— Наш счет всегда правильный, потому как на бумаге значит, а языком-то полторы тысячи наработать можно.

Досадно Киприану на свою темноту и неграмотность. И другое обидно: когда возка леса начиналась, звали мужики его в артель, но он сам закобенился — неохота была, видишь ли, с табачниками компанию водить. Понадеялся и на то, что лошади у него крепкие, что на сдельной работе он больше других вытянет... И вот получилось: вытянуть-то вытянул, а заработал меньше всех. Артельные свои интересы отстаивали, а он, как карась, щуке в хайло угодил. И винить некого, сам виноват!

И пришлось Киприану смириться: получил, сколько приказчик дал, и ушел из конторы как оплеванный.

А часы, знай, одно отстукивают:

«Вот не ладно, вот не ладно!»

3.

Еще с вечера, когда Ванька заснул, Арина рассказала мужу о том, что подрядилась доставлять молоко ссыльным. Киприан это одобрил: прибыль невелик, но в Горелом погосте всякие деньги за редкость.

— Ванятка им молоко носит,— пояснила Арина.— Уж не знаю, хорошо ли сделала, что туда его посылаю... Люди вроде смирные, а все нехристи... Я уж ругала его: иной раз пойдет туда и пропадет. Пытала его,

что он там робит. Говорит, книжку с картинками смотрит... Арихметку какую-то выдумал...

Киприан нахмурился, однако сказал:

— С этим сам разберусь.

Утром, после завтрака, на Ваньку тоска напала: по времени пора в дьяконовский дом молоко нести, а о том речи нет. Мать при отце не распоряжается, отец же молчит, о чем-то думает.

— Тять, я на улку погуляться пойду...

— Иди, только от двора не уходи.

Одному гулять скучно, но Ванька догадлив: подобрал сучок и давай по снегу загогулины выводить. Четверть двора исчертил, пока догадался оглянуться. Глянул назад — за спиной отец стоит.

— Что ты робишь?

— Я, тять, не роблю, а пишу.

— Пишешь?... Чего ж у тебя получилось?

Киприан показал на четыре кружочка с хвостами.

— Баба получилась...

— Какая баба?

— Об-ны-ковенная, какая в юбке...

— Ты постой. Что это значит?

Киприан показал на первый кружок с хвостом кверху.

— Буква «б», а это вот «а». Если их вместе читать, получается «ба». А тут опять «б» и «а». И получается баба — «баба». Понял?

— Этому тебя в дьяконовом доме выучили?—спросил Киприан.

— Ага. Я уж, тять, четырнадцать букв знаю...

Образованность сына удивила Киприана. Однако, на его взгляд, учение начиналось не с того конца.

— Ну, а слово «бог» написать можешь?

Ванька старательно вывел «б», «о» и «г» и тут же пояснил:

— Бога, тять, с большой буквы писать надо, только мне Петр Федорович больших букв еще не показывал, так что пусть с маленькой будет.

— Еще чему тебя твой Петр Федорович выучил?

— Считать выучил. Я все сложать и отнимать до ста умею.

— До ста?

Тут Киприан вспомнил недавно полученный от приказчика урок арифметики и спросил:

— Ежели из пятидесяти восьми шестнадцать целковых отнять, сколько останется?

Ванька наморщил лоб и, подумав, ответил:

— Из восьми шесть — два, из пятидесяти десять — сорок... Сорок два! Это я в уме решил, а на счетах еще скорее бы ответил!..

Быстрый и точный Ванькин ответ разрешил долгие и мучительные сомнения Киприана Ивановича.

— Ступай домой,— сказал он Ваньке.

— Там мать кринки с молоком приготовила, возьми их... Ныне вместе пойдем относить.

Перешагнув порог дьяконовского дома, Киприан Иванович креститься не стал, а, сняв шапку, запросто поклонился хозяевам. Разговор начал с извинения.

— Простите, что незваный пришел, по-соседски... За сынишку хочу вас благодарить. За внимание ваше и учение...

Киприан не был красноречив, но ссылные, в первую очередь Петр Федорович, сразу догадались, что приход кряжистого сибиряка-старовера — дело непростое и что от предстоящего разговора зависит многое, прежде всего Ванькина судьба.

— Да вы садитесь, Киприан Иванович!—сказал Петр Федорович, пододвигая скамейку на более почетное, ближе к красному углу, место.

— Это мы вас за приход благодарить должны: к нам из соседей никто не заглядывает.

— Что говорить! У нас народ на знакомства тяжел... Одно то, что у нас в двадцати дворах десять вер живут. Приходской поп нас «десятиверами» зовет...

Сказав это, Киприан сейчас же понял, что говорить о вере здесь не следовало, и с облегчением вздохнул, когда Петр Федорович ответил:

— И все же во всех дворах люди живут.

— Живут... Что везде люди — это точно... Сам понял, когда у японцев в плену был. Вовсе чужой народ, язычники, а к каждому порознь подойти — все человек...

Разговор вязался туго и напряженно: каждое слово могло повести к обидному и непоправимому непониманию. И получилось очень хорошо, что Киприан заговорил о японском плене,

— А ведь мы с вами товарищи, Киприан Иванович! воскликнул один из ссылных, бывший моряк и хозяин волшебной книги с кораблями.

— Я тоже в плену был. На каком острове вас содержали? Может, из одного котла рис ели?

При такой встрече без воспоминаний не обойтись. Напряженные философские рассуждения уступили место фактам. Правда, факты были

злые, но в оценке их разногласия не получилось. Когда моряк сгоряча пустил крепкое слово по адресу флотских офицеров, сдавших врагу почти неповрежденный корабль, но требовавших во имя сохранения чести оставления им игрушечных шпаг и кортиков, Киприан еще более крепким словом угостил пехотных командиров.

На добрый час затянулись воспоминания. Когда же разговор вернулся к делам сибирским, получилось как-то само собой, что Киприан рассказал о том, как артельные мужики взяли в оборот хозяина и его приказчика. Правда, из гордости он промолчал о собственной своей обиде, но рассказ его всем понравился.

Теперь наступила пора для разговора о самом главном. Начал его Петр Федорович, сказавший Ваньке:

— Забирай кринки и беги домой отнеси... Потом обратно вернешься.

Ванька понял, что его гонят, но во взгляде Петра Федоровича он прочитал приказание. Повернулся было за помощью к отцу, но тот не только не поддержал, но решительно стал на сторону Петра Федоровича.

— Кому сказано?.. Марш! Одна нога здесь, другая там!

Ванька шмыгнул носом и нехотя вышел.

— О нем хотел потолковать,—пояснил Петр Федорович.— Славный у вас сынишка, Киприан Иванович!..

Какому отцу не лестно, когда сына хвалят! Однако Киприан промолчал, ожидая, что будут говорить дальше.

— Большие у него способности, особенно к математике, и память замечательная. Я, Киприан Иванович, учительскую семинарию окончил, четырнадцать лет с ребятами вожусь и прямо скажу: грех будет такого парнишку без грамоты оставить. Разрешите, пока я здесь, буду с ним заниматься.

Петр Федорович сам, без просьбы, предлагал то, чего хотел Киприан Иванович, но слово «грех» заставило его насторожиться. Все на погосте придерживались взгляда, что в безграмотности греха не было (божественная премудрость переходила устным заучиванием молитв от отцов к детям), гражданская же письменность была делом новым, страшноватым и, возможно, греховным. Но Киприан понимал, что упускать счастливый случай было нельзя: слишком много обиды хватил он сам, чтобы желать того же сыну. Поэтому он ответил после некоторого размышления:

Если о грамоте и счете разговор идет, даю на то полное мое согласие. А что касаясь веры, то — дело семейное. Мы веру от дедов и прадедов

храним, и сам ее не нарушу, то ж и сыну своему заповедаю.

— Хорошо! — быстро ответил Петр Федорович.

Походило на то, что к такой постановке вопроса он был подготовлен и что вообще делам веры большого значения не придавал... Острый камень был благополучно обойден. Можно было продолжать деловой разговор.

— За такое ваше внимание в долгу не останусь,— пообещал Киприан.

— Мне ничего не надо, Киприан Иванович.

— Не золото, соседские услуги сулю...

Щекотливый разговор был прерван неожиданным появлением Ваньки. Рассудив, что его выгоняли на время, достаточное для транспортировки пустых кринок, он всемерно постарался сократить его за счет быстроты ног. Прибежал запыхавшийся и покрасневшийся.

По усмешке отца и веселой улыбке Петра Федоровича сразу понял, что они успели договориться. Петр Федорович подтвердил его догадку, сказав:

— Раздевайся, заниматься будем.

Не желая, чтобы его присутствие на уроке было истолковано как признак недоверия, Киприан Иванович сейчас же поднялся. Напоследок, однако, предупредил:

— Слушаться не будет или баловаться станет — мне скажите или сами ремешком...

Это было сказано в высшей степени нетактично! На взгляд Ваньки, ремешки и другие шорные изделия совсем не гармонировали с такой серьезной научной дисциплиной, как таблица умножения, и он, как умел, исправил положение.

— Ты, тять, очень чудно говоришь... Мы с Петром Федоровичем про примеры и задачи разговариваем, а ты про какой-то ремешок...

Ванька даже плечами пожал, показывая, в какое недоумение привело его сделанное невпопад замечание.

Разговором с ссыльными Киприан Иванович остался доволен. Хотя он и пробыл в гостях недолго, успел заметить многое, даже неуклюжие самодельные санки, служившие для возки хвороста. Через три дня возле дьяконов-ского дома выросла изрядная, сажень на пять, поленница отменных березовых швырков.

За дровами с отцом ездил Ванька. Здесь-то, перед лицом необъятной, занесенной снегом тайги, между ними и произошел некий знаменательный разговор.

— Тятя, как понимать, если кого «дитём тайги» назовут?

Киприан Иванович задержался с ответом.

— Кто и по какому случаю такие слова произнес?

— Петр Федорович меня обозвал,— честно ответил Ванька.

К его удивлению, немного подумав, отец усмехнулся.

— Не одного тебя, а, выходит, он нас обоих обозвал. Тебя ведмежонком, а меня, значит, цельным ведмедем... Понял?

Объяснение казалось простым и, на взгляд Ваньки, необидным.

ГЛАВА ПЯТАЯ

РАССКАЗЫВАЕТ О НОЧНОМ ПЕРЕПОЛОХЕ, О ТОМ, КАК ЕРПАН
ЗАСТРЕЛИЛ ЗВОНАРЯ, А ВАНЬКА ОБМАНУЛ ЧЕРЕССЕДЕЛЬНИК

1.

Кладбищенский колокол имел свою судьбу, тесно связанную с историей погоста. Вскоре после того как заблудившийся чиновник разыскал на севере губернии неведомое дотоль селение, зародилась у епархиального начальства мысль построить там церковь. По замыслу храмостроителей должна была та церковь вернуть в лоно православия тамошних насельников и в то же время стать оплотом против кочующего по окрестной тайге язычества, а паче всего послужить прославлению видимого благоденствия.

По епархии был объявлен сбор «на звон». Сколько мужицких алтын, мещанских пятаков и купеческих полтин было собрано — богу да консистории ведомо. Достоверно Другое: труды по строительству легли на погостовских мужиков. Помимо церкви пришлось им строить дома для попа и дьякона. Так как лес заготавливали отборный и наперед его сушили, заняло строительство три года. Зато на освящение церкви приплыл сам архиерей в сопровождении великого множества попов, монахов и кафедрального хора.

Все же ожидаемого торжества не получилось: явились на освящение шесть прихожан, да и те, не желая персты кукишем складывать, за время долгого служения ни разу не перекрестились. Владыка уехал разгневанный, препоручив неблагодарную паству настоятелю нового храма отцу Сисинию.

Пять лет стояла церковь, до той поры, когда занесла на погост нелегкая сургутского протопопа, которому захмелевший отец Сисиний проиграл в стуколку большой церковный колокол.

Недели не прошло после увоза колокола, загорелась глухою ночью новая церковь... Покуда мужики проснулись, покуда бегали от двора к двору, покуда багры и крюки искали, осталось от их трехлетних трудов черное пожарище и смрадная груда углей. Над этим-то пожарищем

обезумевший отец Сисиний и повинился всенародно в своем великом грехе...

После такого казуса поп и дьякон незамедлительно уехали с погоста и сгинули без следа. Что касается церкви, восстанавливать ее не стали, а приписали жителей Горелого погоста (с того-то времени и стали его называть Горелым) к соседнему — за шестьдесят верст — Нелюдинскому приходу, и стал тамошний поп два раза в году наезжать для исполнения всякого рода треб. По собственному своему почину и по давнему обычаю на месте сгоревшего церковного алтаря поставили мужики новую часовенку, а около нее — звонницу и повесили на ней старый свой колокол. Только, падая с горящей колокольни, тот колокол треснул и стал звонить до того противно, что его даже в дни похорон не трогали...

И вот этот-то колокол, промолчавший свыше тридцати лет, ни с того ни с сего зазвонил... Зазвонил без человеческой помощи, в самое неположенное время — во втором часу ночи!..

Очень возможно, что и проспали бы такое событие жители селения, но случилось в ту пору ехать мимо кладбища беспоповцу Порфирию Изотову. Только выехал он на опушку к тому месту, где часовня стояла, только снял шапку, чтобы перекреститься, как колокол по-шалому забрякал: Дрень! Дринь! Дзень!..

Особой боязливостью, как и все таежники, Порфирий не отличался, но тут его, как говорится, в цыганский пот бросило. И было отчего: при свете полной луны он отчетливо видел, что под звонницей никого не было, а на курившихся поземкой сугробах незаметно было следов ни человеческих, ни звериных... Из всех Молитв, составленных На подобный случай, Порфирий вспомнил самую короткую; «Уноси, бог, коня, заодно и меня!» и, не поднимая оброненной с саней шапки, принялся нахлестывать лошадь вожжами. Га понеслась в сторону близкого уже погоста, будя многочисленных псов неистовым ржанием, храпом и скрипом полозьев.



2.

Одним из первых, по великому собачьему переполоху, вышел со двора Киприан Иванович. Предвидя самое худшее — пожар, он загодя вооружился топором и лопатой.

Но ни зарева, ни дыма видно не было. Между тем тревога нарастала: в окнах мелькали огни, со всех сторон доносился стук и скрип калиток. Только обойдя дом и поглядев в сторону дороги, Киприан заметил группу мужиков, окруживших знакомую Киприану подводку Изотова.

Чем ближе подходил Киприан, тем заметнее становилась растерянность столпившихся односельчан — мужчин и женщин одинаково. Мелькнувшая догадка, что лошадь Порфирия пришла одна, без хозяина, опровергалась бездейтельностью мужиков. Случись так, все безотлагательно кинулись бы запрягать лошадей, чтобы ехать по свежему следу и разыскать пропавшего живым или мертвым. Но Порфирий был налицо, хотя с головой, окутанной чьим-то полотенцем, и выглядел жертвой происшествия. К нему, как к первоисточнику, и подступил Киприан.

— Раненый, что ли?.. Кто тебя пуганул?

Спрашивая, он не счел нужным понизить голос, и на него сейчас же зашикали.

— Тс-с... Тише... Слушай!..

Подчинившись общему настроению, Киприан постоял молча, ничего не услышал и рассердился.

— Чего слушать-то? Как в Томске на балалайке играют или как тобольские попы заутреню служат?

— Молчи, Киприан Иванович... Дело серьезное...

— Пресвятая богородица, никак опять?!

— Свят, свят!..

Тут Киприан сам услышал звон колокола, странный и потому страшный. Отдельные удары (если можно было назвать ударами переходивший в долгое дребезжание металлический лязг) прерывались неравными паузами... После одного особенно сильного удара звон сразу оборвался, точно колокол приглушили шубой.

Киприан был подготовлен к тушению пожара, к далекой поездке по следам лихого человека, к встрече с голодным медведем-шатуном. И то, и другое, и третье сулило хлопоты и опасности, но в то же время не таило в себе ничего загадочного: во всех трех случаях было ясно, что следовало делать. Здесь же прямой опасности не было, но было нечто подавлявшее

своей необычностью. Кладбищенский звон не поддавался разумному объяснению, и поэтому было непонятно, как надлежало действовать и надлежало ли действовать вообще. Недоумение порождало чувство беспомощности, от сознания беспомощности недалеко было до страха...

Нечто подобное, по-видимому, испытывал и стоявший рядом с Киприаном молодой охотник Григорий Ерпан. Опыт опасных скитаний по таежным дебрям был бессилён так же, как опыт солдата. То, что один держал в руках лопату, другой — новое ружье, только подчеркивало нелепость положения.

Когда что-нибудь не находит ни одного разумного объяснения, появляется множество вздорных. За такими дело не стало. Постановкой их занялись всеведущие старухи.

— Непетые мертвяки предания земле требуют,— определила одна.

— Нечистый лютует... Пожарище да кладбище — самое для него житье.

— Быть худу! Мертвые живых зовут: огневица, а то и черная болезнь снова придет...

Упоминание о тифе и оспе, часто навещавших Горелый погост, действовало на всех удручающе: многие закрестились. Нашелся, однако, человек, которого даже такая напасть не устраивала, человек, возмечтавший о бедствии тотальном. То был начетчик и уставщик «раззяв» Лаврентий Перхатов.

— Нечистый на святое место, где алтарь был, не придет...— сказал он.

— Знамение свыше дается: пред концом мира от господа бога упреждение...

— Мало ему больших городов, что он наш погост упреждать начал да колокола для такого дела получше не выбрал?

Высказав столь резонное соображение, Григорий Ерпан сердито сплюнул.

Сейчас же, словно в ответ на нечестивую реплику, колокол задребезжал снова и так беспорядочно и нелепо, что многих охватил суеверный ужас. Кое-кто стал расходиться по дворам.

В этот критический момент, когда, казалось, ничто уже не могло опровергнуть совершавшегося воочию чуда, из дьяконовского дома вышел Петр Федорович и, подойдя к Киприану Ивановичу и Ерпану, осведомился у них о причине ночного переполоха. Ерпан вкратце объяснил суть происшествия, закончив свой рассказ сердитым намеком на несуразность положения.

— Стоим теперь и ушами хлопаем...

— Вы об этом что думаете, Киприан Иванович? —спросил Петр Федорович.

Вопрос был обращен прямо к нему, но Киприан Иванович уклонился от ответа.

— Ничего не думаю. Всему делу самовидец Порфирий Изотов был, вон он стоит...

Изотов, которому успели вынести шапку, от разговора не уклонился. Успокоившись, он обстоятельно рассказал, как, проезжая мимо кладбища, слышал звон в каких-нибудь десяти саженьях от себя, и что готов побожиться как угодно, что под звонницей никого не было.

— А веревка от колокола? — поинтересовался Петр Федорович.

Мужики переглянулись. Гипноз таинственности, овладевший всеми, был настолько силен, что о такой простой мелочи, как веревка, позабыли, хотя она мозолила всем глаза не один десяток лет да и веревкой именовалась условно, по своему деловому назначению. На самом деле это был довольно толстый, скрученный из нескольких прядей пеньковый канат, к тому же потрепанный многими непогодами. Расчесавшийся его конец для того, чтобы он не распускался выше, был завязан рыхлым узлом мало не в кулак величиной. В полнолуние, на открытом месте, его, несомненно, можно было разглядеть за добрых тридцать саженьей. Больше всех вопрос о веревке удивил самого Порфирия.

— Верева?—озадаченно переспросил он.

— Верева чего-то я не заметил или запаматовал... Не помню, чтоб веревку видел, а так чего-то в глазах маячило. Вроде тень какая-то прыгала, то темная, то прозрачная... Скелет не скелет, а не поймешь, что мельтешило...

При страшном слове «скелет» иные снова закрестились» но разговор о веревке давал повод для догадок менее мрачных, чем прежние.

— Может, озорство чье?.. Привязал кто к веревке бечеву да издали дергает?

Первым начисто отверг мысль об озорстве Киприан Иванович.

— Нет у нас таких озорников,— решительно сказал он.— Тайга такого не любит. Кому, опять же, придет в голову на морозе всю ночь промеж крестов сидеть?.. Пожалуй, Гришка Ерпан, когда молодой был, этак мог бы... Так теперь он здесь с нами стоит.

— Да, баловался когда-то...— усмехнулся Ерпан.— Только такого беспокойства людям никогда не чинил.

— Однако ж, что в воздухе, кроме веревки, «мельтешить» могло?— снова спросил Петр Федорович.

Вопрос остался без ответа, потому что снова начался звон, то отрывистый и громкий, то верезжающий, будто язык не ударял, а скользил по бронзовому телу колокола. И тут у Киприана зародилась странная мысль, перешедшая в уверенность: такой звон не мог быть делом человека... Если он и казался страшным, то именно своей нечеловеческой и поэтому совершенно непостижимой бессмысленностью. Свою догадку Киприан облек в загадочную форму.

— В веревке вся суть и есть: не человеческая рука ее держит...

— Вы так думаете, Киприан Иванович? — быстро сказал Петр Федорович и предложил:

— Нужно пойти посмотреть. Тут, кажется, недалеко?

Сказано это было просто, обычным тоном, словно речь шла не о ночном посещении кладбища, а о прогулке. Но в то же время все поняли: если никто не согласится, пригласивший обязательно пойдет один.

Луна светила достаточно ярко, и Киприан хорошо видел не только худощавую, немного сутулую фигуру Петра Федоровича, но и его серьезное бледное лицо. И еще заметил: короткое потертое городское пальто с бархатным воротником и тонкие шерстяные перчатки, мало подходившие для прогулок по зимней тайге.

Все промолчали, и Петр Федорович, круто повернувшись и не оглядываясь, пошел один...

Многим стало стыдно в эту минуту, но времени для размышления не было. Общую нестерпимую неподвижность нарушил Киприан Иванович. С силой воткнув в сугроб явно ненужную лопату, он крикнул и быстро зашагал вдогонку за Петром Федоровичем. Разве на полшага отстал от него Григорий Ерпан. Следом за ним оторвалось от толпы еще трое, затем гурьбой двинулись все остальные.

Произошло то, что свойственно людям вообще, а русским особенно. Обретя целеустремленное движение, толпа сразу перестала быть толпой. За одну минуту растерянность сменилась решимостью, страх — мужеством. Наиболее робкие, то есть те, что двинулись последними, на ходу обрели храбрость, стремясь нагнать, а то и обогнать передних. Передние ряды скручивались, уплотнялись, раздавались вширь. Когда ряды поглотили всех отставших, установился известный порядок и походный ритм: обгонять самых первых — Петра Федоровича и шедших по сторонам от него Киприана Ивановича и Ерпана — было уже неловко: тем самым за ними молчаливо признавалось право на руководство, и пожалуй, на главенство.

Не обошлось и без смеха. Занятая разговором с оставшимися женщинами и стариками бабка Свистуниха, хватившись мужа, бегом

нагнала мужиков и, ворвавшись в их ряды, ухватила его за ворот.

— Ты-то куда, старый хрыч, поперся?.. Твое ли дело ночью по боженивкам таскаться?

— Пусти, Маланьюшка, куда люди, туда и я...

— Пущай, кому надо, одни чертей ловят... Тоже мне чертолов выискался!..

— А хоть бы и чертолов! — Заговорило в старом Свистуне поправленное мужское достоинство.

— А, вот как! Так я тебе без боженивки этого добра сколько хочешь насыплю, лови только!

И без лишних слов взялась Свистуниха за дело: выколотила на Свистуне тулуп и поволокла за ворот в избу.

3.

Ушли мужики; бабы и старики в кучу сбились.

И страшно всем и, понятно, интересно, чем дело кончится. Может, больше всех волнуется Арина Перекрестова: не шутка — муж первым пошел. О доме даже забыла. Впрочем, когда со двора уходила, там все в порядке было: перед образами лампы горели, а Ванька отмороженным носом на полатах сопел.

Невдомек Арине, что в это самое время Ванька следком за взрослыми мужиками пробирается, так торопится, что полные пимы снега набрал.

Медленно тянется время. От страха и напряженного ожидания у женщин разговор не клеится. Говорить о страшном — страшно, о чем другом — не к месту, не ко времени.

И вдруг: дзинь-бум-дз-з!.. Трах-рах-ах!..

Зазвонил было колокол, а как грянул повторенный по-зыком трескучий выстрел, сразу звон оборвался. Тишина наступила гробовая, страшнее всяких выстрелов, всякого звона...

— Ой, бабоньки, не могу-у!..

Взялась Арина плачущую утешать и сама в слезы. Две подруги Арину успокаивать взялись — обе туда же. Пошла слезливая цепная реакция...

Но только глянула Арина на дорогу, сразу глаза высохли! Бежит со стороны кладбища небольшая фигура: полушубок на ней совсем как у Ваньки и уши малахая по Ванькиной манере вверх приподняты и по сторонам болтаются.

— Чтоб тебя, постреленок, язвило!

Ванька издали орет, надрывается:

— Ух ты-ы!.. Ерпан звонаря подстрелил!.. Как он — бах!— так перья полетели! Ух ты!

Перед Ариной задача: то ли сразу Ваньку драть, то ли наперед у него новости выпытать. Ванька-то тоже кое-что смекает: останавливается поодаль.

— От кого перья полетели?

— От звонаря...

— Да кто звонил-то?

— Кто веревку зацапал, тот и звонил...

— Ну-ка, подойди ближе!

— Зачем?

— Тебе говорят, подойди!

— Я лучше после подойду...

— Тогда говори толком, кто звонил?

— Птица ненасыть ¹ звонила, вот кто!.. Как Ерпан по ней бахнул, она враз от путли освободилась и на снег пала, крыльями бьет и клювом щелкает... Я первый до нее добег, чтобы не ушла. Она на меня, я на нее... Она крыльями, а я на нее брюхом навалился!.. Тут Ерпан приспел, перенял ее у меня и прикладом добил... Ух ты!



По дороге далеко растянувшейся цепочкой возвращались мужики. Были слышны голоса, даже смех. В середине цепочки, рядом с Петром Федоровичем, шел Григорий Ерпан, волочивший за крыло большую птицу.

Ванька в основном рассказал все правильно» После долгих снегопадов не стало старой неясности легкой наживы: ушли под глубокий снег мыши, схоронились в своих воздушных крепостях-гайнах белки, уснули в глубоких норах скопидомы-бурундуки, под заснеженными лапами елей нашли защиту немногие не улетевшие на зиму птицы.

И напала серая хищница с голодухи и злости на первое, что показалось ей живым, — на качавшийся на ветру узел колокольной веревки. Только получилось, что не она его, а он ее схватил, так крепко запуталась в прочной пеньке когтистая лапа. Пока рвалась — звон подняла и себя самое и людей напугала. Посидела на звоннице, отдохнула малость, опять биться стала.. И так несколько раз, до тех пор, пока люди не пришли.

Глянул зорким охотничьим глазом Ерпан, сразу понял, кто веревку держит, чья тень мельтешит под звонницей... Понял и, не говоря слова, вскинул ружье и ударил влет крупной дробью. Не кому-нибудь, а самой себе назвонила-наворожила погибель ночная разбойница!

Ванька — дипломат. Хотя отец видел его на кладбище и ничем в ту пору своего недовольства или удивления не показал, из этого вовсе не вытекало, что Ванькино послушание (приказано было с полатей не слезать) прощено. Поэтому он упорно держится подальше от отца, поближе к Петру Федоровичу и, уловив момент, тихонько делится с ним горькими предчувствиями:

— Как бы тятка меня чересседельником не отхлопал за то, что я из избы утек...

Прямо вмешиваться в отношения между отцом и Ванькой Петр Федорович для его же пользы не хочет, но ловко находит способ обезоружить Киприана Ивановича.

Положив руку на голову ученика, он вслух, так, чтобы все слышали, говорит:

— Ну, герой, теперь ты расскажи нам, как со звонарем воевал.

Таким образом Ванькин поступок, минуя суд родительский, оказывается вынесенным на суд общественный. То, что Петр Федорович называет Ваньку героем, в какой-то мере предопределяет оправдательный приговор...

Ванька этой тонкости не понимает, опасливо смотрит на отца и шмыгает носом. Теперь уже неловко становится Киприану Ивановичу.

— Чего на меня смотришь? Говори, не съем...

И Ванька говорит, отвечая по существу вопроса.

— Она меня крыльями, ух ты как! А я руками не осилю, так на нее пузом... Навалился, в снег вмял так, что она копошиться перестала. Держал, пока Ерпан приспел, у меня ее отнял...

Рассказ краток и, как приличествует рассказу героя, скромнен. Все смеются. Ванька ловит чуть заметную усмешку в глазах отца и смело направляется к нему.

— Герой-то ты герой,— говорит тот,— а почто родительского приказания послушался, на кладбище побежал?

— Интересно стало, я и не выдержал... Ты, тять, и сам не удержался: мамке в избе говорил, что далеко от двора не пойдешь, а сам первым за Петром Федоровичем увязался. Я вон из-за того угла все видел...

Общий смех. Киприан, слегка смущенный, но втайне довольный собой и Ванькой, для виду хмурится и машет рукой.

— Хватит болтать! Ступай домой спать!

Ванька бегом к матери.

— Мам! Тятка велел домой идти спать. И еще наказал, чтоб ты меня не трогала...

Так и выскочил сухим из воды. На радостях от такого оборота дела, придя в избу, первым делом подошел к чересседельнику и показал ему язык.

4.

Хотя и закончилась вся эта история смехом, но было в ней такое, над чем стоило серьезно подумать.

Чудо не состоялось, но могло состояться, даже обязательно состоялось бы, если б не было подсказано со стороны умное и простое решение — пойти и узнать причину звона.

Не сделали бы этого, и все пошло бы по-иному: промолились бы всю ночь перед образами, строили бы предположения одно другого нелепее и страшнее, а тем временем звонарь-неясыть освободила бы лапу и след бы ее простыл! Негожа в Обь впадает, пошел бы вниз и вверх по Оби, по малым и большим ее притокам, по притокам притоков слух о чуде.

Ухватились бы за этот слух попы и монахи, а в первую очередь болтливые богомольцы-странники и так бы его разукрасили, что ложись кверху пупом и жди кончины мира! И обязательно нашлись бы люди, тому вздору поверившие, тем более что жителей Горелого погоста знали за мужиков дельных, отнюдь не робкого десятка...

Чем больше раздумывал Киприан Иванович, тем яснее ему становилось, что неожиданным своим вмешательством Петр Федорович сумел предотвратить большую глупость. А великое ли дело он сделал? О веревке напомнил да предложил на кладбище пойти!.. И уж очень хорошо запомнилась та минута, когда два десятка взрослых сильных мужиков, переминаясь с ноги на ногу, постыдно промолчали в ответ на приглашение Петра Федоровича.

Если бы не Ерпан и не сам Киприан Иванович, чего доброго, и отпустили бы идти на кладбище заезжего, незнакомого с местом человека в полном одиночестве. Дурные головы и так ссыльных колдунами ославили, тогда бы и вовсе в колдовство поверили: с нечистой силой, мол, знается, если ее не боится...

К счастью, все обернулось иначе: даже те, кто раньше ссыльных чурался, стали смотреть на них по-иному. Петру же Федоровичу начали первыми кланяться — по Горелому погосту честь немалая...

И так и сяк раздумывал Киприан Иванович и каждый раз приходил к одному и тому же выводу:

— Все темнота наша!..

Хуже всего, что, когда он пробовал отделить веру от суеверия, у него ничего не получалось: можно было вместе с Ерпаном посмеиваться над уставщиком «раззяв», расслышавшим в глупом птичьем звоне божественное «упреждение», но перед лицом происшествия решительно все выглядели порядочными раззявами.

Даже молитва перестала помогать Киприану Ивановичу в обуявшем его сомнении! Начнет он, к примеру, просить о хлебе насущном, и сейчас же мысль: зачем просить, если он, этот хлеб насущный,— собственных рук дело? И хоть есть молитвы, заготовленные Чуть ли не на каждый случай жизни, не Находит Кип-риан в их неуклюжих словах того, что нужно.

Тут еще досада.

Ходила как-то Арина за водой к проруби и оттуда новость принесла.

— Сказывают, Ерпан-то вовсе не сову убил...

— А кого?

Предчувствуя новую глупость, Киприан Иванович заранее рассердился. И Арина оговорила:

— Может, конечно, и врут... Говорят, в ту пору, когда Ерпан из ружья стрелял, в Нелюдном старуха одна померла.

— Какая старуха?

— Сидориха Колупаевых...

— Царство небесное! Немного до века не дотянула,— прокомментировал сообщение Киприан Иванович.— Ну и что же из того, что померла?

— Час в час сошлось: как Ерпан стрельнул, так она и померла.

Киприан Иванович наконец-то догадался, в чем дело.

— Так это Сидориха совой обернулась?

— Говорят...

— Опять говорят. Пусть другие говорят, а я тебе такую юрунду говорить не разрешаю!.. Поняла?

— Обернулся же враг змием...

— Враг — змием, Сидориха — неясью?.. Все это юрунда: сам самовидец, как от вашей Сидорихи перья летели... Ее вон Ерпан к воротам прибил...

Это была правда: к соблазну наиболее суеверных, Ерпан приколотил крылья убитой птицы к воротам, чем, по мнению иных, накликнул беду на свою избу.

— Вы и в змия не верите, Киприан Иванович! — ужаснулась Арина.
— О нем в писании сказано.

— Мало ли где о чем сказано.

Тут-то и спохватился Киприан, что далеко хватил: со змием следовало обходиться поосторожнее, но... не нашел в себе веры, чтобы покаяться И никак разобраться не может: где вера кончается, а суеверие начинается...

Разобраться и в самом деле нелегко было.

Закончились долгие размышления Киприана Ивановича тем, что он разрешил себе, а заодно и Ваньке «вольную молитву». Поняв сущность отцовской мысли, Ванька даже запрыгал от удовольствия.

— Все, что захочу, бог все сделает!.. Ух ты, вот здорово!

Ванька с такой быстротой кинулся к образам, что Киприан Иванович едва успел поймать его за ухо для дальнейших наставлений.

— Бог, конечно, все может, но только зря у него просить не следует. Опять же молитва приемлется по праведности. Прежде чем просить, грехи замолить надо...

Из дальнейших скучных объяснений Ванька понял, что получить что-нибудь от бога авансом, не творя добрых дел и не добившись отпущения грехов, очень трудно.

Решил же Ванька каждый день с утра до вечера походя. Очевидно, поэтому большинство его просьб оставались невыполненными, хотя просил он о сущих пустяках.

Чего, например, стоило богу решить вместо Ваньки задачу на

деление?.. Но сама возможность беседовать с богом запросто, на русском языке, излагая заветные мечты и чаяния, Ваньке пришлось очень по душе. Молитвы его выглядели приблизительно так:

— И еще прошу тебя, господи, чтобы было у меня ружье такое, как у Ерпана. И пороху сто пудов, и еще дробь... И крючков для рыбы больших, средних, маленьких и разных по десять штук всяких... И ручного медвежонка подай мне, господи! И еще вылечи у Шайтана больную лапу. А я сегодня двадцать четыре мизгиря задавил...

Лапа у дворового пса Шайтана скоро зажила, но остальные просьбы не выполнялись систематически.

Однако Ванька не терял надежды, что когда-нибудь они будут исполнены все сразу.

Чтобы ускорить это событие, он даже предложил богу небезвыгодную для него сделку. Все жители погоста, от мала до велика, верили, что за каждого убитого паука прощается сорок грехов. Поэтому, молясь, Ванька никогда не забывал напоминать богу о количестве погубленных им мизгирей.

Так как Ванькины просьбы были невелики, а излагал он их немногословно, у него неизменно оставалось время для беседы с богом по душам. Чего-чего, а слушать тот умел! Ему можно было рассказывать все, что угодно...

Как-то, зайдя в горницу, Киприан Иванович застал Ваньку за очень странным занятием. Стоя перед божницей, он что-то рассказывал, время от времени крестясь.

Между тем то, что говорил Ванька, меньше всего походило на молитву. Дело шло о медведе, занявшемся изготовлением дуг.

Первым движением отца было взяться за чересседельник, но уж очень его поразила складность Ванькиной речи.

— Чего ты там бормочешь?

Ванька моментально замолчал и повернулся к отцу.

— Сказывай!.. Не богу, а мне сказывай! Что молчишь?

— Петр Федорович басню задал мне выучить, я и читал...

— Вот и читай с самого начала.

После первых же Ванькиных слов Киприану Ивановичу стало понятно, что сын читает «юрунду», но (странное дело!) складная небылица о медведе, гнущем дуги, таила в себе большой и полезный смысл.

— Еще чего ты выучил?

— Про лебедя, рака и щуку, потом про кота и щуку.

Выслушав басни, Киприан Иванович уже спокойно оценил:

— Притчи, значит... Оно бы вроде и юрунда, а с поучением: взялся за общее дело — делай по согласию, а не за свое дело вовсе не берись...

— Это мне Петр Федорович объяснял.

— То-то же! — Здесь Киприан Иванович нахмурился.— А бог здесь вовсе ни при чем. Он и без тебя все знает. И крестное знамение ни к чему...

— Я, тять, только тогда крещусь, когда слова слаживаются: скажем, сначала и «легка», а потом «облака» или «засела» и «хвост отъела».

В свете такого объяснения Ванька представал перед отцом в образе закоренелого язычника-рифмопоклонника.

Таковая ересь подлежала немедленному и беспощадному искоренению.

Пришлось Ваньке становиться на колени и десять раз подряд читать «Верую».

ГЛАВА ШЕСТАЯ

ВАНЬКА СТАНОВИТСЯ ХОЗЯИНОМ ПЛАНОМОНА И ОБРЕТАЕТ ТОВАРИЩА В ЛИЦЕ МЕДВЕЖЬЕЙ СМЕРТИ.

БЕСПРИМЕРНЫЙ ПОЛЕТ, НЕ СТАВШИЙ ДОСТОЯНИЕМ ИСТОРИИ. ЕСЛИ НЕ СЧИТАТЬ ПОРКИ, ВСЕ СКЛАДЫВАЕТСЯ ВЕЛИКОЛЕПНО

1.

Без малого пять лет шла от берегов Ла-Манша до берегов Негожи потрясающая новость. Только на последнем этапе — от дьяконовского дома до избы Перекрестовых — обрела она достойную своего значения телеграфную скорость. Ванька чуть не задохнулся, пока бежал с ней до дома. Не мудрено поэтому, что в текст передачи вкрались погрешности. Киприан Иванович, собиравшийся лезть на сеновал, был прямо-таки ошеломлен необычайным известием.

— Тять, слышал? Ававтор Блерий на планомоне Ломаш перелетел! Планомон с пропёрлером ж-ж-ж!.. Ух, ты!

— Чего?—удивленно переспросил Киприан, не разобравший в сообщении сына ничего, кроме тявканья, бляения и шmeliного жужжания.
— Что еще за ававтор?

— Который летает... А имя у него — Блерий.

— Ну, а Ломаш?

— Ломаш — вроде протоки на Оби, только еще шире и вода в нем соленая... Теперь понял?

Толковали минут пять, прежде чем Киприан Иванович узнал некоторые подробности перелета храброго французского авиатора Луи

Блерио на моноплане через пролив Ла-Манш.

Многие односельчане сочли бы Ванькин рассказ вольнодумной, даже греховой выдумкой, но, заглядывая кое-1 когда в дьяконовский дом, Киприан Иванович привык верить идущим оттуда новостям. Кроме того, побывав на войне в Японии и обогнув по морю половину земного шара, сам насмотрелся всяких чудес до воздушных шаров включительно. Однако, проча Ваньке солидную и почетную будущность хлебороба, он не поощрял его увлечений, как он говорил, «барскими затеями».

— Бары с жиру бесятся, вот и летают, — оценил он известие. Нам это без надобности... Лезь-ка вон на сеновал да скидывай для коней сено...

Про перелет Блерио можно было бы позабыть совсем, если бы весной, в конце мая, не занялся аэронавтикой сам Ванька, нашедший себе компаньона в лице Григория Ерпана, что сразу придало этим занятиям гигантский размах.

Объясняя Ваньке устройство блериовского моноплана, Петр Федорович не поленился склеить маленький, в страницу тетради, змеек. Как запускать его — Ваньку долго учить не пришлось, простора же для запуска было более чем достаточно — целая Сибирь. Берега Негожи в том месте, откуда Ванька зимой наблюдал за проезжавшими почтовыми тройками, позволяли проводить авиационные опыты любого масштаба.

Стоял ясный, теплый, но довольно ветреный день, когда Ванька с приятелями-еретиками запускал свой змеек, выделявавший в воздухе самые хитрые курбеты. Эти курбеты и привлекли внимание Григория. Нимало не считаясь с тем, что кто-то обвинит его в несолидности, он, к великому Ванькиному восторгу, примкнул к компании. Возникший между ним и Ванькой увлекательный разговор о полетах носил сначала чисто теоретический характер.

— Нынче ветрено, вот он и кутыряет, — объяснял Ванька. — Это я еще ему хвост длиннее сделал, а то он не так кутырял... Я, дядь Гриша, когда вовсе большой вырасту, ух ты, какой большой планомон склею!.. Такой, чтобы на нем летать можно было.

Ванька показал на двухсаженную елку.

— Можно! — не долго раздумывая, согласился Ер-пан. — Из чего только склеишь? Бумага не выдержит...

— Лист на лист налеплю. Она толще будет.

— Тогда так.

В дальнейшем разговор принимал все более деловой характер и привел, как говорится, к полному взаимопониманию.

Так как Григорию Ерпану предстоит играть весьма немаловажную

роль, читателю неплохо было бы познакомиться с ним поближе.

Напрасно мы стали бы искать слово «ерпан» в толковом словаре, оно было в ходу только на Горелом погосте и, прежде чем стать прозвищем, служило для определения характера самостоятельно мыслившего человека, задорного и ершистого. Первым общепризнанным «ерпаном» был дед Григория, тот самый Чернобородый, который заставил целовать крест заехавшего на погост чиновника.

В пору, когда погост приписывали к волости, возник трудный для многих вопрос о фамилиях. Одни, вроде Перекрестовых, называли старые, вывезенные из Костромской и Вологодской губерний, прозвания, другие назывались по именам дедов — Пахомовыми, Сысоевыми, Изотовыми. Чернобородый же дед Григория не без задора назвал собственное, им самим благоприобретенное прозвище.

— Как меня зовут, так и пишите: Ерпан.

Волостной писарь так и написал, добавив, однако, к редкостному слову отческое «ов». И превратилась кличка в фамилию, хотя и малопонятную, но по звучности не уступавшую любой княжеской.

От деда перешло «ерпанство» к сыновьям, потом ко внукам Чернобородого. Не в пример другим, упорно придерживавшимся старины, Ерпановы жили своим умом, по собственной воле. Поэтому многие Ерпановы разбрелись по Сибири. Старший брат Григория, став водником, поселился в далеком бойком городе Тюмени. Некоторое время живя у него, Григорий и стал грамотеем. Никогда не вернулся бы он на Горелый погост, если бы не великая его любовь к тайге и охоте...

Охотой между делом занимались многие, но Ерпан превратил ее в промысел, ставший при его смелости и добычливости достаточно доходным. Но уже одно то, что Ерпан вел жизнь таежного бродяги, пренебрегая земледелием, казалось односельчанам великим нарушением жизненных правил, тем более, что к делам веры он относился с полнейшим равнодушием, а под горячую руку (как то случилось в памятную ночь при его столкновении с Лаврентием Перхатовым) и с насмешкой.

Подозревая в Ерпане склонность к озорству, Киприан Перекрестов в какой-то мере был прав: парню ничего не стоило пройтись по улице с балалайкой в строгий постный день. Однажды он, не пожалев труда, построил деревянную пушку и, зарядив ее двумя фунтами пороха, дал салют в честь проплывавшего парохода. Пушку разнесло в щепы, но рыбаки и охотники слышали ее выстрел за пятнадцать верст.

Со временем к проделкам Григория привыкли, так как были они веселы, беззлобны и вносили некоторое оживление в застойную жизнь

крохотного селения, а его храбрость и добычливость вызывали известное уважение не только на погосте, но и по целой волости. Не кто-нибудь, а двадцатичетырехлетний Григорий Ерпан избавил односельчан от большой напасти. Разыскав в дремучей тайге берлогу огромного старого медведя и метко всадив ему под левую лопатку пулю-жакан, он навсегда отучил его драть скот, мять и обсасывать посеvy молодого овса.

Смелый Ванькин проект постройки «планомона» пришелся Ерпану как нельзя больше по нраву. В ближайшую поездку в город (с открытием навигации он ездил на весеннюю ярмарку сбывать добытую за сезон пушнину) он вернулся с большой скаткой прочного тонкого картона и огромными мотками прочнейшей бечевы. В ближайшие три дня под Ванькиным идейным руководством (не обошлось дело и без технической консультации ссыльного моряка) им был сооружен змей чудовищной величины.

Успешно пройдя первый испытательный запуск, в ближайший погожий день, совпавший с праздником троицы, он с утра до обеда провисел в воздухе. При этом выделял такие виражи, так грозно размахивал восьмисаженым хвостом и гремел трещотками над самым двором раззявы Лаврентия, что тот (все дальше от греха!) прикрыл ставнями окна. Старухи, невзначай глянув на небо, на всякий случай отплевывались через левое плечо и крестились. Иные из мужиков хмурились, но большинство (в числе таких был и Киприан Иванович) усматривало в происходившем праздничную забаву, не заслуживающую особого порицания. Если и дивились, то только досужеству Ерпана.

Нужно сказать, что запуск и управление огромным змеем оказались делом нелегким и даже потребовали механического приспособления. Конец спущенной бечевы пришлось закрепить посередине толстой полуторааршинной палки, оба конца которой подсовывались под корни растущих на опушке деревьев. При ровном несильном ветре змей спокойно разгуливал по поднебесью, почти не меняя направления.

Между тем на пусковой площадке (туда были допущены немногие избранные) велись секретные разговоры большого значения, к тому же прекрасно определявшие характеры собеседников.

— Ты, дядя Гриша, еще одну палку планомону на хвост привяжи!—по праву инициатора предприятия потребовал Ванька.

— Зачем?

— Я ему верхом на хвост сяду.

Ванькина просьба ничуть не озадачила, даже не удивила Ерпана. Он подошел к вопросу с чисто технической стороны: подхватил Ваньку под

мышки и прикинул на вес.

— Нет,— сказал он.— Не сдюжит!

— Как это «не сдюжит?»—возмутился Ванька. Вы вдвоем его сдержать не можете, он вас волокет, а меня поднять не сдюжит?

— Сам-то планомон сдюжит, а хвост порвется. Кабы он не мочальный был, а пеньковый — иное дело.

Ванька был разочарован. Тем временем Ерпан подыскал другую причину для отказа.

— Хвост слаб — это одно. И еще: что твой тятка скажет?

Оказалось, что этот вопрос был Ванькой хорошо предварительно проработан.

— Тятка ничего не скажет, а выпорет, — убежденно произнес он и пояснил: — У него для этого чересседельник есть, так я его перед тем, как лететь, в речку закину...

— Чересседельник-то утопишь, а куда березы денешь? Их вон сколько стоит.

Берез и впрямь вокруг росло угрожающе много. Горелый погост шутя мог прокормить березовой кашей всех сорванцов Российской империи. Ванька задумался, но не сдался.

— Пока за розгами ходить будет, остынет.

— За такое дело не помилует. Тебя выпорет, заодно мне голову оторвет.

— Ты боишься?

— Не боюсь, тебя предупреждаю.

— Ну и выпорет... экое дело!

— И еще тебе нельзя лететь потому, что ты убиться можешь.

Любопытно, что этот довольно веский аргумент пришел в голову Ерпана последним.

— Не убьюсь! Знаешь, как я за хвост держаться буду?!

— Закружится голова, возьмешь и отпустишься.

— Не отпущусь. И голова у меня никогда не кружится... Видишь вон ту сосну? Я у нее на самой верхушке около кривой ветки целый день сидел... Сосну, ух ты, как качало, а мне хоть бы что!

Пришлось Ерпану вернуться к первому по счету доводу.

— А самое главное, что хвост из мочала...

Ванька чуть не заплакал. Его печаль хорошо была ио-нятна самому Григорию, и он постарался утешить Ваньку, пообещав:

— Ты не расстраивайся. Я нынче такую потеху устрою, что весь

погост ахнет!..

Ванька сразу разинул рот от любопытства и удовольствия.

— Что ж ты сделаешь?

— В обед узнаешь...

— Ты мне сейчас скажи, я никому...

— Сейчас нельзя. Я и так никому не говорил, одному тебе рассказываю: как раз в обед начнется...

Едва дождался Ванька обеда...

Но обед уже шел к концу, а обещанная потеха все еще не начиналась. Обгладывая утиную гузку, Ванька так и вертелся от нетерпения. В конце концов Киприан Иванович нарушил торжественное молчание праздничной трапезы, прикрикнув:

— Чего ты крутишься, на ежа сидишь, что ли?

По случаю троицы на Ваньке голубая рубаха и красный пояс с кистями. Богатый наряд (босые ноги, на взгляд Ваньки, красоты не умаляют) придает ему солидность. То, что отец задал ему вопрос, обязывает его к ответу.

Никакого ежа подо мной нет, а верчусь я оттого, что сейчас будет...

— Что будет?

— Да вот будет! Тогда узнаете... Ух ты, что будет!!!

Неопределенное, но грозное обещание таинственного события производит на мать впечатление. На отца — тоже: он сердито хмурит брови.

— Ты не ухай, а говори толком. Если начал рассказывать, рассказывай до конца, а то заладил «будет», «будет»... Говори сейчас же, что будет?

— Я, тять, не знаю что, но только непременно будет...

Начав разговор из воспитательных соображений, Киприан Иванович под конец рассердился по-настоящему.

— Ты не знаешь что, так я знаю! Вон что будет!

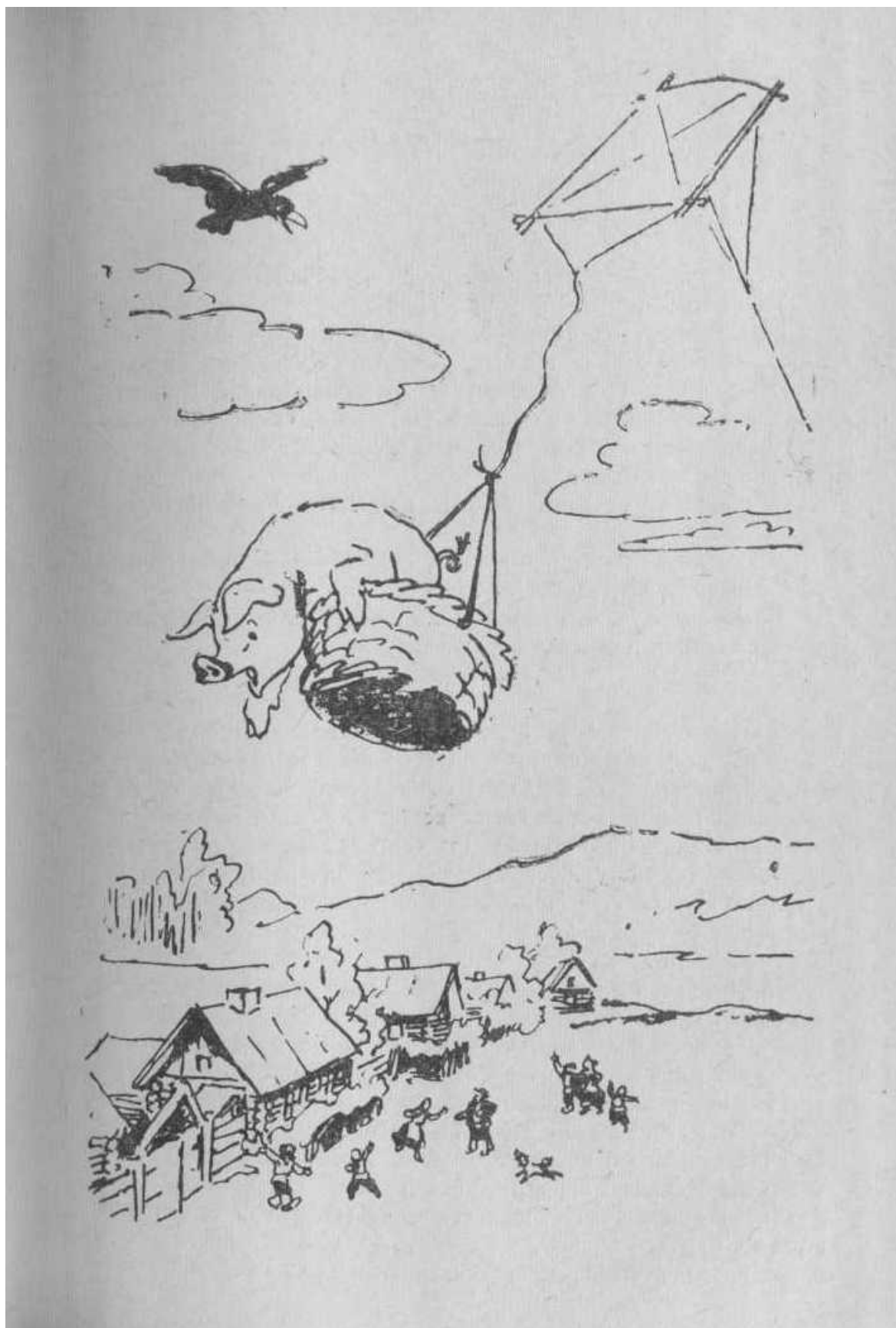
И показал на чересседельник. Ванька, конечно, притих...

И нужно же было предсказанному событию начаться во время послеобеденной молитвы, которую читал вслух сам Киприан Иванович! Только произнес «благодарю тя, господи, яко насытил нас...», как откуда-то донесся истошный пороссячий визг. От удивления (кому придет в голову мысль резать поросенка в самый обед праздничного дня!) Киприан Иванович даже запнулся, но сейчас же овладел собою и продолжил «...яко насытил нас благодатью твоею...».

Между тем еще не съеденная благодать продолжала верещать с таким отчаянием, что стало ясно: происходит нечто из ряда вон выходящее.

Только пристальный взгляд отца заставил Ваньку не выдать своего волнения.

Через две секунды после конца молитвы он неся к месту происшествия. Еще со двора он успел рассмотреть, что на хвосте планомона болталась ивовая корзина. Оттуда-то и неся поросичий визг.



Если чудо с ночным звоном не удалось, то чудо с поросенком удалось на славу. Не только по всей Оби, но и по Енисею и по Лене разнесли гармонисты-водники развеселую частушку о том, как

На Горелом на погосте
Сотворились чудеса,
На седьмые небеса
Вознеслося порося.

Выкинул бы кто другой такую штуку, мужики, наверно, проучили бы виноватого, но с Григория Ерпана взятки были гладки: за веселый нрав и удаль русский народ прощает если не все, то многое.

Однако пороссячьим визгом дело не кончилось.

2.

После учиненной проказы Григорий Ерпан сразу потерял интерес к аэронавтике. На неотступные Ванькины просьбы запустить планомон отвечал посулами, а под конец взял и отделался тем, что подарил ему огромный летательный снаряд вместе со всем запасом бечевы. Сделал это, впрочем, не по злему умыслу, а по твердой уверенности, что Ванька при всем желании не сумеет не только оседлать, но и запустить воздушное чудовище.

Ванька принял подарок (змей был брошен в пустом сарае дьяконовского дома) с восторгом, но скоро разгадал хитрость Ерпана. Другой на его месте отказался бы от рискованной затеи, но Ванькино решение отправиться в полет было непреклонно. В то же время было ясно: если уж Ерпан отказал ему в содействии, на помощь других взрослых вовсе не приходилось рассчитывать. Мало того, все приготовления к полету следовало держать в глубокой от них тайне. После некоторых размышлений Ванька создал нечто вроде комитета по запуску планомона, включив в него Пашку Свистуна и двух других сверстников. При этом, случайно или не случайно, Ванькин выбор пал на самых отчаянных. Уже в последнюю минуту для участия в деле была привлечена Лушка Медвежья Смерть.

Судя по имени и тоненькой рыжей косичке Медвежья Смерть была особой слабого пола, но обладала характером, которому мог бы позавидовать сам Ерпан. Страшное свое прозвище она получила в прошлом году, когда в разгар ягодного сезона с честью выдержала

поединок с молодым, но удивительно нахальным медведем. Забрался он в малинник по той же причине, почему пришли туда и девчонки — по ягоду. Плохого в этом ничего не было — ягод хватало на всех, но косматый сластена проявил непозволительную жадность: вместо того чтобы честно собирать ягоды, он полез поганым рылом в стоявшие под деревом наполненные корзины. Девчата пробовали издали на него шуметь, но он так увлекся грабежом, что даже не глянул в их сторону. Каково же было возмущение приспевшей на шум Лушки, увидевшей, что очередь доходит до ее корзины! Не теряя лишних слов, она ухватила полупудовый дрюк и кинулась на косматого разбойника.

— Ах ты, варнак окаянный! Нечистик!.. Чтоб тебя, куцого, язва задавила!.. У-у!!!

Дрючок с треском обрушился на бурую голову. Правда, он оказался гнилым и не причинил нахалу вреда, но тот перепугался, вообразив очевидно, что в лице рыжей Лушки перед ним предстала сама богиня Диана, и пустился наутек. Но не такова была Лушка, чтоб отпустить его с миром! Ухватив новую дубинку покрепче, она кинулась в погоню и продолжала ее до тех пор, пока не обнаружила на земле и мху вещественные доказательства полнейшей деморализации противника.

Бурый нахал больше не показывался в малиннике. Некоторые предполагали даже, что он подох от страха. Последняя версия и подарила Лушке ее прозвище.

Даже самые ярые женоненавистники из состава комитета считали небесполезным заручиться содействием Медвежьей Смерти. Должно быть, и ей польстила оказанная честь.

— Когда летишь-то?—коротко спросила она Ваньку, объяснившего ей суть дела.

— Завтра, когда тятка поедет гречку сеять... Я тогда свистну... Придешь?

— А то!

— Не подведи, смотри...

— А то!

— Сначала я слетаю, потом ты... Хочешь?

— А то!

Предельный лаконизм Медвежьей Смерти объяснялся двумя причинами: во-первых, складом ее характера, во-вторых, чрезвычайной занятостью. Разговаривая с Ванькой, она с непостижимой быстротой уничтожала кедровые орешки. Ванька сам понимал в этом деле толк, но такого мастерства не видывал отроду.

— Сколько за день можешь пощелкать?—поинтересовался он.

— Сколько дашь, столько и пощелкаю! — не раздумывая, ответила Медвежья Смерть.

Ванька понял, что приобрел в лице Лушки незаменимого по смелости и способностям товарища.

Затеянному озорству благоприятствовало все.

Даже погода на следующее утро выдалась какая-то особенная, озорная. День стоял относительно ясный, но прохладный. Резкий порывистый ветер то и дело проносил по небу низкие рваные облака. Их тени зловеще скользили по противоположному низкому берегу Негожи. Тайга неумолчно гудела. При приближении особенно сильных порывов ветра гул перерастал в шум, заглушавший обычные человеческие голоса.

Посмотрев на такие облака и прислушавшись к шуму деревьев, храбрый авиатор Блерио наверняка отложил бы свой перелет до лучшей погоды. Но не таков был Ванька!

Через пять минут после отъезда отца он стоял на берегу Негожи и, вложив в рот пальцы, извещал друзей и приятелей о предстоящем деле. Первым откликнулся на призыв Пашка, затем остальные члены комитета. Самый пронзительный свист, перекрывавший шум тайги, донесся с дальнего двора Изотовых. Так свистеть умела одна Медвежья Смерть.

Затруднения возникли с самого начала, когда ребята попробовали вынести из сарая огромный полутоннажный планомон. Картонное чудовище так отчаянно парусило и с такой силой вырывалось из рук, что с ним едва справились пятером: четверо держали его за углы, а Лушка, замыкая шествие, волокла по земле длинный, непомерно тяжелый и толстый мочальный хвост.

Доставка змея на берег была самой хлопотливой и трудной частью предприятия. Остальное от воли ребят мало зависело: события с роковой неизбежностью вытекали одно из другого.

Положив планомон плашмя (ибо только так можно было удержать его на месте), ребята распустили сорокасаженную бечеву. Они делали то, что на их глазах делали Ерпан и моряк, но при этом недооценивали силы ветра и явно переоценивали свои собственные... При первой же попытке приподнять верхний его край планомон вырвался из их рук, вихрем вздыбился вверх, потом, не успев поднять в воздух хвост, опрокинулся и со страшным гулом ударился о землю. Таким образом он доказал свою прочность и одновременно предупредил, что в дальнейшем шутить не станет.

Увы, Ванька не внял предупреждению! Наоборот, по его настоянию

было сделано все, чтобы ускорить события: планомон был перенесен на самый край обрывистого берега, а его хвост сброшен вниз. Правда, для новой попытки запуска выждали время, когда ветер немного стих.

На этот раз планомон круто, но плавно взмыл вверх, подняв и вытянув во всю длину свой могучий хвост... И быть бы большой беде, если бы кто-нибудь из ребят намотал бечеву себе на руку! Было легче ухватить и остановить за хвост несущегося по лугу быка, чем совладать с пустившимся в полет исполинским змеем. Бечева, вытягиваясь, вырывалась из ребячьих рук, оставляя на них огромные, горящие огнем ссадины.

Последним в ряду запускавших был Ванька. Ему-то и предстояло выдержать схватку с взбесившимся планомо-ном.

Бесспорно, самое разумное, что он мог сделать, это бросить привязанный к палке конец бечевы, предоставив чудовище уготованной ему гибели. Но Ванька рассудил иначе. Оседлав бечеву и уцепившись за нее обеими руками, он уселся на палку.

Между тем попавший в сильный воздушный поток планомон успел забраться высоко в небо и распластался там почти в горизонтальном положении. Бечеву тянуло вверх и в сторону обрыва...

— Ух ты! — воскликнул Ванька, делая первый семисаженный скачок по направлению к Негоже.

Здесь-то перед лицом необозримого сибирского простора и произошло нечто, если не прервавшее, то несколько изменившее ход событий: Ваньку успела догнать и схватить Лушка Медвежья Смерть. Впрочем, «схватить» — не то слово. Стремясь во что бы то ни стало удержать Ваньку, она подпрыгнула и уселась ему на закорки, обеими руками обняв за шею. Что руководило Лушкой — самоотверженное желание помочь товарищу или нежелание упустить возможность покататься на планомоне, — разбирать было некогда. Факт остается фактом: Лушкина тяжесть принесла Ваньке неслыханное облегчение. Лететь вдвоем было куда веселее!

— Держись крепче! — скомандовал он, чувствуя, что непреодолимая сила отрывает их от земли.

— А то! — по обыкновению ответила Лушка.

— У-у-у...

Доухнуть до конца Ванька не успел: от скорости поле-та у него захватило дыхание. Только сейчас Лушка проявила некоторую, свойственную своему полу слабость — взяла и зажмурилась. Ванька жмуриться не стал, и перед его глазами с непостижимой быстротой замелькали и закружились бурые склоны обрыва, темные ели, яркие зеленые березы (Ванька видел их сверху), коричневая, с пенистыми

волнами и крутящимися водоворотами вода не вошедшей в берега Негожи, облака, солнце...

Едва ли не больше самих авиаторов были поражены оставшиеся на берегу участники запуска планомона. На их глазах Ванька и Лушка унеслись в пространство так стремительно, что уследить за ними было невозможно. Только один Пашка успел заметить крохотную точку, падавшую в дальнее болото, поросшее мелким осинником и березняком.

Зато все проделки планомона были видны очень отчетливо. Это уже не был правильный полет управляемого аппарата. Походило на то, что, добившись независимости, он сразу же раскаялся в своем свободолюбии. Сначала заколебался, потом начал кутыркаться, а затем падать, обгоняя

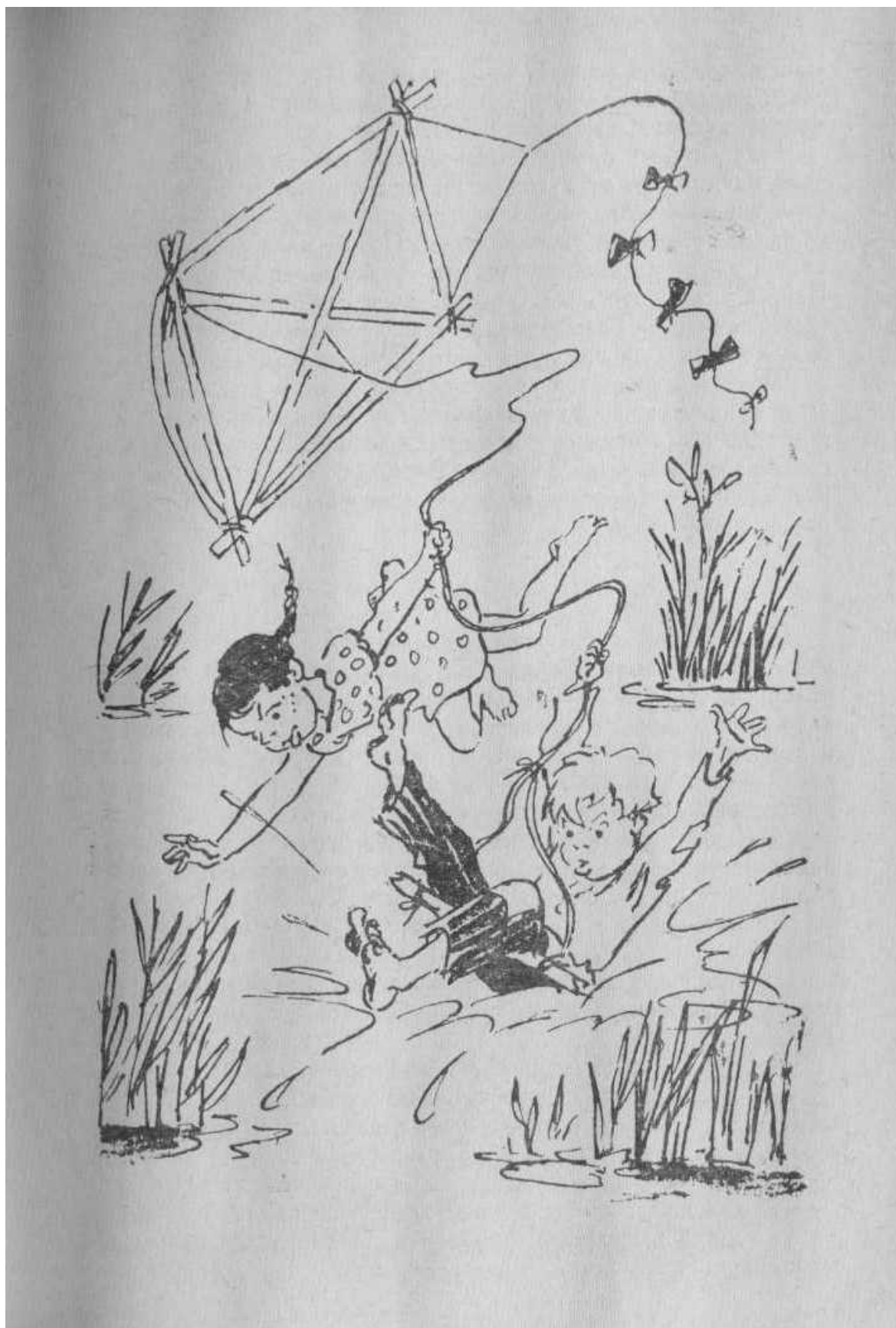
Свой судорожно извивавшийся хвост. Потом что-то случилось: на короткое время он снова выровнялся и даже, казалось, несколько поднялся.

Был ли тому причиной внезапный порыв ветра, или бечева натянулась от тяжести Ваньки и Лушки, или оба обстоятельства совпали, но несколько секунд планомон пребывал в состоянии устойчивости. Потом начал падать снова, на этот раз окончательно и бесповоротно. Глазастый Пашка видел, что он исчез в том же осиннике, верстах в трех от погоста. Только тогда ребята догадались, что им надлежало делать, и кинулись к ближнему дьяконовскому дому.

То, что первыми о происшествии узнали ссыльные, было к лучшему: взрослое население погоста выехало в поле, и только они могли оказать немедленную помощь. Один сейчас же взялся за обработку раненых ребячьих рук, Петр Федорович и Моряк побежали к стоявшим под берегом рыбацким лодкам.

3.

Полет Ваньки и Лушки продолжался не более полуминуты. Высота обрыва спасла их от главной и самой грозной опасности — гибели в холодных и грязных волнах бушевавшей Негожи. Если вначале они быстро падали, то в середине полета наступил момент, когда бечева снова натянулась, придав устойчивость уносимому ветром планомону, и их падение превратилось в очень быстрый, но отлогий спуск. К тому же под ними оказалось огромное, поросшее редкими молодыми деревьями болото, не совсем еще освободившееся от разлившихся вод реки. Оно было достаточно вязким, чтобы амортизировать силу удара при приземлении.



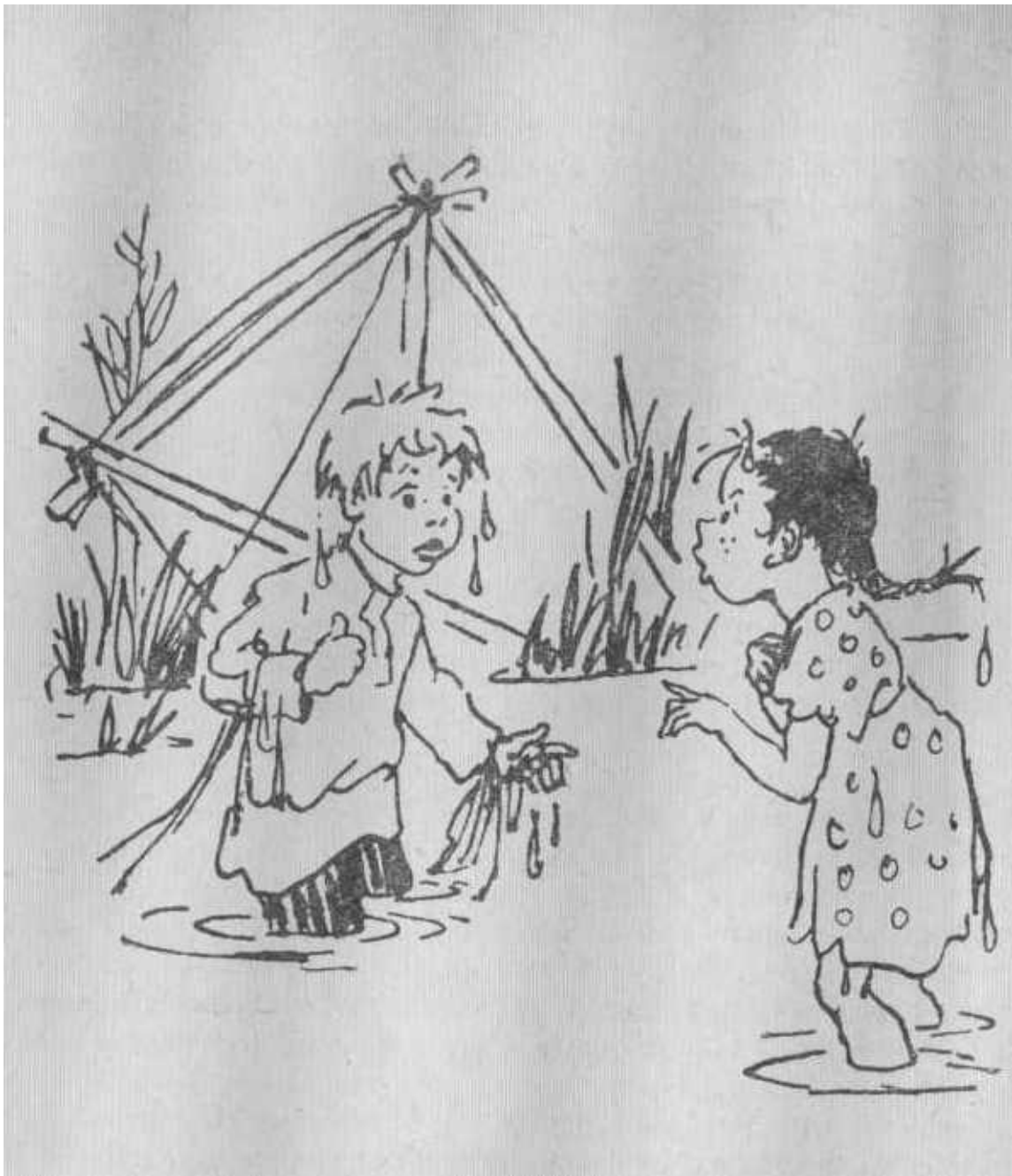
Отцепившись от безжизненно лежавшей бечевы, аэронавты перевели дух и обменялись довольно сильными впечатлениями.

— Ну и «ух ты!» — оценил происшествие Ванька.

— А то как?!—отозвалась Медвежья Смерть.

После этого оба, по пояс в воде, держась за руки, двинулись к видневшемуся неподалеку бугорку.

Шли, поминутно оступаясь, помогая один другому.



Кое-как добравшись, примостились под осинкой и, дрожа от холода и мокроты, предались невеселым мыслям о ближайших последствиях совершенного полета. Кому-то проникновение в воздушную стихию приносило мировую славу, кому-то сулило крупные неприятности... Разговор вязался плохо. Впрочем, собеседники отлично понимали друг друга с полуслова.

— Тебя чем порют? — осведомился Ванька.

— Чем попадя, — ответила Медвежья Смерть. —

— А тебя?

— Чересседельником. Только я его нынче, перед тем как лететь, в речку забросил.

— Меня бабка последний раз четками хlobыстала.

— Больно?

— А то!

Тут Ванька вспомнил о запасе орешков в кармане штанов и поджентльменски предложил их спутнице. Та в свою очередь угостила его куском жеваной серки. Взаимная любезность несколько скрасила тягость ожидания.

Примерно через полчаса жертвы аварии услышали далекие мужские голоса. Их искали и звали. Ванька откликнулся, но его голос и свист относил ветром. Зато он отчетливо расслышал голос Петра Федоровича.

— Ва-ню-у-шка-а!

Ванькино сердце екнуло от радости. То, что его искал не кто-нибудь, а Петр Федорович, подавало некоторые надежды.

— Свистни ты! — попросил он Медвежью Смерть.

— А стоит? — с сомнением ответила она, продолжая расправляться с орешками.

— Замерзнем, а пороть все одно будут.

Довод показался убедительным. Стряхнув с подола скорлупки, Медвежья Смерть поднялась, сунула в рот грязные пальцы и грянула таким удалым посвистом, какой православная Русь последний раз слышала в исполнении Соловья-Разбойника.

С берега откликнулись. Скоро между деревьями замелькали фигуры Петра Федоровича и его товарища. Они были вооружены баграми и веревками: передвижение по трясине было делом нелегким и небезопасным.

Только при свидании с Петром Федоровичем Ванька понял, что натворил. Петр Федорович не ругался, но был взволнован и очень

расстроен. Попробовал было Ванька козырнуть бесстрашием, но получилось нехорошо. Петр Федорович головой покачал.

— И дурачок же ты, Иванушка!.. И то плохо, что тебя пороть станут, а еще хуже получится, если твой батька тебя ко мне отпускать не станет.

Вот о чем думал, чего боялся Петр Федорович! Чуть не заплакал Ванька от таких слов.

Есть вещи, о которых автор писать не любит, но... назвался груздем, полезай в кузов! Обязательно найдутся читатели, которые заворчат:

— Что это вы, товарищ писатель, об одном веселом рассказываете? Этак в старину не бывало.

И будут, конечно, правы!

Поэтому автор с великим прискорбием сообщает, что все самые мрачные предчувствия Ваньки и Лушки Медвежьей Смерти оправдались полностью: немало было поломано в тот день березовых прутьев. Одно утешение, что на миру и беда не страшна. Чтобы неповадно было летать, были высечены все члены планомонного комитета, а заодно и свидетели.

Однако самого худшего, чего боялся Петр Федорович, все-таки не случилось. Даже совсем наоборот вышло. Как ни был утомлен целодневной работой Киприан Иванович, как ни рассердился он на Ваньку, но выбрал время навестить дьяконовский дом, чтобы справиться о здоровье Петра Федоровича после рискованной экспедиции. Самое главное, зачем пришел, приберег для конца разговора. Уже встав, Киприан Иванович сказал:

— По гроб жизни не забуду, что вы парнишку моего спасли, собственную опасность презрели!.. Один он у меня, как свет в глазу, вот и пекусь о нем... Двое старшеньких были, да тех черная смерть взяла, оспа, значит...

Вспомнив старших детей, Киприан вздохнул, но сейчас же спохватился, что жаловаться на провидение не полагается, и добавил:

— Значит, на то божье усмотрение, такая воля господня...

От таких слов у Моряка глаза засверкали. Еще бы секунда, и полетел бы по всевышнему адресу большой боцманский загиб, но Петр Федорович успел одним взглядом предотвратить непоправимую беду и тут же перевел разговор на другое.

— То прошлое, Киприан Иванович, теперь о Ванбшке думать нужно...

— И то думаю... Хоть и жаль было, а поучил его сегодня... Если б его просто ветром снесло, можно было бы помиловать, а то ведь нарочно полетел.—

— Почему вы думаете, что нарочно, Киприан Иванович?

— Хитростью себя изобличил. Перед тем как лететь, чересседельник в речку забросил. Значит, наперед знал, что его драть придется. Вот до чего отчаянный!

Было очевидно, что, сведя с Ванькой семейные счета, Киприан Иванович был настроен сравнительно благодушно. Петр Федорович не преминул этим воспользоваться.

— Оно, может, и так, но способности у него отменные. Очень легко все усваивает. Попробовал я ему десятичные дроби объяснить, он сразу суть дела схватил.

Что такое «десятичные дроби», Киприан Иванович не понял, но похвалой сыну остался доволен. Ради начавшегося интересного разговора даже снова присел... Да и просидел часа полтора! А вернувшись домой, нежданно-негаданно озадачил Ваньку строгим приказанием:

— Вот тебе мое родительское распоряжение: чтоб ты глупостями и озорством не занимался, будешь теперь у Петра Федоровича географии и естествоискоуе учиться! И чтобы он мне на твоё нерадение не жаловался, а то и нового чересседельника не пожалею!

Что такое география и естественная история, Киприан Иванович объяснить не сумел, а Ваньке то узнать невтерпеж. Тут-то он и доказал свою хитрость!

— Тять, вот крест святой, баловаться больше не буду!.. Никогда в жизни больше не буду... И грешить не буду...

Откуда только умильных слов набрал! Отцу прекрасно известно, что Ванька без баловства дня не проживет, но он попадаете на удочку.

— Ты крест к своим делам не припутывай и передо мной не юли, а сразу сказывай, чего тебе от меня надобно.

— Позволь, я к Петру Федоровичу сбегая, узнаю, какая географика?

— Иди. Только наперед поблагодари его, а потом уже спрашивай.

Должно быть, Петр Федорович сумел объяснить все обстоятельно. Хотя и побаливала у Ваньки задшошка, от дьяконовского дома до своей избы допрыгал на одной ноге.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

О ТОМ, КАК ВАНЬКА УСТРАИВАЛ ПРЕСНЮ, О ТОМ, КАК МИМО НЕГО ПРОШЛО КУПЕЧЕСКОЕ СЧАСТЬЕ

1.

Летом у Ваньки хлопот полон рот. Хозяйство у него преогромное: тайга, река, окрестные болота со всеми их новостями и диковинами.

Хорошо еще, дни стоят длинные, а то не управился бы! Ноги и руки у Ваньки в болячках — комарами и мошкой съедены, но на такие мелочи внимание обращать некогда.

После утренней молитвы — сразу на двор. Выходит следом Киприан Иванович и видит, что Ванька уже орудует. Выбрал ровный березовый швырок, ошкурил его и теперь отесывает: с одного конца округлил маленько, с другого на клин сводит.

Жаль, конечно, Киприану, что Ванька хороший топор тупит, однако запрета на игру не кладет: пусть парнишка руку набивает, для таежного жителя топор — первейший инструмент.

— Чего робишь? — спрашивает он.

— Крейсера первого ранга роблю.

— Корабль?

— Ага.

— Ну, робь, робь...

— Я у тебя, тять, долото возьму...

— Старое бери, новое не трожь. И пилу не смей брать!

— Я на минутку только: трубы отпилить надо.

И вот трубы отпилены и установлены в выдолбленные гнезда, гордо поднялись над кораблем высокие мачты. Реи к ним привязаны мочалками, но издали это почти незаметно. Зато пушек для вооружения Ванька не пожалел: если посмотреть на крейсер сверху, он больше всего смахивает на ежа. Очень внушительный и воинственный вид придают ему флаги и вымпелы. Правда, они сделаны из бумаги и подрисованы простым карандашом, но знающий человек поймет, что имеет дело с андреевским крестом.

Издавна повелся обычай спускать корабли в торжественной обстановке, и Ванька его не отменяет. На берегу собираются все его друзья-приятели. Перед спуском Ванька Держит речь, достойную заправского морского министра.

— Это только кажется, что он березовый, на самом деле — серебряный, — доказывает он. — Сейчас он вроде игрушечный, а спустишь его, всамделишным станет: машина работать начнет, дым из труб пойдет, пушки — бух, бух, бух!.. Ух ты!

— В кого же он стрелять будет?

— В каждый корабль, у которого флаг другой. Как бухнет из пушек, так тот перевернется и — на дно!.. А то еще возьмет и мину выпустит...

Про мины Ваньке рассказывал ссыльный моряк, но в Ванькиной передаче рассказ этот звучит куда интереснее и страшнее.

— Ежели мину под корабль подпустить, от него вовсе ничего не останется. Только вода кипит и в ней рыбы вареные плавают.

— А если мину в берег пустить?

— И от берега вовсе ничего не останется!

Ванька с крейсером в руках подходит к воде. Остальные пятятся. Еретик Савка торопливо карабкается по крутому берегу и визжит.

Крейсер качается на воде, но, говоря по правде, выглядит не очень-то казисто. Он так глубоко сидит и так кренится, что часть пушек оказывается под водой, мачты стоят не прямо, а наклонно.

Ванька раньше всех понимает истинные размеры судостроительной неудачи. Но одно дело понять, другое — честно в ней сознаться!

— Крейсер — корабль морской, он только в море плавать может, здесь ему мелко, поэтому он и кособочится,— предупреждая критику со стороны, говорит он и с силой отталкивает корабль от берега. Незадачливое суденышко закапывается носом в воду, отплывает сажени на две и пускается по течению задом наперед.

Ванька отворачивается, чтобы не видеть печального зрелища. Приятели ехидно молчат. Но не таков Савка! Докарабкавшись до вершины обрыва и почувствовав себя в безопасности от страшных мин, он кричит:

— Полено плывет!.. Полено первого ранга!.. Полено!..

Мало ли что скажет бестолковый малыш! Ванька ухом не ведет, объясняет:

— Вот в будущем году, когда я совсем большим стану, новый крейсер сделаю. Здо-о-о-оро-ву-ущий!.. Отсюда до того берега, вот какой! Чтобы на него тысячу пушек поставить можно было!.. И еще крылья к нему приделаю...

Кто верит, кто — нет, но цели Ванька достигает: отвлекает внимание друзей от позорно уплывающего крейсера..

И вдруг...

Пока суденышко плыло в густой тени высокого берега, оно в самом деле походило на полено, но вынесла его Негожа подальше, на залитый солнцем стрежень, заблестело, оно так, будто впрямь из серебра было сделано. Повернуло его течение носом вперед и понесло...

— Ребята, гляньте, несется-то как!

Ванька точно того ждал.

— Как же!.. Корабль морской, стало к морю ближе — вот он и пошел. Я ж говорил, что он для дальнего плавания сделанный!

Когда крейсер первого ранга отплыл за полверсты, ребята даже дым над его трубами рассмотрели.

Вообще Ваньке везет. В один из дней довелось ему в капиталистах побывать.

Остановился у раззявы Лаврентия Перхатова приехавший из Нелюдного купец. Ванька поблизости первым оказался. Приспел к тому времени, когда купец лошадей распрягал.

— Слышь, парнишка, водопой у вас далеко?

— За погостом, где спуск под гору...

— Коней попоить надо...

— Давай, дядя, я враз попою...

— Мал еще!

— Ничего не мал! Я тяткиных коней всегда сам на речку гоняю.

Глянул купец на Ваньку: парнишка невелик, но шустер.

— Ну, гони... Кони смирные.

Уже сидя верхом на мерине, Ванька продиктовал суровые условия.

— За так не погоню!

Он, конечно, охотно проехался бы на купеческих лошадях и даром, но вовремя вспомнил, что у купцов денег так много, что их куры не клюют.

Купцу, как ни странно, такая предерзость понравилась.

— Сколько ж тебе за твой великий труд заплатить?

Тут-то и понадобилась Ваньке мудрая наука арифметика. Его мечты дальше гривенника не шли, и он, не колеблясь, назвал эту непомерную цифру.

— А два пятака не хочешь?

Ванька обдумал и раскусил хитрость.

— Давай! Один хрен гривенник получится.

Через час, когда Ванька пригнал напоенных и выкупанных коней, шутник-купец вручил ему полпригоршни медных монет.

— Так, что ли?

— Лишнее даешь! — сказал после подсчета Ванька. — Купец, а считать не умеешь. Получай две копейки обратно...

Куда поместить благоприобретенный капитал? Из кармана, если на голове ходить, недолго высыпать, за щеку положить — свистеть нельзя... Побежал Ванька домой и положил деньги в сейф... то бишь не в сейф, а рассовал по щелям в бревнах.

Вышел на улицу важный-преважный. Подошел было к нему, размахивая хвостом, Шайтан, но Ванька его сразу на свое место поставил.

— Не лезь! Я теперь таких, как ты, сто штук куплю!..

Шайтан обиделся и отстал.

Минут пять Ванька в капиталистах ходил, пока не повстречал Пашку

Свистуна. Тот — с запоздавшей новостью.

— Слышал? Купец к Лаврентию приехал и подле его избы с воза торгует...

— Чего у него есть-то?—тоном заевшегося барина спросил Ванька.

— Все есть!.. Леденцы, рожки, жамки, губные гармошки, махорка, спички, свистульки, нитки... Для охотников — порох, дробь всякая, пистоны...

— Чего?

— Пистоны медные, говорю, есть...

— Ух ты!

— Гора целая! На копейку — две штуки...

Тут-то Ванька сразу понял, чего ему, богачу, до сих пор в жизни не хватало.

— Обожди!—крикнул он на бегу удивленному Пашке.— Я сейчас, только за деньгами сбегаю...

У купеческого воза все жители погоста от мала до велика. Кто пришел за покупками, кто просто посмотреть на несметные богатства.

Ванька на правах знакомства — прямо к купцу.

— Давай мне на все деньги!

— Леденцов?

— Леденцы не нужны, пистонов давай, какие шибче бьют!

То ли потому, что торговля шла прибыльно, то ли из какого-то хитрого расчета, купец неожиданно расщедрился и отсыпал пистонов полную горсть.

Только отошел Ванька от воза, обступили его друзья-приятели. Ждут, что он дальше делать будет.

А у него уже план готов.

— Пошли в лес!

— Что будем делать?

— Сейчас пресню устроим. Ух ты, ну и Пресня будет!

— Какая пресня?

— Один, который в дьяконовском доме живет, рассказывал, как он с рабочими-дружинниками в Москве пресню устраивал — полицейских и жандармов бил. Полицейские в дружинников из леворвертов — бах, бах, бах, а дружинники в них — трах, трах, трах!.. Ух и здорово! Женщины, какие из рабочих, и те в дружине были... Лушка, идем на пресню!

Лушка Медвежья Смерть тут как тут. Стоит и на Ванькины пистоны облизывается.

— Пойдешь в дружинницы?—спрашивает ее Ванька.

— А то!

— Будем канаться, кому полицейскими быть! И еще камней нужно набрать, чтобы по пистонам тукать.

На славу получилась «пресня»! Правда, пистонов хватило всего на пять минут, но за другими боеприпасами дело не стало: пошли в ход прошлогодние сосновые шишки, а под конец, когда городских добивали, сошлись врукопашную.

Лушка схватилась один на один с полицейским приставом Пашкой Свистуном.

Как в порядочном сражении, не обошлось без потерь и трофеев. Пашка потерял два молочных зуба, Лушка трофеей ухватила — синяк под глазом. Начальник дружины, Ванька, отделался легким ранением: ему отскочившим куском медного пистона щеку поцарапало.

2.

Пока пресня шла, Киприану Ивановичу пришлось крупный разговор вести. И не с кем-нибудь, а с приезжим купцом. Тот, к удивлению Киприана Ивановича, сам к нему пришел.

Слово за слово завязалась беседа, вроде бы деловая. Почему купцу не поинтересоваться, каков нынче медосбор, не будет ли продажного меда и воска. Потом об урожае овса поговорили, об извозном промысле... Что ни скажет Киприан Иванович, купец одно твердит:

— Дай бог, дай бог...

Такая подчеркнутая доброжелательность в конце концов насторожила Киприана Ивановича. Почувствовал он, что неспроста человек вокруг да около ходит.

И впрямь: стоило Киприану Ивановичу в порядке ответной вежливости осведомиться у купца, как у него торговые дела идут, тот пустился в многословные объяснения.

— Бога гневить не приходится, грех жаловаться — дела идут помаленьку. Пришлось ныне капитал объявить и гильдию взять... Народу-то, Киприан Иванович, поболело, так хошь не хоть, — само дело вширь идет. Где раньше красненькую выручал, там ныне четвертная шуршит... Хорошо-то оно хорошо, да управляться трудно стало: разъездная работа — дело хлопотливое. Помощника надумал себе взять. А где его достанешь? Торговое дело сызмальства опытом постигается... И обдумал я себе какого-нибудь парнишку в ученики взять...

Киприан Иванович начал кое-что смекать. Ответил так:

— Что ж, дело доброе... Небось у вас в Нелюдном сироты есть...

— Как сиротам не быть!.. Да не каждый к делу пригоден. Для торговли талант нужен, первым делом — смекалка и проворство. Это ведь тому, кто не знает, кажется просто: взял, мол, купец купил-продал, а оно вовсе не просто свой интерес соблюсти. Не всякому дано... И мне расчет подручного иметь, и ему на пользу. Глядишь, поднатореет, охоту к торговле приобретет, сам в купцы выйдет. Примеров таких немало было. Опять же в сибирских краях настоящие дела только еще начинаются... Так вот, я и говорю: бойкий и смекалый парнишка мне нужен... За расходами на него не постою — ни харчами, ни одеждой не обижу. Оно хоть и не водится ученикам с первого года плату давать, но уж так и быть, за хорошего парнишку красненькой в год не пожалел бы...

Купец соловьем поет-разливается, а Киприан Иванович мрачнеет и мрачнеет, все теперь понимает. Однако дает собеседнику до конца высказаться. Тот вплотную к делу подходит.

— Потолковал я нынче, Киприан Иванович, с твоим сынишкой, и уж дюже мне он по сердцу пришелся...

Разговор вели сидя на завалинке. Издали посмотреть — идет задушевная приятельская беседа. Оно и верно: ничего обидного купец не сказал, а у Киприана Ивановича под скулами злые желваки ходуном ходят так, что борода шевелится.

— Что скажешь, хозяин?

Через силу усмехнулся Киприан Иванович, но голоса не повысил.

— Сына, значит, надумал за десятку купить?.. Отвечу я тебе на это так: хоть тысячу рублей давай, а не бывать такому делу, чтобы мой Ванька торгашом стал, чтобы он гнилой ситец мерил, сверленные гири на веса клал да разбавленную водку махоркой травил...

Можно было подумать, что после такого ответа купец обидится и сразу отстанет, но этого не случилось. И то сказать: обманщикам-купцам и не только такое слушать доводится. Им хоть наплюй в глаза, скажут — божья роса.

— Уж больно ты горд, Киприан Иванович! Только гордости твоей цена невеликая. На себя, на силу свою надеешься, но что она тебе, кроме дневного пропитания, дает? Здешние дела мне все ведомы. Взять хотя бы урожаи ваши: собрали сам-третей и благодарите бога. Да и то один овес да ячмень... Троих коней держишь, так не ты на них, а они на тебе ездят. Летом-то выпасы у вас богатые, а сколько сена да овса на зиму надо? И промысел твой извозный знаю — тяжел, а недоходен. И, если, неровен час, кони падут или сам приболеешь, что делать будешь?.. Ну да не о тебе разговор идет. Ты о сынишке подумай. Я ему счастье сулю.

В таких словах купца была доля горькой истины. Сохраняя при себе сына, обрекал его Киприан Иванович на тяжелый вековечный труд, на неизбывные думы о завтрашнем дне. Но была и другая правда: никогда не боялись Перекрестовы никакого труда, ни перед какой бедой рук не опускали. Помышляя о райском блаженстве прадедов и дедов, Киприан Иванович неизменно рисовал в своем воображении добротные избы, тучные нивы и пастбища, табуны сытых коней. Такой уклад райского бытия предусматривал неизбежность великих трудов: сева, косовицы, молотбы. И это Киприана Ивановича нимало не удивляло и не страшило.

Успокоив себя райским видением, он обрел уверенность в своей правоте.

— О судьбе сына сам подумаю. Не ты, а я за него перед богом в ответе.

— Смотри, Киприан Иванович, не прошибись!—сказал купец, поднимаясь с завалинки.— Покаешься, да поздно будет...

— Может, и покаюсь, а к тебе кланяться не пойду.

Так и не выгорела у купца задуманная сделка. Зря погибли пистоны, которыми он Ваньку приваживал.

3.

Легко было в пылу спора сказать: «о судьбе сына сам подумаю», но думалось о ней совсем невесело. Можно было не страшиться трудоемкого земледельческого рая, но долгая полубедняцкая земная жизнь представлялась скучной, ненадежной и безрадостной. Как раз в тот день Киприан Иванович ездил в поле овес уже в метелки пошел, но такой малорослый и редкий, что едва ли семена вернет. Ячмень не лучше, гречка же вовсе плоха. Не миновать на зиму у того же купца крупы покупать. То подумывал Киприан Иванович на смену старому мерину стригунка купить, а осмотрел свои уголья и раздумал.

Одна невеселая мысль другую догоняет: куда в нынешнем году на заработки ехать? На лесопилку после прошлогоднего гордость не велит. Можно на ближней пристани наняться дрова для пароходов заготавливать, но уж больно низкую плату пароходство дает. До того довели такие мысли Киприана Ивановича, что сомнение напало: не очень ли круто он с купцом обошелся?

Посоветоваться не с кем. Арина в таких делах не советчица... Разве с Петром Федоровичем потолковать? Тот хоть и безбожник, а умен, учен, честен и, по всему видно, Ваньке добра желает.

— Советоваться не буду, а потолковать — отчего не потолковать? —

решает Киприан Иванович и берется за шапку.

В дьяконовском доме дверь заперта, но через открытые окна звучат громкие голоса. На стук Киприана Ивановича одно окно приоткрывается и из него выглядывает Моряк.

— А, Киприан Иванович!.. Свой, товарищ...

На пороге открывшейся двери стоит улыбающийся Петр Федорович.

— Проходите, Киприан Иванович... Мы тут заперлись, письмо одно читали, а был слух, что на погост урядник приедет, вот мы и остерегаемся.

Упрямство ссыльных, несмотря на великую нужду и большой риск, продолжавших упорную борьбу с начальством, Киприану Ивановичу нравится. В принципиальных вопросах он сам упрям.

— Помешал вам, значит... А я, Петр Федорович, насчет Ваньки пришел. Нынче его у меня в купцы сватали...

— Как в купцы?

По голосу и сдвинувшимся бровям видно, что Петр Федорович встревожен таким известием.

Киприан Иванович обстоятельно рассказывает о своей беседе с купцом, умалчивая, однако, о ее конце.

— Что же вы ответили этому купцу?

— От ворот поворот показал да еще ему его плутовство объяснил.

— Хорошо сделали, Киприан Иванович! — с явным облегчением произносит Петр Федорович.

— Хорошо-то хорошо, а для Ванятки-то хорошо?

Поняв, что его слушают очень внимательно, Киприан Иванович откровенно рассказывает о своих делах: о плохом урожае овса и гречихи, о неосуществимости покупки стригунка, о низких ценах на дрова.

— Я то какнибудь доживу,—печально заканчивает он. А вот Ванюшке-то моему неужто так жить придется?

— Нет, Киприан Иванович, у вашего сына совсем другая жизнь будет.

Сказано это было так многозначительно и убежденно, что Киприан Иванович удивился. Малость помолчал, потом спросил:

— Полегче ему будет?

— Правду сказать, Киприан Иванович?

— От вас, Петр Федорович, лжи не жду.

— Жизнь вашего сына будет тяжелой и трудной, но, несмотря на это, может быть и очень счастливой.

Разговаривая, Киприан Иванович оперся растопыренными руками о колени. Чего только в жизни ни делали эти большие грубые руки!.. Топор,

пила, тесло, рубанок, весла, багор, канаты, винтовка, пешня, лопата и вожжи — ничто из них не вываливалось. Как-то после бани, состругивая ногти, взялся Киприан Иванович подсчитывать свои рубцы и шрамы и со счета сбился. Один ноготь вкривь растет, потому что его упавшим бревном сбило, средний палец левой руки вовсе ссечен, там — порезы от косы, там — отлетевшая щепка отметку оставила. На тыльной стороне кисти длинный белый шрам от пилы, поперек него другой, от японского штыка — память о войне... Вся биография человека на руках написана.

Глядит Киприан Иванович на свои руки и недоумевает: о каком таком счастье Петр Федорович речь ведет? Оно хоть и грех на божий промысел сетовать, но сама вера учит, что «жизнь земная — юдоль скорби и вздыхания».

— Чего о счастье говорить, Петр Федорович?.. Полегчало бы малость, и то слава богу...

— Счастье, Киприан Иванович, разное бывает. Вот купец Ванюшке свое купеческое счастье сулил, да вы его не захотели...

— Не в нажитых деньгах дело... И вообще счастье, оно...

Только собрался Киприан Иванович высказать пессимистическую мысль об иллюзорности и суетности всякого земного счастья, как Петр Федорович озадачил его странным вопросом:

— Как, по-вашему, счастлив ли я, Киприан Иванович)

— Вы?..

— Да, я.

Худощавое, иссеченное преждевременными морщинами, с ввалившимися глазами лицо собеседника, на взгляд Киприана Ивановича, совсем не походило на лицо счастливого. Да и то небольшое, что Киприан Иванович успел узнать о Петре Федоровиче, никак не свидетельствовало о его жизненных успехах. Между тем вопрос был задан серьезно, в самой категорической форме и по характеру разговора требовал предельно откровенного ответа. Не сам ли Киприан Иванович, затеявая беседу, предупредил, что «лжи не ждет»? Впрочем, резать правду ему было несравненно легче, нежели хитрить и изворачиваться.

— Какое ваше счастье! — махнул он рукой. С вашим ли умом и образованием, Петр Федорович, в нашем, прости господи, гнилом болоте жить? Только решеток не видать, а тюрьма по всей форме... Семьи у вас нет, опять же насчет имущества... Ну, об имуществе говорить не будем — оно дело наживное, но здоровья-то для счастья не мешало бы, а у вас оно слабое: кашляете, одышка. По здешней ли погоде вам жить? Мы привычные и то иной раз кряхтим.

Получалось странно: чем больше горьких истин выкладывал Киприан Иванович, тем веселее становилось лицо Петра Федоровича. Его улыбка не была притворной, он и впрямь слушал Киприана Ивановича с возрастающим удовольствием.

— Неправду я сказал, Петр Федорович? — перебил сам себя Киприан Иванович.

— Все, что вы сказали,— правда. Но то, что вы перечислили: и неволя, и бедность, и слабое здоровье все это только наружная, внешняя сторона жизни...

— Телесная!—с готовностью подсказал Киприан Иванович.— А душа — иное дело. Тело может плакать, а душа в это время радуется... Или так: здесь печаль и вздыхание, а там...

Петр Федорович засмеялся.

— В вечную душу и в загробную жизнь я не верю, Киприан Иванович! Убежден, что если тело плачет, то и душе приходится не сладко. Но вот если тело хорошее дело делает, то и душе повеселиться можно... Вы знаете, я учитель. Возиться с ребятами — дело трудное, хлопотливое, не. одного года труда и терпения требует. И вот приходит время, приближается выпуск класса. Гляжу я на своих ребят и думаю: «Вот еще тридцать честных, смелых и грамотных людей в жизнь выходит. В этом и моя заслуга есть...» Разве это не счастье, Киприан Иванович? Ради одного этого жить стоит!

Хотя Киприан Иванович и был несколько разочарован тем, что Петр Федорович без обиняков отверг многообещающий разговор о вечной душе (неверие в загробную жизнь он почитал грехом незамолимым), но то, что он услышал, не могло ему не понравиться.

— Такому поверить можно! Учительское счастье, значит, вам вышло... Нам-то такого не дано.

— Неправда, Киприан Иванович!

Быть бы буре, если бы кто другой посмел сказать Киприану Ивановичу, что он говорит неправду! Но в начавшемся душевном разговоре это слово звучало только как вызов на спор.

— Как же неправда? Труд труду рознь: то умственная работа, а то земля да навоз... Конечно, вовсе пустым делом земледельческий труд считать не приходится, но какой от него прок? Себе и лошадям утробу набил и ладно!.. Потом вывез навоз и опять в земле копайся. Так оно колесом и идет. Воды толчение, глупость и ничего больше! Какое от такого труда может быть счастье!

— Неверно!—еще решительнее отозвался Петр Федорович.

Столь определенный отрицательный ответ озадачил Киприана

Ивановича.

— Не знаю, как эти ваши слова понять! — не без досады сказал он.

— Верно одно,— продолжал между тем Петр Федорович,— что земледелие вас не обеспечивает. Работаете вы не покладая рук, но зерна, овощей и кормов хватает вам только для себя и для прокорма скота. Но когда вы говорите, что ваш труд — дело простое, вы ошибаетесь. Оно очень сложное и мудрое.

— Велика мудрость! — усмехнулся Киприан Иванович.

— Велика! — невозмутимо подтвердил Петр Федорович.— Вы, например, держите трех лошадей, хотя по вашему наделу достаточно одной. Зачем же вы тратите так много труда на прокорм двух лошадей?

— Не лишние они, Петр Федорович. Они приработок дают. Подать, скажем, уплатить или товар вовсе необходимый приобрести...

— Правильно! Больше скажу: они за вас и подать платят, и одевают вас, и инструмент, и хозяйственные орудия, и кое-какие продукты вы покупаете за счет их труда. Короче говоря, лошади являются вашим, как говорится, орудием производства, а вывозка леса — основным источником дохода. И все на Горелом погосте так живут.

— Одно дело хлеборобство, другое — отход,— попробовал возразить Киприан Иванович.

Петр Федорович придвинул счеты.

— Ваши доходы не секрет, Киприан Иванович?

— Секрета в них нет, воровством не живу.

Неожиданный оборот разговора так заинтересовал Киприана Ивановича, что он даже забыл о времени. Только через два часа подсчетов (нередко возникал спор) выяснилось, что из каждой сотни рублей дохода шестьдесят три рубля приносит промысел.

Но самое удивительное произошло дальше.

— Сколько весит бревно, Киприан Иванович?

— Какое?—хитро спросил Киприан Иванович, полагая, что Петр Федорович вряд ли знаком с лесным промыслом.— Оно так бывает: лежат два одинаковых бревна, а вес в них вовсе разный...

— Среднее бревно. Сухой строевой сосняк — двухсаженник, восьми вершков в отрубе... Пудов десять — двенадцать?

Пораженный неожиданной осведомленностью учителя, Киприан Иванович только головой кивнул. Далее последовали вопросы о расстояниях, о качестве лесных дорог, о подъемной силе лошадей. Даже тем, сколько лет Киприан Иванович занимается возкой леса, поинтересовался Петр Федорович.

— До всего-то вы доходите!—подивился Киприан Иванович.

Никогда еще не видел он, чтобы кто-нибудь так считал. Косточки счетов так и летали, так и громоздились ряд за рядом. Не на десятки, не на сотни — на десятки тысяч дело пошло!..

— Что же получилось? —спросил Киприан Иванович, когда Петр Федорович оторвался от счетов.

— Получилось, что за свою жизнь вы выдали для строительства около двадцати тысяч бревен. Прикиньте сами, сколько из них домов и изб построить можно. По здешним местам — большое село, а то и полгорода.

Серьезное, даже хмурое до той поры лицо Киприана Ивановича засветилось улыбкой. Что бывало с ним редко, он, представив себе длинные и высокие штабеля сосновых бревен, не без самодовольства погладил бороду.

— Статочное дело! Много моих бревен в ход пошло.. Оно на возу не видно, а бревно к бревну — дом, дом к дому— село... Разрешите теперь нескромный вопрос задать, для чего вам-то такой хлопотливый подсчет понадобился?

— Для того, Киприан Иванович, чтобы вы настоящую цену своему труду знали, не считали его простым и глупым и видели пользу, которую он приносит людям.

Получив такой ответ, Киприан Иванович не сразу нашелся, что ответить. Только подумав, отозвался:

— Особого ума вы человек, Петр Федорович, если так в чужое дело вникаете.

Только тут спохватился Киприан Иванович, что слишком долго в гостях засиделся: совсем темно стало.

И уже возле самого дома вспомнил, что о главном — Ванькиной судьбе — не договорили. Да и другие вопросы нашлись, о чем стоило бы потолковать с Петром Федоровичем. При всем том пришел домой в отменном настроении.

Едва перешагнул порог калитки — навстречу ему храпнул ходивший по двору мерин. В иное время Киприан Иванович прикрикнул бы «пошел на место!», но сейчас он вступает с ним в разговор.

— Как оно? — благодушно спрашивает он, оглаживая холку, повислую спину и округлые бока старого слуги.— Разъелся, одер, за лето так, что и ребер не ощупаешь... Ничего, ешь вволю, смены-то тебе не видно. По полозу снова поедем: нам с тобой, слышь, город достраивать надо... Я-то по простоте все время думал, что ты бурый мерин и ничего более, а ты, оказывается, поднимай выше— орудие производства...

Мерин хлещет по окорокам хвостом, дышит в лицо хозяина теплым травяным духом и весело фыркает.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ
О ЧЕМ РАЗГОВАРИВАЛИ ПАРОХОДЫ.
У ПЕТРА ФЕДОРОВИЧА ОКАЗЫВАЕТСЯ МНОГО УЧЕНИКОВ

1

Розовеет небо над черной стеной елового леса. Потом сквозь сетку ветвей проглядывает большое красное солнце, и его первые лучи скользят по сизой мокрой траве прибрежных полян. Убегает, прячется под берегом в кустах тальника холодный туман. Не шумит, чуть колыхнется, точно дышит, у глинистого бечевника темная вода.

Идет вторая половина июля, но под ветром-северяком уже золотятся осины. Примолкла, выйдя из птенцов, шумливая птичья мелюзга.

В тишине ведреного утра за много верст слышно, как, что есть силы шлепая по воде плицами, идет снизу буксирный пароход. Только через час из-за низкого мыса показывается его черный нос. Двигается он так медленно, что на минутную стрелку часов и то веселее смотреть. Нижняя палуба парохода безлюдна, наверху, возле рубки, ходит небритый человек в затрапезном ватном пиджаке и меховой шапке.

Пароход покрашен грязно-желтой краской, весь закопчен, черная труба во вмятинах. На кожухе колеса затейливой славянской вязью, так, что не скоро разберешь, выведено: «Добрыня Никитич». Под быстро мелькающими красными плицами бурая вода кипит, клокочет, перемалывается в пену. Впечатление такое, будто человек, стоя на месте, во всю прыть бежит. Так и подмывает крикнуть:

— Ой ты гой еси, добрый молодец Добрынюшка, али резвые твои ноженьки притомились, аль покинула тебя силушка богатырская?

Ничего не отвечает «Добрыня», только сопит, паром, отдувается. И не мудрено: от буксирного гака, установленного за трубой, идет, исчезая за обрывом берега, толстенный, туго натянутый канат. Проходит немало времени, прежде чем из-за мыса показывается огромная широкоскулая баржа. Рядом с ней «Добрыня» выглядит муравьем, волокущим большого черного жука.

Но за баржей скрывается другая баржа, за ними следует еще пара таких же барж, за теми — паузок. Длинный караван замыкает привязанная к корме паузка большая полузатонувшая лодка. И удал же «Добрыня Никитич», коли тащит против течения этакий караванище! Правда, судя по

малой осадке, баржи идут порожняком, но и то груз немалый. Плывет «Добрыня» в Барнаул за алтайским хлебом, за кожами, за шерстью. Скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается: глядишь, месяцев через десять дойдет тот купеческий груз через пять рек по полой вешней воде до торгового ярмарочного города Ирбита.

На палубах судов по раннему времени никого нет, но видно, что их экипажи собрались не в короткий путь. Около жилых надстроек стоят корыта, лохани, ушаты. На одной барже корова к мачте привязана, а на мачте подойник висит, на другой петух горланит, по третьей мохнатый сибирский кот разгуливает. И как есть на всех белье сушится: рубахи, портки, бабьи исподницы, детские пеленки.

За шумом буксира незаметно, точно из воды, выныривает встречный пароход. Белый, длинный, двухэтажный, он несется по течению раз в сорок быстрее «Добрыни». Взвивается около его короткой, толстой трубы клуб белого пара, и проносится над рекой долгий басовитый свисток. Подымается облако пара и над «Добрыней». Он долго хрипит, прежде чем набрать полный голос, зато, набрав, свистит долго, старательно, не по росту сердито.

На капитанском мостике торопливого «пассажира» трепещет белоснежный флажок. Это означает: «Занимаю левую сторону фарватера!»

Флажок «Добрыни», обтрепанный ветрами всех румбов, только условно может сойти за белый.

«Держусь правой стороны!» — отвечает он.

На широком плесе огромной реки могли бы свободно разойтись две эскадры, но правила судоходства и хорошего капитанского тона — превыше всего.

Пароходы быстро сближаются. Человек на мостике «пассажира» поднимает рупор. До блеска начищенный, он празднично сверкает в лучах утреннего солнца. Проносится по реке раскатистый голос:

— Эй, на «Добрыне»!..

— Эй!., ыне!.. — неторопливо откликается эхо.

Разговоры между пароходами — большая редкость: по пустым делам величественной тишины никто не тревожит. Но на этот раз тишина нарушается отнюдь не по-пустому. Человек на мостике снова поднимает сверкающий рупор.

— Гер-мания... объявила... вой-ну!..

— А-ни-я... илла... ну-у... — отвечает широкая речная долина.

— И...а...у... — доносится слабый позыв из дальнего урмана.

Так же бьют по воде плицы колес, так же светит солнце, так же снуют

между баржами хлопотливые чайки, так же качаются на веревках портки и пеленки. Только рулевой на паузке снимает картуз и крестится. Скорый почтово-пассажирский пароход скрывается за поворотом, когда доходят до берега поднятые им волны.

Первая чуть лизнула глинистый бечевник и боязливо убежала, вторая поднялась выше, третья слегка шумнула, белой пеной плеснула о берег четвертая. А пятая, самая высокая, беду сделала: ударила о подмытое место. С шумом посыпались глыбы глины, поползли вниз, жалобно размахивая гибкими ветвями, кусты тальника, поплыло по течению вдоль берега облако ржавой мути, унося птичьи гнезда и скопленный за многие годы лесной мусор.

2.

В воскресенье ничего делать не положено. Не то что топором стучать, грибы собирать и то грех. Ванька даже праздничной рубашке не рад. Надета она на него со строгим наказом — не рвать и не пачкать: ни тебе на дерево слазить, ни по траве поваляться.

До обеда Ванька скоротал время, играя с ребятами в бабки, после обеда ему вовсе нечего делать стало. Отец куда-то отправился, а Ваньку с собой взять не захотел.

Тоска да и только.

Пошел Ванька по берегу реки, по окрестной тайге бродить и забрался, пожалуй, версты за три. Шел, как заправский охотник, ко всему приглядываясь и прислушиваясь.

В руках у него две связанные вместе палки, карманы полны шишек. Только, по Ванькиному, палки — вовсе не палки, а двустволка-централка, и шишки — не шишки, а патроны. И сам Ванька вовсе не Ванька, а удалой зверовщик,

Удалее и добычливее Ерпана.

Чу! Наверху что-то пощелкивает... Подкрадывается Ванька и видит: сидит на сосновой ветке рыжая белка. Ух ты!

Ванька из-за ствола дерева прицеливается и — бух!.. Брошенная шишка не пролетает и половины расстояния. Испуганный зверек взбегаёт по чешуйчатой коре и исчезает в густой кроне дерева.

Охотничья неудача не обескураживает Ваньку. Он говорит вслух:

— Это я по-нарошному в тебя пальнул! Ты мне, рыжая и линиялая, даром не нужна. Вот зимой не попадайся, шутить не стану...

Наскучив бесплодной погоней, Ванька останавливается перед дуплистым деревом (ему кажется, что в дупле есть что-то живое) и во

всеуслышание декламирует лесным обитателям только что выученную басню о лисе и винограде. Получается это у него здорово! Умели бы белки смеяться, хохотали бы до упаду.

Темный урман кончается, и Ванька спускается вниз к реке по веселому разнолесью. Совсем недалеко остается от берега, когда он останавливается и настораживается: неподалеку слышатся приглушенные мужские голоса. Кто говорит, за шелестом листвы разобрать невозможно, а любопытному Ваньке это позарез необходимо. Он заходит с другой стороны и, прячась за низкими кустами, подкрадывается к небольшой, освещенной солнцем поляне.

Теперь Ваньке не только все слышно, но кое-что и видно. Прислонившись спиной к дереву, сидит Петр Федорович и, по своему обыкновению, двигая руками, кому-то что-то рассказывает. Рядом с ним лежит раскрытая книга. Впечатление такое, будто Петр Федорович ведет урок.

Дальнейшими поступками Ваньки руководило не столько любопытство, сколько чувство ревности: походило на то, что у Петра Федоровича были другие ученики. И даже не один, а несколько!

Ванька снова меняет позицию и видит пятерых учеников. Он сразу узнает двух обитателей дьяконовского дома— Моряка и Дружинника. Третьим, к немалому Ванькиному удивлению, оказывается молодой парень Василий Изотов, закадычный друг Григория Ерпана. Да и сам Ерпан здесь! Правда, из-за кустов Ваньке видны одни его ноги, но и этого достаточно: сапоги с козырьками — единственные на весь погост. Труднее всего рассмотреть пятого, лежащего возле самых кустов спиной к Ваньке. Ванька пробует раздвинуть ветви и... ломает сухой сучок.

Треск получился слабый, почти неслышный, но уж если кто умел разбираться в таежной музыке, так это Ерпан! Вскочить на ноги, кинуться в кусты, схватить за плечо Ваньку и доставить его на поляну было для него делом двух секунд.

То обстоятельство, что его появление вызвало тревогу, озадачивает Ваньку. И окончательно немеет он от изумления, когда видит перед собой недовольное лицо отца пятого по счету ученика Петра Федоровича!

— Ты здесь один?—спрашивает Ваньку Ерпан.

— О-один...— спотыкаясь, отвечает Ванька.

— Что делал?

— Бел... бел... белковал...

И дернуло же Ваньку при самом Ерпане сказать такую несусветную нелепость! Но Ванькина двустволка и раздувшиеся от шишек карманы

подтверждают его слова. Все смеются.

— Эх ты, горе-промышленник! — подтрунивает Ерпан, — Кто же бьет белок в июле, да еще из дробовика? Много хвостов добыл?

Чтобы перевести разговор на другую тему, Ванька задает встречный вопрос:

— А вы чего тут делали?

— Да так, толковали...

— О чем?

Любопытство Ваньки не по сердцу Киприану Ивановичу, и он отвечает:

— О том, что много будешь знать, скоро состаришься.

Ванька догадывается, что прервал важную беседу, а может быть, и урок. Чтобы выйти из неловкого положения, он говорит:

— А я нынче про войну слыхал...

И на этот раз попадает в точку! То лишним был, а то все сразу смолкли, на него смотрят. Даже отец и Петр Федорович.

— Что слышал? От кого? — торопит Киприан Иванович.

Ванька добросовестно рассказывает новости.

— Рыбаки, которые у нижнего яра рыбачили, в протоке татарина Микентия встретили. А он на Оби был. И мимо него два парохода бежали. Один простой, другой почтовый. И почтовый капитан простому капитану в медную трубу кричал, что война объявилась и какая-то зация началась...

Ванька недооценивал значения принесенной им вести. Да и понять что-нибудь из слышанного было трудно. Только Петр Федорович сразу догадался.

— Все ясно, товарищи! Случилось то, чего следовало ожидать: Германия объявила России войну, и началась мобилизация.

Первым прервал молчание Григорий Ерпан.

— Отзверовали мы с тобой, Васяха! — обращаясь к Изотову, сказал он. — Воинский начальник по нас, чай, уже скучает: без сибирских стрелков царю каши не сварить. Скажи жене, чтобы засушила сухарей и на мою долю.

Хорошо холостому Ерпану ерпаниться! На Василии лица нет. Всего год назад обвенчался, молодая жена на сносях.

Глядя на Ваньку, задумался и Киприан Иванович. Сначала, по привычке, не о себе, а о конях. Старый бурый мерин царю, конечно, без надобности, а вот кобыла-шестилетка ладная выходилась, от такой ни один обозный не откажется. Заберут — останешься без рук. Да и кобылку жаль,

зря погибнет.

Вздохнул по кобыле, затем о себе вспомнил.

— Ратников ополчения брать не будут, как, по-вашему, Петр Федорович?

— Пока нет. На первое время запасных хватит, а потом... Страшная война будет, Киприан Иванович...

У москвича Дружинника своя забота.

— Нам-то, товарищи, амнистии не дадут?

— Ну, нет!. Большевики — самый опасный элемент. Может, кого и амнистируют, только не тебя и не меня... Но рук вешать не будем, теперь работа найдется...

Ванька смотрит по очереди на каждого и никак не возьмет в толк, отчего его новость так всех озаботила. В конце концов и у него находится вопрос к Петру Федоровичу:

— Можно, я по географии спрошу? Германия, которая воюет, от нас далеко?

— Далековато. Четыре тысячи верст с лишком,— улыбаясь, отвечает Петр Федорович.— До Горелого погоста ей не добраться.

Ванька немного разочарован. Необходимости в срочной мобилизации погостовских сорванцов, по-видимому, нет.

— А как нам сейчас лучше играть: по-прежнему в дружинников или в русских и немцев?

— В дружинников! На всю жизнь оставайтесь дружинниками!

Чего бы проще было всем собравшимся в лесу возвратиться на погост вместе? Но этого не происходит: к удивлению Ваньки, все расходятся в разные стороны. Он остается наедине с отцом.

— Слышь ты, дружинник, что я тебе скажу... Чтобы никто ничего об этом самом не знал!

— О войне?

— Не о войне, а о том, что нас вместе в лесу застал... Считай так: был в тайге, никого не видел, ничего не слышал.

— А мамка спросит?

— Мамке скажем — по дороге встретились.

Должно быть, Ванькино лицо выражает удивление, потому что Киприан Иванович добавляет:

— Не лжи тебя учу, а умолчанию И бог тайны имеет. Побольше нашего знает, да язык за зубами держит.

По серьезному взгляду отца Ванька понимает: надо молчать. Одновременно он начинает понимать и другое: мир гораздо сложнее, чем

кажется, что есть в нем нечто такое, что неизмеримо значительнее и возвышеннее повседневных человеческих отношений.

3.

Ушли на войну Григорий Ерпан, Василий Изотов и еще четверо молодых погостовских мужиков. Без них, особенно без Ерпана, сразу поскучноло. И лошадей многих забрали. Приезжавший из волости военный ветеринар оказался мужик не промах: на бурого мерина и глядеть не стал, а кобыле Киприановой враз место определил.

— Для кавалерии спина коротка, в обоз — по всем статьям проходит, а то и в выездных у какого-нибудь командира послужит.

Без кобылы на лесопилке делать нечего. Пришлось Киприану Ивановичу подряжаться на возку дров для пароходной пристани. До того, как ехать в отход, побывал у купца в Нелюдном. Отвез ему мед, в обмен взял круп, соли, малость постного масла.

Отвешивая ядрицу, купец подковырнул:

— Видать, от великого урожая крупу берешь?

Киприан Иванович в ответ ни слова, а купец опять свое:

— Может, скостить доплату, что с тебя причитается? Насчет сына не надумал еще?

— Получай сполна деньгами, на том делу конец!—сухо ответил Киприан Иванович.

Пропал бы Ванька зимой с тоски, если бы не уроки у Петра Федоровича: часа по четыре, а то и больше проводит он в дьяконовском доме. Иной раз на гостевание напрашивается.

— Можно, я еще у вас посижу, послушаю?

Получив разрешение, сидит и слушает. Редко-редко, когда уже невтерпеж от любопытства станет, какой-нибудь вопрос задаст. Разговоры часто идут о войне. Моряк на стене карту повесил и в нее булавок с флажками натыкал. Когда доходят до Горелого погоста газеты (приходят они редко и не все), флажки передвигаются. Ванька в этих передвижениях разбирается. Придя утром, сразу — к карте.

— Ух ты, наши-то как рванули! Перемышль взяли!

Ваньке немного странно, что о победах в дьяконовском доме говорят спокойно, как будто ничего не произошло.

— Это хорошо, что мы победили?—допытывается он у Петра Федоровича.

Петр Федорович гладит его по голове и отвечает:

— Большой крови, Иванушка, все эти победы стоят. Лучше, если бы

совсем войны не было.

Но Ванька неожиданно обнаруживает свирепую воинственность.

— Ну и что из того, что кровь? Вовсе не воевать неинтересно.

— Дурачок ты еще, Иванушка! — отвечает Петр Федорович.— Успокойся, придется еще и тебе воевать, только в другой войне. На ту войну вместе пойдем, ладно?

— Ладно! А вы, Петр Федорович, хорошо воевать умеете?

— Не очень... Но ничего, когда надо будет, выучусь

Во всем верит Ванька Петру Федоровичу, но по военным вопросам у него собственное мнение. Ему даже кажется, что учитель их недооценивает.

— Вы бы загодя стрелять научились, Петр Федорович,— советует он.

При встречах с Пашкой Ваньке ничто не мешает развивать свой взгляд на военные события.

— Наши опять победили! — сообщает он Пашке.— Крепость Перемышль взяли, тысячу пушек захватили, а

ружей столько, что до конца досчитать нельзя! Неделю считают и все со счета сбиваются. Убитых, ух ты, сколько! Какие не сдались, всех пбили... И правильно: если не воевать, зачем войско держать?

Но скоро флажки на карте Моряка замерли на месте, а кое-где попятились назад. Смотреть на них стало скучно и обидно.

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

ЕРПАН ВОЗВРАЩАЕТСЯ ЗЛЫМ. ВАНЬКА ИЩЕТ И НАХОДИТ НЕИЗВЕСТНОЕ

1.

Не к рождеству, а только к весне вернулся из отхода Киприан Иванович, на этот раз без подарков. А вскоре, уже по полой обской воде, нежданно-негаданно приплыл Григорий Ерпан. Увидев худого человека в старой шинели, в разбитых сапогах, с черной повязкой через лицо, Ванька сначала не узнал франтоватого охотника. Только когда тот окликнул, угадал по голосу.

— Дядь Гриша!

Обрадовался, кинулся навстречу и, не добежав, в испуге остановился. Из-под черной повязки, закрывавшей левый глаз Ерпана, выглядывал страшный красный рубец. Кисть левой руки была обмотана тряпьем. И еще заметил: на груди Ерпана, прямо на шинели, болтались на полосатых ленточках два георгиевских креста,— все, что привез он взамен

потерянного глаза и пальцев.



Впрочем, как оказалось потом,— все, да не все... Привез он еще невеселую весть о смерти земляка-однополчанина и о том, что Василий

Изотов попал в плен к немцам.

Когда Васильева жена от такой новости в слезы ударилась, Ерпан утешил ее странными, на взгляд Ваньки, словами:

— Зря реवेशь, Дашуха!.. Радоваться надо, а не реветь. Хотя и худо в плену, а все не на фронте: гляди, еще живой и невредимый явится.

То ли по недогляду, то ли потому, что Ванька успел всех к себе приучить, но вечером, когда Ерпан зашел а дьяконовский дом, Ваньку гнать не стали. Как сел он на пол у ног неожиданного гостя, так и просидел весь вечер.

Думалось Ваньке, что Григорий станет рассказывать о победах, о том, за что ему кресты дали. Но случилось иное — речь сразу зашла о суровой солдатской жизни, о фронтовой бестолочи.

— Полагали, что наш полк в тылу, в запасе останется,— рассказывал Ерпан.

— Будем, мол, новобранцев обучать, маршевые батальоны готовить. Офицеры, какие малость почестнее были, уехали на фронт добровольцами, и остались в полку, почитай, одни шкуры, пьяницы и воры... Нам, кто из запаса пришел, еще легче было, а новобранцам совсем туго пришлось: вместо учения — одно измывательство. Только у господ офицеров просчет получился: месяца не простояли — пришел приказ весь полк в эшелоны грузить... Тут прижали командиры хвосты, сразу повежливели, только поздно. Главный мордобоец — командир второй роты штабс-капитан Запольский — как только на фронт приехали, в первый же день в затылок пулю получил.

— Своя, значит, зацепила! — догадался Моряк.

— Это уж понимай как хочешь... Начали было следствие и тут же прикончили: признали, что немецкая рикошетом угодила... После такого рикошета половина офицеров захворала и в госпиталь запросилась... Одну беду избыли, другая настигла. Полк стрелковый, а стрелять нечем. Нашему брату, лучшим стрелкам, паек в две обоймы установили, а рядовым — когда одну, а когда и вовсе ничего. И артиллерия молчит, снарядов не имеет. Немец на нас прет, а мы его голым задом пугаем...

И раньше Ерпан не стеснялся в выборе выражений, теперь же, говоря о войне, он так и сыпал крепкими злыми словами. Рассказ о ранении Ерпана Ваньку разочаровал окончательно. Он загодя нарисовал себе картину кровавого рукопашного боя, в котором Ерпан отбивался от сотни налетевших на него вооруженных саблями всадников. На самом деле произошло это куда проще и страшнее: рота торопливо и беспорядочно

отступала. Вместе с другими бежал и Ерпан, укрываясь за каждым кустом, в каждой ямке. В одной такой ямке и настиг его близкий разрыв немецкого «чемодана». Очнулся он только в санитарном поезде...

Ваньке страшно хотелось поподробнее расспросить Ерпана о таких страшных видах оружия, как «рикошет» и «чемодан», но он не стал лишний раз напоминать о себе.

Дальше рассказ пошел о петербургском госпитале.

— Как георгиевского кавалера, повезли меня в Петербург и положили в великокняжеский госпиталь,— продолжал рассказывать Ерпан.— Потом-то я узнал, что награды здесь ни при чем были: просто в этот госпиталь таких клали, у которых ранения выше пояса пришлись, чтобы княгиням и графиням не зазорно было на раны глядеть.

В великокняжеском госпитале и стряслась с Григорием Ерпаном беда похлеще и поопаснее фронтовой. На другой день после перенесенной им операции явились навестить «солдатиков» высокопоставленные дамы-патронессы. Пришли в палату в сопровождении целой свиты врачей и сестер. Всеми властно командовала тучная пожилая женщина, которую все окружающие именовали «ее высочеством».

— Пожалуйте, ваше высочество, сюда... Вот это георгиевский кавалер, храбрый сибирский стрелок Ерпанов...

Должно быть, упоминание о Сибири заинтересовало великую княгиню, и она сочла нужным задать Ерпану вопрос: не знаком ли он с Григорием Ефимовичем Новых.

Как ни мучительна была боль, но Ерпан понял вопрос своей собеседницы и ответил по существу, что с такой сволочью, как Гришка Распутин, дел никогда не имел.

Чтобы поскорее закончить неудачно начавшуюся беседу, великая княгиня торопливо вручила Ерпану новенький рубль и какие-то иконки — не то Иоанна Кронштадтского, не то Иоанна Тобольского.

— Возьми, храбрый солдатик, эти святыни и вечно помни о тех, кто на них изображен. Носи в сердце своем образ твоего доброго царя, и он не оставит тебя...

Тут-то Ерпан и рассердился по-настоящему: рубль и образки со звоном полетели на пол, угодив рикошетом в каких-то сиятельных особ. Мало того, свой поступок Ерпан сопровождал несколькими выражениями, из которых самым великосветским было традиционное сибирское пожелание язвы. Высочество, сиятельства и светлости с визгом вылетели из палаты.



Даже через полгода после происшествия Ерпан рассказывал о нем с неостывшей злобой.

Наступила пауза. Первым на рассказ отозвался Моряк.

— Ну и ну!.. Оскорбление величества да кощунство на придачу. Статьи двести сорок первая и восемьдесят седьмая. Как же ты, Гриша, уцелел? По военному времени, знаешь, что за это?

— Я в ту пору того и добивался,— хмуро ответил Ерпан.— Оно, может быть, по-моему и получилось бы, да уж очень сильно я загнул. Потом еще один врач вмешался. Только дамы убежали, он — ко мне: «Что ты, такой-сякой, наделал?» А сам, между прочим, меня за руку берет, вроде пульс щупает, и по руке гладит. И тихонько так, вроде про себя, говорит: «Хочешь спастись, валяй дурака дальше». Дурака я, правда, валять не стал, но он все-таки свое дело сделал: привел других врачей, и объявили меня вроде временно сумасшедшим. Оно этак и начальство устраивало: дело-то с оскорблением величества никому выгоды не сулило... Так я и отделался. Из госпиталя меня в нервный перевели.

Даже Петр Федорович, выслушав рассказ Ерпана до конца, нахмурился и покачал головой.

— Отчаянный ты человек, Григорий! А впрочем, врач прав. В то время ты, конечно, был в невменяемом состоянии.

— Было от чего,— хмуро ответил Ерпан.— Оно и сейчас... Что я, охотник, без глаза, без руки делать стану?

— Много еще сделаешь,— спокойно и уверенно сказал Петр Федорович.

Поговорили о том, что было, заговорили о том, что будет. Тут-то и вспомнили о Ваньке.

— Ну-ка, Иванушка, беги до дома. Уже поздно.

2.

У Петра Федоровича один-единственный настоящий ученик. Как ни плакал Пашка Свистун, уговаривая отца и деда пустить его в дьяконовский дом, ничего не вышло. Отец и дед не очень возражали, но старая ведьма Свисту-ниха уперлась.

— И не думай! Если узнаю, что ты хоть раз в дьяконовском доме был, проклянусь! На всех анафему напущу: и на тебя и на потатчиков.

И настояла на своем, глупая. Прошло мимо Пашки дававшееся ему в руки счастье. Правда, Ванька по дружбе выучил его писать буквы и даже кое-как считать, но дальше этого дело не пошло.

Один настоящий ученик у Петра Федоровича... Считаться с

программой, рассчитанной на класс, ему не приходится. Усвоит Ванька какую-нибудь премудрость — можно идти дальше. Петр Федорович премудростей не жалеет, а Ванькина голова перегрузки не боится. С ходу, за какие-нибудь три дня, он осваивает решение уравнения с одним неизвестным. То, что самая обычная буква «х» беззастенчиво вторглась в стройные колонки цифр, превратившись в некоторый загадочный «икс», обескуражило его только на несколько минут. Ведь всякому понятно, что если, скажем, из икса вычесть три и останется пять, то икс не что иное, как самая обыкновенная двухголовая восьмерка! Ванька сейчас же осваивается с мыслью, что икс может быть большим или маленьким, что он может быть умножаемым, вычитаемым, делимым или делителем... В конце концов Ваньке всегда удастся вынести его в левую сторону уравнения и, прижав таким образом к стенке, узнать, чем он на этот раз при-творился.

Само выражение «найти неизвестное» Ваньке очень нравится, и он впадает даже в некоторый спортивно-математический азарт.

— Придумайте, Петр Федорович, еще задачу, чтобы поинтереснее...

И Петр Федорович придумывает. А через три-четыре месяца Ванька узнает, что кроме Икса существуют не менее интересные и загадочные особы в лице Игрека и Зета. Еще через несколько месяцев оказывается, что существует латинский алфавит с буквами такими же умными, как цифры. И не знает Ванька, что играет он уже не с девчон-кой — царевной Арифметикой, а с ее старшей сестрицей, довольно-таки сварливой особой — принцессой Алгеброй!..

Так нравится Ваньке выражение «найти неизвестное», что он даже изъявляет вслух опасение, что запас неизвест-ных в один прекрасный день может кончиться.

— Что мы будем делать, Петр Федорович, когда иксов, игреков и зетов не останется?

Такой вопрос приводит Петра Федоровича в веселое настроение: он смеется.

— Это и впрямь страшно было бы! Только успокойся, Иванушка, неизвестных хватит на всю твою жизнь... И во-обще на всех людей хватит...

— Ух ты, на всех?!—удивляется Ванька.— А ученые, которые все знают? Вы вон сами задачи выдумать можете, значит, наперед неизвестное знаете.

Петр Федорович на минутку становится серьезным он качает головой.

— Я знаю, Иванушка, много больше, чем ты, но всего знать не может никто. В будущем люди будут знать в миллион, может быть, в миллиард раз больше, чем мы с тобой.

По тону учителя Ванька понимает, что тот не шутит. На взгляд Ваньки, миллион — самое огромное из всех чисел. Получается, что тысячу лет учись, а умрешь дураком.

Петр Федорович с интересом следит за ходом Ванькиных мыслей.

— Если в миллион раз больше знать, то какую же для этого башку нужно?! — восклицает Ванька. — Ог миллиона неизвестных ее, как сопку, раздует.

— Успокойся, Ванюшка, в твою голову влезет очень много неизвестных...

И вот Ванька ходит по тайге, ищет неизвестные и... находит!

Хорошо было древним грекам творить свою мифологию. Их маленькая, уютная, теплая и красивая страна была заманчивой жилплощадью для богов всех рангов, всех профессий. Правда, на Олимпе между богами (главным образом между богинями), очевидно, на почве тесноты возникали кое-какие бытовые неприятности, но о перемене места жительства никто из них не помышлял.

В сибирских горных хребтах Олимп и Парнас выглядели бы рядовыми сопками и сочли бы за немалое для себя счастье стать пристанищем одинокого и дикого горного духа. Это и понятно. Даже вообразить невозможно, какая бестолочь и неразбериха получились бы, если бы сибиряки по примеру эллинов заселили свои уголья богами из скромного расчета: по одной нимфе на ручеек, по одной дриаде на елочку, осинку или березку.

По мнению автора, Сибирь избежала нашествия богов из-за климата. Перевалив через Балканы, а затем через Карпаты, веселые и любвеобильные нимфы посинели от холода и утратили темперамент, превратившись в унылых русалок, а где-то на водоразделах Северной Двины и Камы вымерзли окончательно. Близкие родственники проказников фавнов — лешие — на этом пути поскучнели и приобрели счастливую способность впадать в зимнюю спячку. И правильно сделали: холодно, да и харч не тот. Клюква — не виноград, еловая шишка — не апельсин.

Как бы то ни было, добравшись до мыса Дежнева, русские землепроходцы никаких богов не обнаружили. Причиной тому было их повседневное общение с природой. Ее непонятные и подчас страшные силы при близком знакомстве теряли облик божеств и превращались в персонажи сказок.

Только диву даешься, сколько бесстрашия, любви к суровой природе, поэтического таланта и добродушного юмора потребовалось народу, чтобы, скажем, такое свирепое явление природы, как трескучий мороз, превратить

в добродушного старичка, весело попрыгивающего с елочки на елочку. И этому-то олицетворению лютой зимы народ не побоялся доверить заботу о бедных падчерицах, а заодно и поручить ему наказание избалованных, дурно воспитанных девиц! Не безжизненная ли белизна свежего снега породила пусть несколько скорбный, но бесконечно милый по нежности и целомудренности образ девушки-снегурки? Нет, творить так мог только народ, бесконечно любящий свою природу!

Но что ведомо автору, того Ванька не ведал. Бродя по дикой тайге, окружавшей Горелый погост, он неизменно находил немало интересного, но никаких чудес не встречал.

Автору иногда приходилось беседовать с людьми, утверждавшими, что тайга однообразна и скучна. Чаще всего такой приговор изрекали уста гастролеров-туристов, избалованных «красивыми» пейзажами, или людей, от природы лишенных любознательности. Тайга кажется им скучной потому, что скучны они сами. Спорить с такими людьми бесполезно и нудно.

Но Ванька понимал толк в тайге. Чуть ли не на каждом шагу он умел разыскивать в ней такое, чего иной никогда не увидел бы: то свежие звериные следы, то уродливое, изогнутое дугой дерево, то какую-нибудь дуплистую березу, из дупла которой растет молоденькая черемуха, то груздь, выросший на другом грузде. Ванька все разыщет, все разглядит, всему подивится.

— Ух ты, вот оно какое-эдакое!

Вышел как-то на берег неведомой речушки и, натурально, по мальчишеской манере полез к воде. Дело было после дождя, глина на месте свежего оползня намокла и осклизла. Только ступил на нее и сразу поехал вниз. Лишь в саженьях полутора сумел зацепиться за что-то твердое, очень похожее на толстый бурый корень. Схватился за него, нашел точку опоры и думал уже дальше лезть, да уж очень заинтересовал его схваченный им корень. Он оказался на диво холодным и твердым. Стукнул по нему палкой — словно о камень звякнуло. Попробовал выдернуть корень, не тут-то было... И раскачивал его, и всем телом на него нависал, а тот не ломается, не гнется, не выворачивается.

Пока возился, оперся ногой на другой корень, тот сразу подался: качнул его Ванька — опрокинулся от навалившейся на него тяжести. Корень оказался не корнем, а потемневшей от времени костью. Но какой! Если стоймя поставить, была бы та кость Ваньке до плеча.

Иной на его месте струхнул бы и убежал от этакой находки, но Ванька всю ее осмотрел, потом, обшарив берег, нашел еще несколько костей. Одну,

самую маленькую, в карман засунул.

Когда бежал домой, ободрал буреломом и валежником все ноги. Не застав отца, Ванька кинулся в дьяконовский дом. Еще через окно увидел, что там сидит Ерпан, поэтому вошел с осторожной. Петр Федорович сразу по его глазам понял, что пришла очередная новость.

— Ну, рассказывай, рассказывай, какое нынче неизвестное нашел...

— Ух ты, какое!.. Мослы нашел. Вроде бы бычьи, только еще больше... Один в стол длиной... Штук десять мослов! И еще есть такой, что торчит на два аршина из земли, а вывернуть его нельзя... И вот это...

То, что Ванька достал из оттянутого кармана, заинтересовало всех, даже знатока тайги Ерпана. Позже других тяжелый костяной ком перешел в руки Петра Федоровича.

— Что это такое, Петр Федорович?

— Это, Иванушка, очень интересное неизвестное...

— Ага, даже вы не знаете!

— Не знаю... Но, по-моему, это зуб очень большого ископаемого животного.

Самому Ерпану никогда не доводилось делать таких находок, но от охотников-остяков, обитателей дальних юрт он слышал об огромных, иной раз четырехаршинных «рогах» таинственных подземных зверей, неожиданно появлявшихся из-под земли по размытым берегам рек. Были те рога крепки, податливы и красивы в обработке, а потому и ценились дорого. Еще дороже платили за такие рога в городе, где называли их слоновой костью.

— Место ты хорошо запомнил?—спросил Григорий Ваньку.

Ванька даже обиделся. Место, где он раз побывал, он мог найти в любое время дня и ночи, в любую погоду.

На этот раз в тайгу по встречному Ванькиному семиверстному следу пошли вчетвером: Ерпан, Дружинник,

Моряк, Петр Федорович. И, нужно сказать, ходили не зря. После двухчасовой работы им впятером (самого Ваньку со счетов не скинешь!) удалось подкопать, затем раскатать и, наконец, вывернуть из-под толстого слоя глины четырехаршинный, загнутый исполинским крючком бивень мамонта. Сумели разыскать и другой, но тот оказался меньше.

Мало заработал за зиму Киприан Иванович, но богатая Ванькина находка его не обрадовала. Привык он в своей жизни надеяться только на труд и почитал всякую случайную удачу делом ненадежным, даже сомнительным. Может быть, поэтому не стал разыскивать тароватых покупателей, а продал бивни за сходную цену одному искусному косторезу

из дальней юрты.

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

ПЕТР ФЕДОРОВИЧ УЧИТСЯ ВОЕВАТЬ. КАК НУЖНО ПИСАТЬ СОЧИНЕНИЯ? ВАНЬКИНО ГОРЕ

1.

Проходит в учебе и труде еще одна зима. По неизменному порядку шествует за ней кудесница весна. Идет по сибирскому раздолью и к чему ни притронется, все оживает, зацветает новыми красками. Во всю ширь до самого горизонта разлилась великая Обь, забушевала под крутым берегом мутная Негожа. Потянулись по поднебесью караваны вольных перелетных птиц.

Треплет ласковый весенний ветер русые Ванькины вихры, гладит седые виски Петра Федоровича. Оба стоят и молчат, каждый думает о своем. Ванька с грустью вспоминает о погибшем планомоне, Петр Федорович мечтает о воль-ном большом полете. Эх, если бы крылья!

Дошла до Горелого погоста тайная весть о том, что приспела большевикам настоящая работа.

Из-за границы, из самой Швейцарии, спрашивали, нельзя ли Петру Федоровичу организовать побег? Легко сказать, трудно сделать! В Горелом погосте и по всей огромной Нелюдинской волости каждый человек на счету, дороги для побега другой, кроме Оби, нет, на Оби же, что ни пристань.— жандармская ловушка.

Ванька по живости характера не выдерживает и заговаривает первый.

— Петр Федорович, что ежели нам такой большой планомон склеить, чтобы мне с вами вместе полететь можно было?

Прошлогоднее Ванькино озорство давно прощено, и упоминание о планомоне вызывает на лице Петра Федоровича улыбку ласковую и в то же время чуть-чуть грустную.

— Планомон, Иванушка, веревкой к земле привязан, на нем далеко не улетишь...

Ванька сам это понимает. С гористого берега на десятки верст видна неоглядная лесная ширь. Ух ты, сколько веревки надобно, чтобы улететь из Горелого погоста!

А тут еще, словно в насмешку над бескрылыми, новый косяк гусей пролетел. Ваньке он напомнил про охоту, а от охоты недалеко до мысли о войне: как-никак и тут и там стрелять приходится.

— А мы с вами, Петр Федорович, скоро на войну пойдем? Помните,

вы обещали?

Должно быть, мысли обоих сходятся. Петр Федорович быстро и уверенно отвечает:

— Теперь скоро, Иванушка.

— Тогда вам пора начинать учиться воевать... Потом, пожалуй, поздно будет.

Ничего не ответил на это Петр Федорович. Только по обыкновению Ваньку по голове погладил.

Как ни удивительно это покажется, но Ванькин совет не пропал даром: через несколько дней Петр Федорович и впрямь начал учиться воевать. Так, по крайней мере, истолковал дело сам Ванька, увидев учителя в высоких сапогах, с берданкой за плечами, идущим утром в тайгу в обществе Ерпана.

Увы, попытка присоединиться к ним не удалась. Даже обещание идти за сто сажень сзади не умило Ерпана, сурово сказавшего:— Охота лишнего глаз не любит.

И ушли охотники, должно быть, очень далеко, потому что как ни настаивал Ванька уши, а не услышал ни одного выстрела.

Часов пять подстерегал Ванька их возвращение. Пришли они, по Ванькиному разумению, с добычей не удивительной: Ерпан принес полдюжины клокунов, Петр Федорович — единственного, зато очень красивого крякового селезня. Ванька осмотрел его и оценил выстрел: был он сделан влет, причем дробь прошила голову и шею. Для первого раза это был отличный выстрел, и у Ваньки сорвался с языка довольно ехидный вопрос:— Сами его подстрелили, Петр Федорович?

Петр Федорович только улыбнулся. За него ответил Ерпан:

— Так и застрелил... Потому что никто под рукой не мешался.

Такой ответ содержал в себе недвусмысленный намек на то, что Ваньке и впредь не придется участвовать в охоте.

Хотя охота и отнимала у Петра Федоровича много времени, Ванькина учеба шла полным ходом, без каникул, без праздничных перерывов. Что может показаться странным, Киприан Иванович, в иное время всячески старавшийся приучать сына к крестьянской работе, стал сам гнать его в дьяконовский дом.

— Шел бы к Петру Федоровичу. Сочинение, какое он тебе заказывал, не написал еще? Намедни Петр Федорович говорил, что ты ленишься, больно помалу пишешь.

В словах Киприана Ивановича была доля правды. Ванька писал сочинения охотно, бывали они содержательны и выразительны, но коротки до предела. Вот как описывал он, например, свой вчерашний день:

«Утром наелся варенца и нашел X и У... X = 2 руб. 34 коп., У = 2 руб. 80 коп. Потом мне попало за то, что я к Шайтану в конуру полез. Маманя говорит, что Шайтан поганый. А когда я спросил, почему она сама зимой собачьи рукавицы носит, она слушать не стала, а ухватила меня за левое ухо. Потом читал для Петра Федоровича книгу про то, о чем говорят камни. Потом ходил в тайгу.

Видел желну, пьяного Микентия и бурундука. Потом пошел к Петру Федоровичу, и он пожурил меня за то, что мало ятей ставлю. Потом квадраты мерили. В дьяконовском доме оказалось площади семь квадратных сажений и еще четыре аршина, тоже квадратных, да еще под печками полторы квадратных сажени».

По поводу этого сочинения у Ваньки возник с Петром Федоровичем некий диспут о литературном стиле. Петр Федорович утверждал, что Ванька хоть и написал о многом, но уж больно коротко и не выявил своего отношения к фактам. На это Ванька отвечал, что факты говорят сами за себя, а до предела лапидарная форма сочинения как нельзя более соответствует содержанию.

Конечно, объяснял это Ванька другими словами, но суть спора была именно такова.

Пока Ванька учился, весна своим чередом шла.... В том, тысяча девятьсот шестнадцатом, году черемуха, багульник и шиповник вокруг Горелого погоста цвели особенно буйно. Хорошими целителями оказались весна и родной таежный воздух! Удалось им то, с чем не справились столичные лекари: зажила изуродованная рука у Ерпана. Приспособился понемногу Ерпан ружье ею поддерживать и даже при случае топором орудовать. А глаз... И одним глазом умел Ерпан рассмотреть то, что десять других двадцатью здоровыми не заметили бы!

Большие успехи начал делать Петр Федорович с помощью опытного охотника. Сначала погостовцы посмеивались над ним, но когда он стал возвращаться домой ежедневно с тремя, а то и пятью утками, все поняли, что стало заправским охотником больше.

Было под Горелым погостом немало отменных охотничьих угодий — пойменных и лесных озер и болот, где всякая птица водилась в изобилии. Эти места были известны всем, ко вот о Черных озерах вспоминали редко, ходить же туда вовсе не ходили. Те, кому довелось там волей или неволей побывать один раз, на второй поход не отваживались. Дорога к Черным озерам пролежала малопроезжимой крепью болотистой тайги, дальше же начиналась сплошная топь. Низкие берега озер и их острова поросли осокой и мелким осинником и под тяжестью человека ходили ходуном. При

каждом шаге нога глубоко вдавливалась в серый безжизненный мох, и из-под земли сейчас же выступала холодная ржавая жижа. То тут, то там чернели «окна». Вода в них была такая темная и спокойная, будто чугуналит. На окнах— ни ряби, ни рыбьего плеска. Только нет-нет да пойдут со дна озера крупные булькающие пузыри. Кто сидит на дне и пускает их — про то никому не ведомо.

Обитатели погоста, от старого до малого ходившие по окрестной тайге без всякого страха, Черные озера держали под запретом: были в истории селения случаи, когда, соблазненные обилием дичи, охотники не возвращались оттуда совсем. Их следы неизменно заводили в страшную трясиину. Вооруженные длинными шестами и веревками, спасатели возвращались с поисков перепачканными с головы до ног и, что с сибиряками бывает редко, испуганными. Вслух о том не говорили, но каждый понимал, что смерть пропавших была страшна и мучительна.

Сам Ерпан после нескольких рискованных экспедиций перестал в те места заглядывать. Только зимой, когда Черные озера надежно сковывались многоградусными морозами, пролегали здесь следы его лыж.

В «нечистого духа», которым пугали бабки и матери не в меру предприимчивых сыновей и внуков, Ерпан, конечно, не верил, но считал Черные озера местом для весенней охоты неподходящим. Однажды, повстречав Ваньку в непосредственной близости от одного из озер, он не только прогнал его домой, по-свойски угостив шлепком, но еще и пригрозил рассказать (что на Ерпана вовсе не походило) о его проделке Киприану Ивановичу.

Послушался ли Ванька Ерпана — еще вопрос... Но нашелся и другой нарушитель запрета, постарше... Петр Федорович, вначале ходивший на охоту в сопровождении Ерпана, под конец стал предпринимать самостоятельные охотничьи экспедиции. Опасные тайны лесных болот мало известны городским жителям, и не мудрено, что оказался он на Черных озерах...

Не сразу узнали на Горелом погосте страшную новость.

Первым обеспокоились Обитатели дьяконовского дома и Ванька. Пришел он на урок, а Петра Федоровича все нет и нет... Соскучившись, Ванька весь погост кругом обежал, думая его встретить. Но тщетно. Уже солнце сильно склонилось, когда стали собираться ездившие на поля погостовские мужики. Едва ли не позже других вернулся Киприан Иванович и застал толки: ушел человек на охоту, обещал к полудню вернуться, и вот день на исходе, а нет его... Пошли Ерпана искать. Ерпан в тот день никуда не уходил, чинил избу вдовы своего друга однополчанина.

Пришел как был на дворе — в расстегнутой рубахе, без пояса.

Еще час ушел на допросы и расспросы. Оказалось, что последней видела Петра Федоровича Лушка Медвежья Смерть. Была она по своей манере немногословна.

— Видела Петра Федоровича?

— А то!

— Куда он шел?

— Мимо двора.

— Что в руках у него было?

— Мешок да ружье.

— В какую сторону он шел-то?

— Туда вон!

И показала пальцем на густой урман, за которым таились коварные Черные озера.

— Тут-то и началась настоящая тревога.

Давно смолкли глупые толки о колдовстве ссыльных.. Три года — срок достаточный, чтобы присмотреться к людям. Жизнь в дьяконовском доме хотя и шла особняком, была у всех на виду. Все знали, что ссыльные живут скудно, на самые малые деньги, да и те тратят больше на бумагу, газеты и книги. Хотя и спорили ссыльные друг с Другом, но худого никому не делали. Правда, нелюднинский поп говорил на проповеди, что они враги царя и бога, но столетний опыт выучил погостовских мужиков поповским словам большой веры не давать: многие склонялись к мысли, что за царя заступаться не стоит, а бог на то и бог, чтобы крушить врагов своими силами...

Если и осуждали, то одного Моряка — за курение. Но и этот порок особого негодования не вызывал. Ездя в отход, иные мужики в великой тайне от жен, матерей и особенно бабок сами баловались табачным дымком. Не дальше как полгода назад жена Порфирия Изотова при всем честном народе ходила топить в проруби найденный в кармане мужа кисет с махоркой. Публичное посрамление греха, к смущению начетчиков, обернулось общим весельем.

И уж очень памятен был случай с ночным звоном, когда совершившееся воочию чудо рассеялось, как дым, перед простым здравым смыслом. Только головы почесывали погостовцы, когда насмешники-соседи рассказывали про них веселую байку о том, как ходили они всем миром на кладбище промышлять сову-неясыть. Досадно слушать байку, но могло быть и хуже. От большого позора спас в ту ночь Горелый погост Петр Федорович! А мало ли он других хороших и полезных советов дал?

Одно только — что безбожник...

Но получилось так, что, хватившись Петра Федоровича, о его безбожии забыли. Двинулись к Черным озерам всем селом. Пришли туда к вечеру, когда воздух там гудел от комаров и мошкар. Хоть ночь стояла короткая, немало пришлось пожечь смолистых корней и сырых ветвей, чтобы хоть немножко оборониться от гнуса. Поутру взялись место обшаривать, но только часа через три напали на верный след. Завел этот след всех в такую топь, что под конец самые смелые не решились дальше идти. Что ни шаг, из-под земли вода бьет, остановишься на месте — засасывать начинает. Как ни цепляйся, ни барахтайся, — засосет трясина сначала по пояс, потом — по шею, и... поминай человека как звали. Останется на месте провала только глубокое черное окно.

Где можно было пройти, повсюду прошли. Обратно двинулись вечером, молчаливые, усталые, голодные.

2.

А Ванька? Попробовал он уйти следком за взрослыми, но не тут-то было. Уходя, Киприан Иванович дал Арине строгое приказание — не спускать с Ваньки глаз.

Может быть, наблюдательный читатель, пробегая страницы повести, уже заметил странное, почти невероятное обстоятельство: в каких бы переделках Ванька не бывал, он ни разу не плакал? Чего-чего только с Ванькой не случилось: и великую скуку молитвы терпел, и уши отмораживал, и конструкторские неудачи испытывал, и с поднебесья в болото шлепался, и на пресне ранен был, и березовой каши отведывал — и хоть бы одну слезинку выронил.

— Будто бы уж мальчишка за три года ни разу не заплакал? — недоверчиво спросит иной придира. — Этак ведь в жизни не бывает.

Если есть у такого скучного привереды дети, они-то уж наверняка в утешение ему плачут семь раз в неделю! Но не таких кровей Ванька, чтобы плакать. И не хныканью учил его Петр Федорович.

Мал еще Ванька, чтобы раздумывать над смыслом противного слова «смерть», но чтобы испытать большое горе, этого и не нужно. Достаточно понять, что близкий, любимый тобою человек исчез навсегда, что нигде, никогда ты не увидишь его лица, не услышишь его голоса. Даже мороз пробежал у Ваньки по спине, когда он дошел до этой мысли. До прихода отца он еще жил надеждой, но когда тот вернулся домой, он по одному его лицу понял все и даже спрашивать ни о чем не стал. Отвернулся лицом к стенке и... не заплакал, нет, а окаменел от глубокой тоски. Мать ужинать

позвала — Ванька не откликнулся. Отец подоспел, за плечо тронул.

— Ты, Иван, того... держись! Что случилось, то случилось. Уж не маленький, понимать должен...

А что понимать? То, что он, Ванька, никогда больше не увидит Петра Федоровича?

— Не трожь, тятя. Я думаю...

Не спал, не дремал Ванька, всю тоску тосковал и думу думал. И додумался до того, что пригрезилось ему, будто ходики на стене громче тикать стали. Песенка у них для Ваньки одна: «Вот и ладно», «Вот и ладно».

Еще рассвет не занимался, еще петухи по первому разу не пели, услышал Киприан Иванович, как дверная щеколда шевельнулась. Ничего в потемках не увидел, но сразу догадался.

— Чего это ты, Ванька?

— Выйти на двор хочу.

— Никуда я тебя не пущу.

— Тогда убегу.

С такой тоской, с такой решимостью это было сказано, что Киприан Иванович понял: тут уж никакой чересседельник, никакие розги не помогут. Поднялся, подошел к Ваньке.

— Сказывай, что надумал?

— Петра Федоровича искать пойду.

— Пустое. Всем погостом искали, да не нашли.

— Значит, плохо искали.

— Не дури, Ванька... Человека с того света не вернешь.

— А он вовсе не мертвый, а живой!

— Откуда тебе известно? — после некоторой паузы спросил Киприан Иванович.

— Известно!.. Часы так сказали.

В иное время Киприан Иванович рассердился бы на Ваньку за выдумку, но тут промолчал.

— Юрунды не выдумывай, ложись-ка спать.

По летнему времени Ванька спал на широкой скамье, застланной старым отцовским зипуном. Когда он улегся, отец сел у него в ногах.

— Ты эту блажь насчет Петра Федоровича из головы выкинь.

— Да я, тятя, знаю, что он живой!

— Заладил!.. Слушай-ка лучше, что я тебе расскажу...

Что заставило Киприана Ивановича пересказать слышанную в какой-то казарме или пароходном трюме сказку? Конечно, он хотел успокоить

Ваньку, но сама сказка, особенно после некоторых переделок, как нельзя больше подходила к случаю.

— Было это в нашем царстве после того, как царь юрьев день отменил. Жил в ту пору в муромских или еще каких лесах разбойник по имени Василий, по прозванию Голован. Был он разбойник не простой, а такой, что за бедных стоял. Грабил он царскую казну, воевод, купцов и бар и что нагребит — бедным раздавал. Если вотчину какую захватит, первым делом всех крестьян и холопов на волю отпустит... И стал этот Голован тогдашнему царю таким вредным человеком, как наш Петр Федорович теперешнему Николке.

Начав слушать сказку без всякого внимания, при упоминании знакомого имени Ванька насторожился. Киприан Иванович в свою очередь счел нужным сделать пояснение.

— Потому вреден, что народ Петра Федоровича, то есть не Петра Федоровича, а этого, значит, Василия Голована, полюбил за его доброту и справедливость. И затеял царь Василия Голована обязательно погубить... Наш-то Ни-колка Петра Федоровича сюда, в болото, на погибель прислал, а в то время такие дела проще делались: либо в тюрьме человека заморят, либо вовсе голову снимут.

Вот собрал царь целое войско и поймал Голована, только тот из тюрьмы бежал и снова за свое взялся. Поймали его по второму разу, заперли за десятью стенами, за сорока замками.

И скова Голован убежал... Рассердился царь и приказал во что бы то ни стало схватить Голована, замуровать его в каменном мешке и голодом уморить. Так и сделали. Только перед тем как каменный мешок кирпичами закладывать, сторожа Голована все-таки пожалели: дали ему чашку с водой из Оки-реки. А ему, Головану, только того и нужно было. Замуровали его сторожа и ушли, а он взял да в ту чашку с водой и окунулся. И вышел из воды уже не в каменном мешке, не в темнице, а на вольной волюшке, на самой Волге, возле города Макарьева. Река-то Ока, вишь, в Волгу впадает...

— И что же он делать стал? — поинтересовался Ванька.

— Опять за свое взялся — на царя войной пошел. Такие, как Голован или, скажем, Петр Федорович, своего мнения никогда не меняют.

Над сказкой стоило поразмыслить: если спасся Голован, не мог ли спастись и Петр Федорович?

— Выходит, тятя, что Голован колдуном был?

— Кто тебе сказал, что колдун? Ты сказку слышал, так понять должен. Я ж тебе сказывал, как дело было: сторожа его пожалели. А сторожа — тот же народ. Ежели человеку народ помогать возьмется, тот человек никогда

не погибнет. Разве только в честном бою... понял теперь?

Невдомек было Киприану Ивановичу, что такая концовка начисто лишала сказку ее сказочности. Но дело свое она сделала, задала Ванькиной голове работу. Тут еще ходики сказке помогли, своим «вот и ладно» Ваньку убаюкали.

3.

Ни на Горелом погосте, ни в самом Нелюдном не было телеграфа. Только с первым пароходом дошла весть до Нарыма. И пошли гудеть провода: неведомо как исчез без вести опасный царю человек большевик Сидоров Петр Федорович. Получили депешу в Томске, помчался вниз по Оби казенный пароход. Бежит и на всех пристанях переодетых сыщиков оставляет. Дальше вниз от Сургута взялась за досмотр тобольская полиция. На Горелый погост на двух взмыленных тройках прискакало начальство: жандармский ротмистр, следователь, исправник со стражниками. И поднялась кутерьма! Начали с допроса ссыльных — Дружинника и Моряка, но, видимо, веры их словам не дали и потянули человек двадцать погостовских мужиков. Даже Лушка Медвежья Смерть попала в свидетельницы!

Расследование дало немного. Погостовцы согласно утверждали, что никаких приготовлений к побегу Петра Федоровича не замечали. Один только начетчик Лаврентий заговорил о каких-то «тайных делах и помыслах», но когда выяснилось, что обвиняет он Петра Федоровича не в чем-либо, а в чернокнижии, ротмистр обозвал его дураком и послал ко всем чертям. Обыск дьяконовского дома не дал ничего: вещи Петра Федоровича были на своих местах.

Нашлись даже кое-какие его рукописи, из которых явствовало, что он и не думал отказываться от своих убеждений...

Оставалось только осмотреть место предполагаемой гибели. Проливные дожди, лившие без перерыва без малого трое суток, отнюдь не облегчили этого предприятия. Следователь, ротмистр и полицейские, сунувшись к Черным озерам, вернулись с полпути перепачканные и злые, причем оба начальника успели поссориться. Сорвали зло на исправнике, обвинив его в незнании местности и местных жителей. Тогда-то и появился на сцене Григорий Ерпан...

Пришел он к начальству не сразу, а по третьему приглашению, сославшись на болезнь и инвалидность. Впрочем, для такого случая побрился, обул сапоги с козырьками и нацепил георгиевские кресты. Держался он с начальством весьма почтительно, по всем правилам

воинского устава: козырял, щелкал каблуками, в полный голос отчеканивал: «Так точно!» или «Никак нет, ваше благородие!»

Представленные справки о ранении и контузии свидетельствовали, что он и впрямь не мог быть привлечен к участию в экспедиции в качестве понятого и проводника, поэтому переговоры свелись к торгу о денежном его, Ерпана, вознаграждении. Это было странно, тем более что Ерпан проявил доходящее почти до наглости упорство: запросив полсотни, он ничего не захотел скостить с этой суммы.

— Да понимаешь ли ты, скотина этакая, с кого деньги берешь? — кричал на него ротмистр. — С царя штаны снимаешь, сукин сын!

— Так точно, все понимаю, ваше высокородие! Но как я есть больной, от службы по чистой отставленный...

— Ты не деньги требовать должен, а за великую честь почитать, что тебя к государственному делу привлекают! Видано ли: полста рублей за пустое дело!

— Опасно, ваше высокоблагородие, потому, места такие... Как бы еще в ответе за вашу или господина следователя жизнь не быть.

— Гм... А ты нас води, чтобы опасности не было.

— Рад стараться, ваше высокоблагородие! Разве я не понимаю?.. Так уж вы по четвертному за себя и за его благородие...

— За следователя красненькой хватит!

Здесь следователь в свою очередь пробормотал что-то очень сердитое о непомерной дороговизне ротмистровских усов.

— Прошу не мешаться в порядок расходования сумм особого назначения! — отпарировал ротмистр и, обращаясь к Ерпану, загромыхал: — Сорок или лети к чертовой матери!



— Как изволите, ваше высокоблагородие!..— без запинки отвечал Ерман. — Только осмелюсь доложить, другого проводника не найдете, потому что я человек здешний, в тайге с ранних лет промышляю.

Смерив упряма сердитым взглядом с головы до ног и не заметив в нем и тени колебания, ротмистр уступил.

— Черт с тобой! Но если что случится, на осине повешу.

Два дня лазили по Черным озерам ротмистр, следователь и сопровождавшие их «нижние чины». Приходилось им и по пояс окунаться в воду, и проползать десятки сажен по студенистой, ходящей ходуном почве. Зато поход дал своя результаты. Если самого Петра Федоровича найти не удалось, были обнаружены несомненные доказательства его пребывания. На одном из крохотных островков следователь нашел фуражку и пиджак, очевидно, сброшенные Петром Федоровичем в момент спортивного азарта. Здесь же лежал мешок, испачканный утиной кровью, а неподалеку один из полицейских рассмотрел торчавший из воды ствол успевшей заржаветь берданки.

Стреляная гильза говорила о сделанном выстреле Но в какую сторону полетел заряд? И здесь произошло почти чудо: удалось найти убитую утку! Лежала она в добрых пятидесяти саженях от берданки на таком зыбком островке, что даже лесные хищники не рискнули до нее добраться, хотя не могли не чувствовать запаха десятидневного разложения. Достать ее удалось одному полицейскому, заплывшему с противоположного берега довольно широкого озера.

Стало ясно, что погибшего следовало искать где-то между брошенной берданкой и убитой дичью, но пройти это расстояние по прямой было немыслимо. Один из смельчаков дополз по принесенному хворосту до ближайшего окна и попробовал было запустить в него багор. Семиаршинный шест целиком ушел в воду только для того, чтобы быть выброшенным силой плавучести, причем державший его смельчак окунулся в воду и, пока его вытаскивали веревками, успел нахлебаться густой болотной тины.

Приходит конец всему, даже ведомственному рвению. Как ни были враждебно настроены друг к другу следователь и ротмистр, под укусами комаров и мошек они начали склоняться к единой мысли, что поиски до бесконечности продолжать нельзя.



Расковыряв убитую утку, следователь нашел две дробинки, такие же, какими были заряжены патроны, лежавшие в кармане найденного пиджака.

Почему-то это ничтожное само по себе обстоятельство показалось обоим очень важным и значительным.

— Пожалуй, можно считать доказанным, что утка была убита лицом, бросившим пиджак и мешок,— глубокомысленно сказал следователь.

— Такой вывод напрашивается!—согласился ротмистр.

— Поскольку утка лежала на совершенно недостижимом без помощи собаки месте...

— В такую чертову прорву ни одна порядочная собака не сунется! — перебил следователя ротмистр.

— Правильно! Поэтому можно почти с полной уверенностью утверждать, что охотник, попытавшись достать добычу, погиб.

— Только «почти с уверенностью»?

— Девятьсот девяносто девять шансов из тысячи.

— Полагаю, что даже больше, но...

— Нами сделано все, что было в наших силах. Кроме того, в заключении необходимо будет указать, что в прошлом в этих местах уже неоднократно бывали несчастные случаи, кончавшиеся безвозвратной гибелью людей.

Хотя следствие велось строго секретно, через полчаса после возвращения экспедиции селение уже знало, что произошло на Черных озерах. Смерть Петра Федоровича становилась фактом, установленным окончательно и бесповоротно.

Что касается героя дня — Ерпана, он только отмахивался от докучливых вопросов односельчан.

От одного Ваньки не сумел отмахнуться... То, что его бывший приятель помогал полиции в ее поисках да еще брал за это деньги, превратило Ерпана в глазах Ваньки если не в убийцу Петра Федоровича, то в прямого пособника убийства.

Поэтому Ванька долго избегал с ним встречи, когда же она все-таки произошла (случилось это на глухой и извилистой таежной тропинке), разговор между ними закончился немирно.

Настроенный на сравнительно веселый лад, Ерпан поступил по-свойски, надвинув Ванькин картуз ему на глаза, но в ответ на шутку сейчас же получил вовсе не шуточный удар кулаком в живот.

Кулаки же у Ваньки были хоть и небольшие, но такие крепкие и проворные, что даже пятнадцатилетние ребята остерегались его затрагивать.



— Тю, обалдел, что ли?—грубовато, впрочем, без всякой злобы, спросил Ерпан. Думал и еще что-то добавить, но промолчал, пораженный выражением Ванькиного лица, — столько в нем было презрения, ненависти и вдохновенного боевого задора.

— Да ты что, Ванька?

— Ударил и еще раз ударю! — пообещал Ванька.— А когда большим вырасту, я тебя за то, что ты помогал Петра Федоровича искать, вовсе убью!.. Из ружья застрелю, рикошетом хвачу да еще чемоданом пристукну... Понятно?..

Теперь только Ерпан догадался, в чем дело.

— погоди!..

— И говорить с тобой не стану!

И здесь Ванька сказал по адресу Ерпана такое, что повторить нельзя: что ни слово — незамолимый смертный грех.

Сказал и, даже не оглянувшись, пошел прочь.

Посмел бы кто-нибудь другой изругать так Ерпана! Но с Ванькой он связываться не стал. Только головой покачал и задумчиво зашагал своим путем.

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ КОГДА СМЕЕТСЯ ТАЙГА. ВАНЬКА, НАВЕРНОЕ, СТАНЕТ СТАТИСТИКОМ

1.

В пору сенокоса Горелый погост безлюден. Все уехали на луга, даже грудных детей забрали. Сторожат избы две полуслепые старухи и три глухих, тяжелых на ноги старика.

Ванька первый год работает на правах настоящего мужика. Он и косы отбивает, и точит, и сам косит. Хоть не широк его ряд, но в работе не отстает от матери. Косить много надо: отец иной раз на целый день уезжает на пасеку, где что-то не ладится.

К концу бесконечно длинного дня Ванька сильно устает. И это к лучшему. Лишь во сне он забывает о своем горе. Знает уже Ванька: бездонное окно у Черного озера — не чашка с волшебной водой, и только в сказках оживают мертвые...

Пока косить нужно было, все еще ничего шло. Но потом ведренные дни сменились долгим ненастьем, пришлось дома отсиживаться. С ребятами играть негде, да и неохота Ваньке играть. В дьяконовском доме, куда он иногда заглядывает, кажется неуютно, тоскливо, даже страшно...

Листает Ванька свои тетради и везде и всюду находит пометки, сделанные Петром Федоровичем. Хотя при желании сам Ванька умеет писать красиво, но так, как писал Петр Федорович, никто никогда не напишет!

У Ваньки за день по всяким поводам сотня вопросов накапливается, а кто на них ответит? Верно, отец, мать. Дружинник, Моряк всегда его выслушивают и кое-какие ответы дают, но никто не умеет так интересно обо всем рассказать, как делал это Петр Федорович.

Что такое квадрат, Ваньке Петр Федорович растолковал и пообещал, что скоро куб объяснит. И вот не успел! Вместе с Петром Федоровичем ушла от Ваньки на дно Черного озера сокровенная тайча третьего измерения.

Может быть, легче стало бы Ваньке, если бы он заплакать мог, но он не плачет. Вместо него плачут серые облака, придавившие к земле Горелый погост. Текут по стеклам окон их скорбные слезы.

Приходит откуда-то отец. Выражение его лица хмурое, задумчивое.

— Соберика-ка, Арина, припас, на пасеку поехать надобно.

В другое время Ванька удивился бы, но теперь ему все безразлично, ничто его не интересует, не удивляет, не волнует. За него удивляется Арина.

— Чего, Киприан Иванович, на пасеке по такому дождю делать?

— Значит, есть дело...

Не в пример другим домам живут Перекрестовы, душа в душу, но... муж в доме всегда голова. Если говорит «нужно», значит, нужно.

— И Ваньку снаряди, его с собой возьму. Давай зипуны. Да веретья, какие есть, собери...

— Остудишь еще парня, — решается возразить Арина.

— Небось не сахарный, ничего ему не сделается! В избе сидеть и скучать — скорее хворь найдет.

Спорить с Киприаном Ивановичем Арина не решается. Он грузит на воз тяжелый мешок с припасами. Ванька прячется в сене под веретья.

— Но!..

Хоть и стар бурый мерин, но на обильных летних кормах работает в охотку. Да и Киприан Иванович делает ему облегчение: нет-нет и слезет с телеги, чтобы соскоблить кнутовищем навернувшуюся на колеса вязкую дорожную грязь.

Из-под веретьев Ванька не видит, куда они едут. Только когда колеса начинают плясать по горбатым корням деревьев, он приподнимается и выглядывает. Выбранная отцом дорога вовсе не похожа на дорогу, ведущую к пасеке. Больше всего она напоминает малоезженный проселок, ведущий к дальним юртам.

— Куда, тятя, едем?

— Куда надо, туда и едем... Но!.. — отвечает Киприан Иванович.

И Киприан Иванович не был настроен для разговора, и Ванька на беседу с ним не навязывался. Проехали целых десять верст, а может быть, того больше, прежде чем Киприан Иванович остановил мерина. Сошел с телеги, зашагал по мокрой траве, разглядывая ближние деревья.

«Отметку какую-то ищет!» — догадался Ванька.

Так оно и было. Проехав еще версты полторы, Киприан Иванович уверенно повернул телегу на маленькую полянку, заблудившуюся в частом осиннике. Телега, кренясь то на одну, то на другую сторону, запрыгала. Затрещали, затрепыхались под ободьями колес валежник и молодые

деревца.

Поездка протекала так необычно, что Ванька наконец заинтересовался. Заехать на телеге в глубь тайги, конечно, было немыслимо: путь закончился в каких-нибудь двадцати саженьях от дороги.

— Слезай, теперь приехали! — скомандовал Киприан Иванович.



На вылезшего из укрытия Ваньку сразу посыпались с листьев крупные и частые капли, но Киприан Иванович не обращал на дождь внимания. Выйдя на дорогу, он заровнял отпечаток колес свернувшей в сторону телеги. Даже помятую и испачканную траву оправил и почистил сорванной веткой. Потом приказал Ваньке:

— Глянь получше, видать с дороги телегу или нет?

Даже сам Ерпан не разглядел бы заехавшей в лес повозки!

— Теперь, значит, распрячь надо... Телегу здесь оставим, бурого на поводу поведем.

— Куда, тять, мы приехали-то?

— Куда? Когда на место придем, тогда узнаешь.

Было в голосе Киприана Ивановича что-то такое, что заставило Ванькино сердце забиться в тревожном волнении.

— Тять... Ну, скажи-и...

— А ты никому не скажешь, где мы были?

— Вот крест святой!..

Никогда в жизни не крестился Ванька с таким вдохновенным усердием, как в этот раз.

— Рукой зря не маши, дело не шуточное: если про это кто узнает, большая беда будет.

— Про что «про это»?

— Про это самое, куда мы приехали.

— А куда?

— Не лотоши, а слушай. Помнишь, я тебе сказку про Голована рассказывал?

— Помню.

— Как Голован спасся?

— Все помню.

— Ну, мы и приехали в гости...

— К Головану?.. Или...

Киприан Иванович не дал Ваньке времени для догадки.

— Про Голована только сказка сложена, может, его вовсе никогда не было, а приехали мы с тобой сейчас в гости к Петру Федоровичу...

Так обрадовался Ванька, что даже удивиться позабыл. Показалось ему, что хмурая, мокрая тайга сразу посветлела и засмеялась, что все деревья вокруг закружились и в пляс пустились. Оно, конечно, показалось ему так не зря, Только если уж правду говорить, закружился и заплясал сам Ванька. Потом подпрыгнул и у Киприана Ивановича на шее повис.

— Живой, живой! Я так и знал, тять, что он живой останется!

Шевельнулась от такой Ванькиной радости в душе Киприана Ивановича колючая родительская ревность.

Успокоил себя только когда подумал, что найдется в сыновьем сердце место для всех: для родителей — свое, для учителя — свое.

— Не хотел я поначалу тебя сюда везти, да сам Петр Федорович настоял, очень хотелось ему с тобой напоследок повидаться. Вроде

поручительство за тебя дал, что ты никому не скажешь... Ерпан ему говорил, что уж очень ты о нем тоскуешь...

— Ерпан?!

— Кто ж еще больше? Наш секрет четверем ведом: двум в дьяконовском доме, мне да Ерпану.

— Да ведь Ерпан с полицейскими ходил Петра Федоровича искать!

— Ходил, потому что надо было, чтобы все поверили, будто Петр Федорович в самом деле в Черном озере утоп, и чтобы его вовсе искать перестали... Понял?.. Ерпан и уток для него стрелял, и ружье с пиджаком на нужном месте бросил, и деньги, какие с полицейских требовал, Петру Федоровичу на дорогу отдал... Ну и я, конечно, подсоблял. А теперь мы с Ерпаном его на тайном месте в шалашике укрыли, чтобы никто подозрения не имел.

— Когда ты говорил, что на пасеку едешь, ты у Петра Федоровича бывал?

— Навещал. Опять же припас ему возил. Ерпан дичинкой его снабжает, я хлеб привожу, картошку, когда — творог и масло... Погоди ты бежать, не торопись, не так еще близко.

Легко сказать «не торопись», но как не торопиться, когда ноги сами во всю прыть несут?

Но до убежища Петра Федоровича и впрямь оказалось далековато. Шли версты четыре, пока ветер не донес слабый запах костерного дымка. Хоть и нес Ванька тяжелый мешок с припасами, не выдержал и, обдирая лицо и руки сучьями, кинулся навстречу тому дымку бегом. Выбежал на берег небольшого ручейка и сразу увидел шалаш и стоявшего возле него человека. По худощавой фигуре, по плечам сразу узнал, хотя кроме усов у Петра Федоровича была теперь черная, довольно большая борода.



Бросил Ванька мешок и — к Петру Федоровичу. Хочет слово сказать и не может, только сопит.

— Чего ты сопишь, Иванушка?

Еще громче засопел Ванька, услышав знакомый голос.

— Мне, Петр Федорович, плакать хочется, а я не хочу,— шмыгая носом, торопливо ответил Ванька.

Вот и пойми после этого, чего человек хочет, чего не хочет!

Петр Федорович гладит Ваньку по мокрому картузу и очень серьезно отвечает:

— Правильно, Иванушка! Лучше сопеть, чем плакать.

После таких слов Ванька перестает сопеть и полностью обретает дар слова.

— Ух ты, борода-то какая здоровая у вас выросла! Вроде как у тятки, только не топором, а долотом.

По небольшому оврагу возле шалаша тек ручеек, вокруг росло много малины. И вообще место убежища Петра Федоровича было выбрано с таким старанием и толком, что Ванька тут же изъявил желание построить рядом другой шалаш и в нем поселиться.

И очень огорчило его, когда такая мысль была отвергнута сначала Киприаном Ивановичем, потом самим Петром Федоровичем. И отвергли они ее правильно: не такой был Ванька парень, чтобы его хотя бы однодневное отсутствие осталось на погосте незамеченным. Опечалило его и другое — то, что совсем скоро, может быть завтра, Петр Федорович уедет отсюда... Надзор с пристаней был снят, и все зависело от Ерпана, обещавшего добыть для Петра Федоровича паспорт (что это за штука, Ванька не знал, но говорили о паспорте как о чем-то очень важном), и еще от какого-то шкипера баржи, большого приятеля Ерпана, который обещал укрыть Петра Федоровича в трюме и доставить в город Тюмень, где была у Петра Федоровича какая-то «явка»...

Все разговоры шли при Ваньке. Как посадил Петр Федорович его рядом с собой, так и не отпустил. Потом они вдвоем остались, потому что Киприан Иванович взялся за устройство временного шалашика.

Целый вечер и почти половину ночи пробеседовал Петр Федорович с Ванькой. Уже посветлело в тайге, когда оба наконец заснули.

О чем они толковали? О многом, об очень многом! На долгие годы, на многие десятки лет остался в памяти Ваньки этот разговор. Начал бы автор его пересказывать, и жизни бы ему не хватило. А то еще хуже случилось бы: стал бы рассказывать своими словами и все испортил бы.

2.

Должно быть для того, чтобы не омрачать Ванькиной радости, дождь перестал, а за ночь небо успело очиститься. Только поднялось над тайгой солнышко, появился Ерпан с ружьем и убитыми утками.

Ваньке с Ерпаном встречаться ох как совестно! Понимает теперь, что напрасно его обидел. Стыдно прощения просить, а без того не обойтись: удар кулаком еще куда ни шло, но уж больно много он Ерпану всяких слов наговорил!

Скрепя сердце, пересилив стыд, подошел к Ерпану, свесил вниз буйную головушку.

— Дядь Гриш, ты на меня не серчай, я ведь не знал, что Петр Федорович живой и тобой спасенный...

Ерпан посмотрел на Ваньку, и по его лицу скользнула былая веселая и озорная улыбка.

— За что ж сердиться? Будь я на твоём месте, может, похлеще бы сделал... А мне и невдомек, что ты такой грамотный, такие слова знаешь: хочешь, я при отце и Петре Федоровиче повторю?

Ваньке провалиться впору.

— Не надо, дядь Гриш!

— Где ты их нахватал?

— На Оби. Два плота столкнулись и попутались, так плотогоны между собой лаялись.

После завтрака Киприан Иванович заторопился на погост. Поэтому самый последний разговор у Ваньки с Петром Федоровичем получился совсем короткий.

— Вы, Петр Федорович, оттуда, где будете, мне напишите. А я вам про погост сочинения писать стану. Длинные. Все, все, что случилось, описывать стану...

— Обязательно напишу, только не скоро это будет, Иванушка... А ты, если придется тебе в городах побывать и с большевиками встретиться, узнавай про Петра Федоровича Сидорова. У меня много знакомых товарищей, может, найдем друг друга и встретимся... А сопеть, Иванушка, не надо!

Последнее было сказано вовремя, потому что Ванька начал слегка посапывать.

Разлука — не смерть, ее скрашивает ожидание новой встречи. Облегчает Ваньке обратный путь и то, что не нужно прятаться под веретья. Обмытая дождем тайга так и сверкает красками, сама дорожная грязь разлетается из-под копыт бурого радужными брызгами.

— О чем вы с Петром Федоровичем ночью гуторили? — как бы невзначай спрашивает Ваньку отец.

— Обо всем говорили... Я, тять, когда не эта, а новая война начнется, воевать пойду...

— Военным задумал стать? — усмехнулся Киприан Иванович.

— Не... Я воевать буду, только пока война не кончится, а после победы я в штатские штатисты пойду.

— В чего пойдешь? — удивился Киприан Иванович.

— В штатисты или в штатистики, забыл, как их называют... Это, тять, такие, которые все на свете знают и все подсчитывают, чего сколько.

— Постой, постой!.. Ты толком расскажи... Объясни наперед, зачем все подсчитывать надо?

— А вот зачем. Есть, скажем, помещик, у него сто лошадей, а сам он не работает, а у крестьянина совсем ни-чего нет. Так вот и нужно всех лошадей пересчитать и раздать поровну, чтобы все работали — и помещик, и крестьяне.

— Станет тебе помещик работать!

— Жрать захочется, ух ты, как станет! — убежденно проговорил Ванька.

— Еще чего считать будешь?

— Все буду: и пуды, и рубли, и версты, и десятины, и четверти, и ведра, и всякие квадраты, и товары... Товары — какие на штуки, какие на дюжины, какие на тысячи, какие на миллионы...

На взгляд Киприана Ивановича, такой размах будущей статистической деятельности Ваньки смахивал на хвастовство.

— Ты бы для начала сосчитал, сколько в тайге деревьев,— предложил он.

К его удивлению, Ванька оказался к выполнению такой задачи подготовленным.

— Это вовсе просто! Нужно только сосчитать, сколько деревьев на одном квадрате растёт, потом узнать, сколько квадратов в лесу и деревья на квадраты помножить. А чтоб точнее было, нужно не один квадрат взять, а несколько и среднее вывести. Для этого сосчитанные деревья сложить, а потом разделить на число квадратов. Вот и получится среднее.

Ванька говорил правильно: Киприан Иванович знал, как мерили участки лесопромышленники, прикидывая выход деловой древесины. Вспомнилось ему и то, как быстро и ловко сумел разобраться в его заработках Петр Федорович.

— Самое легкое — деньги считать,— продолжал говорить Ванька,— а самое трудное — считать электричество, а его тоже считать можно.

Трудное и длинное слово «электричество» Ванька выговорил бережно, по слогам.

Киприан Иванович тоже кое-что знал про электричество и поэтому рассердился.

— Молоньи, значит, считать собираешься?.. Юрунду городишь! Но!..

Бурый ни за что ни про что, за здорово живешь, получил удар вожжей по брюху.

Дальше ехали молча. Ванька еще по дороге письмо Петру Федоровичу сочинять начал. Киприана Ивановича свои мысли одолели. Едет и раздумывает:

«Ох, уж этот Ванька! В кого только такой уродился?»

ЭШЕЛОН ИДЕТ НА ЮГ

ГЛАВА ПЕРВАЯ

ВОЕНКОМ И ЗАВБИБ. ДВЕ МУЗЫ ОДНОГО СТИХОТВОРЦА. ПЕРВЫЙ ПОСЕТИТЕЛЬ

1.

Кабинет для себя военком полка Сидоров устраивал по собственному вкусу. Пока связисты тянули в барак линию полевого телефона, он притащил со склада несколько нетесанных досок-шелевок, пилу, молоток и три десятка (брал по счету) трехдюймовых гвоздей. Так как от будущей обстановки военком требовал одного качества — прочности, сооружение стола, узкого топчана и полки заняло не более двух часов. Включенные в гарнитур два ящика из-под махорки не нарушили единства стиля.

Сметя веником опилки и обрезки досок к печке, военком осмотрел кабинет привередливым хозяйским оком и сразу понял, что для полноты уюта не хватало сущего пустяка — двух-трех красочных деталей. Достать же такие детали можно было только в полковой библиотеке.

Казарма, куда направился военком, была старинная, толстостенная, с огромными, грохотавшими под ногами чугунными лестницами, со сводчатыми проёмами, отделявшими друг от друга просторные ротные помещения. Что касается библиотеки, то она помещалась в отдельной, довольно большой комнате, некогда именовавшейся «штаб-офицерской».

Самым примечательным предметом здесь была круглая, обшитая черным железом печь, по своему размеру напоминавшая вставший на дыбы паровоз. Рядом с нею рослые книжные стеллажи выглядели детскими игрушками. Судя по одежде завбиба (на нем были стеганка и ватные штаны), печь излучала не тепло, а мороз.

Пренебрегая страшным зрелищем вздыбившегося над головой паровоза и холодом, завбиб что-то писал.

— Все стихи строчишь? — с подозрительной мягкостью в голосе осведомился военком.

— Уже заканчиваю, товарищ военком — сознался застигнутый врасплох поэт.

— Прочитать можешь?

— Еще не совсем кончил...

— Может, и кончать-то не стоит?

Кому из молодых поэтов не кажутся верхом совершенства их только что вырвавшиеся из творческого горнила опусы? Завбиб был молод

девятнадцатилетней самонадеянной молодостью, поэтому бесстрашно принял вызов и, встав, взмахнул исписанным листком.

— Это стихотворение я обязательно закончу!— твердо заявил он. — Заглавия еще нет, но начинается оно так:

По моим следам не ходите!
Я по многим прошел городам,
Заходил и в хваленый ваш Китеж,
Только мне не понравилось там
Там каменья и золото бликами,
Ну и звон чересчур малинов,
Я ушел с переходжими каликами,
Без печали его покинув...

— погоди! — перебил военком, — Китеж?.. По какой дороге — по Сызранской или Рязано-Уральской?

— Туда никакой дороги нет, — пояснил завбиб. — По преданию, Китеж, населенный праведниками, погрузился на дно озера.

— Вон куда тебя черти носили!—сострадательно сказал военком. — Ну, а после Кшежа где побывал?

— В монастыре.

— Там чего делал?

На этот вопрос последовал ответ стихами: —

Там святую воду прогорклую
После псалма
Запивал самогонкою
И крыл басорма!



Увы, ни удивить, ни восхитить военкома стихами была невозможно. Ему, в недавнем прошлом наборщику большой петроградской типографии, доводилось засовывать в верстатку и не такие словеса!

— Декадент чертов! — осознав услышанное, оценил он.

Такая реплика не только давала оценку стихам, но и задевала личность поэта. Тот окрысился:

— Почему это я декадент?

— По тому самому... Что из твоих стихов вытекает? Залез человек куда не надо, нажрался дряни и добро бы по делу, а то без всякого толку материться стал. Самогоном и басоромщиной разве крупную буржуазию удивишь, а нашего брата... Ты где сейчас живешь: в Китеже или в Архангельске?

— Конечно, в Архангельске.

— Про него и пиши. Про то, скажем, как генерал Миллер отсюда вместе с Антантой утекал... А еще лучше, знаешь, чего? Если тебя уж очень стихами несет, написал бы ты куплеты про третью роту, про то, как там дневальный и дежурный печь с непрогоревшими головешками закрыли и угару напустили. И еще про хозкоманду: там тоже растяпы нашлись, хомуты попутали и коням холки сбили...

Направив заблудившееся молодое дарование на тернистую стезю сатиры, военком приступил к делу, приведшему его в библиотеку:

— Дай-ка мне газет старых и покажи, что из плакатов осталось.

Газет на полк приходило до смешного мало. Часть из них подшивалась, остальные раздавались под расписку политрукам рот. Военкому пришлось удовольствоваться тремя старыми номерами «Бедноты».

Пока завбиб копался в плакатах, военком взялся за просмотр лежавшей на столе «Книги вопросов и ответов». Это был неведомо каким путем добытый исполинский конторский «гроссбух», пронумерованный, прошнурованный и скрепленный сургучной полковой печатью. Придавая «Книге» значение ценного документа, военком был прав: сохранилась она, скажем, до 1960 года, от такого экспоната не отказался бы ни один исторический музей.

Однако новое дело привилось не сразу: охотника задать первый вопрос долго не находилось. Тогда военком «для приманки» сам сочинил несколько закомуристых вопросов и сам же продиктовал завбибу обстоятельные на них ответы. Ледок недоверия был сломлен, и книга, положенная на стол в клубной читалке, ожила и скоро приобрела общеполковую известность.

Писалось в ней всякое — и очень важное и самое пустое, грустное и веселое, умное и глупое. Больше половины бойцов были неграмотны или малограмотны, но, несмотря на это, из книги можно было вычитать многое. На большинство вопросов отвечал завбиб, на вопросы военные — «военспец», адъютант полка, бывший прапорщик царской армии Потапенко. Вопросы, задевавшие острые политические и экономические стороны жизни, поступали на рассмотрение самого военкома Сидорова, проявлявшего исключительную находчивость даже в самых трудных случаях.

Сегодня, например, военкома поджидал такой «вопрос»:

«Палучил с Царицинской губернии сваво брата письмо. У ево продразверсты и беднота забрали 160 пудов паша-ницы, овса 70 мер а

гречку туую выгребли всюю бес остан-ку. Когда брали говорили армию кормить надоть. Только я сдесь в Архандельске окромя овсянки с остюгами и не-укусной конбалы другой пишши невидаю. Тая гречка и пашаница мимо мово рта в чужую брюху попала». —

Профессиональный навык помогал военкому разбирать писанину любой степени грамотности. Прочитав «вопрос», он энергично выругался, но за ответом дело не стало.

— Пиши! — сказал он, кладя книгу перед завбибом. — Пиши крупнее и четче, чтобы все прочитали!..

«Ввиду голода в промышленных городах вопрос задан несвоевременно, тем более, что мы, находясь нынче на тыловом гарнизонном положении, вкусных разносолов не заслуживаем. Есть дети и больные, которые гречневой каши больше нашего хотят. Вопрос этот написал кулацкий брат не от политической неосознанности, а от того, что у него брюхо к блинам, шанежкам и салу приучено. Кто настоящий голод видал, такой муры писать не станет».

Был в книге и другой сюрприз. Некий «боец Оськин» спрашивал: «Какую книгу прочитать, чтоб стать зараз инженером, артистом, доктором и музыкантом на всех инструментах?»

Никакого Оськина в списках подразделений не числилось, между тем он чуть ли не ежедневно задавал безграмотные, курьезные вопросы, ответить на которые было не так-то легко. Недавно завбиб попал в самое глупое положение, пытаясь объяснить неутомимому вопрошателю, «отчего растения бывают зеленые». На следующий день он был огорошен новым вопросом:

«Если растения зеленые от висчества хлорофила, то отчего энтот хлорофил сам зеленый?»

Так как в предисловии в книге было щедро обещано, что «на каждый вопрос обязательно будет дан исчерпывающий ответ», завбиб оказался загнанным в тупик. Пришлось ему пуститься на хитрость: пригласить настырного Оськина в библиотеку для получения устного ответа. Но тот не явился. Веские косвенные улики заставили военкома и завбиба заподозрить, что под псевдонимом «боец Оськин» скрывается один из лекпомов врачебного околотка. Но как разоблачить ловкого шутника-мистификатора»

На этот раз комиссарское терпение лопнуло.

— Дай я этому Оськину сам отвечу! — сказал он и, сев за стол, решительно вписал в графу ответов:

«Если боец Оськин еще раз испортит книгу вопросов и ответов, то кто-

нибудь из околотка сядет на губу на трое суток. Военком полка Сидоров».

Ответ был дан не по существу, но цели достиг.

Забежав вперед, можем сообщить, что, ознакомившись с ним, Оськин прекратил свое полупризрачное, озорное существование...

2.

И всегда-то с военкомом происходила одна и та же история: войти в казарму было легко, а выбраться оттуда почти невозможно! Везде и повсюду оказывались неотложные дела, требовавшие его, комиссарского, вмешательства. Только вышел из библиотеки на лестницу, услышал доносившийся снизу чугунный грохот шагов и громкий разговор двух пулеметчиков, возвращавшихся из кухни. а на чем свет стоит крыли кухонные порядки в целом и кашевара второго батальона в отдельности.

Увидев военкома, они замолчали. Но было поздно.

— Ну-ка, ребята, покажите, что вам налили!

Один из котелков на две трети был наполнен мутной жидкостью.

— На скольких брали?

— На троих здесь.

Военком нахмурился. Выхватив деревянную ложку (она торчала из-за обмотки под коленом у одного из пулеметчиков), он тщательно обыскал дно котелка и обнаружил там несколько голых рыбьих костей и два крохотных кусочка картофеля. Во втором котелке оказалась небольшая грудка пшенной каши, слегка подзелененной конопляным маслом. Здесь военком (из песни слова не выкинешь) сказал по адресу кашевара такое, после чего ругань пулеметчиков превратилась в детский лепет.

— Айда, ребята, обратно на кухню!

— Да ведь мы, товарищ военком, не жалуемся. Просто между собою разговаривали...

Первый удар грома обрушился на голову дежурного по кухне, благодушно рыгавшего после сытного обеда. Допросив его, военком сразу выяснил, что он не только не был при закладке в котлы, но даже не знал количества забранных со склада продуктов. Невыполнение обязанностей и обжорство обошли дежурному не так уж дорого (военком оценил то и другое вместе тремя сутками гауптвахты). Но дальше случилось нечто совершенно непредвиденное. Обследуя кухонное хозяйство, военком заинтересовался заготовленными впрок дровами и обнаружил под ними два спрятанных котелка: один с кашей, другой — наполненный кусками жирной трески.

— Чьи котелки?

На лице дежурного отразились растерянность и непритворное недоумение. Тогда пристальный взгляд военкома впился в побледневшее лицо кашевара.

— Сознавайся, твои? — внезапно смягчая голос, спросил военком.

Эта-то мягкость и заставила кашевара побледнеть еще больше.

— Не знаю, чьи... И не видел даже...— выговорил он, стараясь не встречаться глазами с военкомом.

Воцарилось тягостное молчание. Такое, что стало слышно, как булькотит под медной крышкой переварившийся суп. В течение полуминуты военком, не спуская глаз, рассматривал кашевара. Потом отдельно проговорил:

— В товарищеский котел руку запустил... Эх, ты!..

Какое облегчение почувствовал бы кашевар, если бы военком выругался! И именно потому военком воздержался от ругани: он не хотел разрядить себя и затем, как часто с ним бывало, до времени остыть. Кража из котла была, на его взгляд, настоящим преступлением, и виновный заслуживал хорошо продуманного наказания.

Когда «ничи» котелки (хозяина так и не нашлось) были отправлены в качестве добавка в пулеметную команду, военком молча вышел из кухни, оставив виновного в страхе перед неопределенностью ждущего его возмездия.

Невесело было и военкому. Медленно поднимаясь вверх по той же лестнице, он мучительно обдумывал, каким путем можно скорее и вернее возвратить человеку утраченную совесть.

3.

В библиотеке, между тем, дела шли своим чередом. После ухода военкома завбиб взялся было за прерванное занятие, но, странное дело,— то, что волновало его раньше, уже перестало волновать. Трудная радость вдохновенного творчества уступила место холодному, рассудочному ремесленничеству. К слову «монастырь» можно было подобрать множество рифм разного достоинства. В первую очередь, разумеется, напрашивались рифмы общедоступные: «псалтырь», «ширь», «Сибирь». Могла пойти в дело и «река Свирь».

При известной находчивости влезали в строку «богатырь», «нетопырь», даже «мизгирь». Наконец можно было найти и что-нибудь более изысканное и элегантное, вроде «белый звонкий монастырь, не зови к себе нас ты», но вместо всего этого завбиб зевнул, вогнал в строку «тырь-пырь-нашатырь», затем скомкал оскверненный издевательствами лист

бумаги и бросил в темную, вечно голодную топку стоявшего в вертикальном положении паровоза.

О щедрость молодости, безрассудно растрачивающей творческие силы! Втайне завбиб мечтал о славе всенародной и вечной, и с точки зрения этой самой славы его поступок был неразумен и непрактичен. Он не только лишал его прописки (хотя бы временной) во граде Китеже, но и наносил невозместимый ущерб истории литературы. Из того, что поэт остался недоволен своим произведением, вовсе не вытекало, что выцветшие от времени строки, сохранившиеся на хрупкой пожелтевшей бумаге, не приведут в восторг еще не родившихся текстологов!

Несколько минут еще было возможно поправить дело — вытащить листок, разгладить между страницами какой-нибудь толстой книги и, тем самым, даровать ему бессмертие. Но «чему быть суждено, то и сбудется»! Завбиб чиркнул спичкой и поджег комок бумаги. При этом его протянутые к огню пальцы даже не почувствовали животворящего тепла, из чего проникательный читатель вправе сделать вывод, что высокой калорийностью стихи не отличались.

Однако «тырь-пырь-нашатырь» не пропал даром! Перестроившаяся на иной лад лира зазвучала с новой силой. Стоило завбибу окунуть перо в чернильницу и поднести его к бумаге, как из-под него побежали одна за другой новые строки:

На конюшне стоят
Кони сытые,
Но у тех коней
Холки сбитые.
Или кони те
Очень нежные?
Нет, хозяева там
Неприлежные!

Неожиданно родившаяся баллада о сбитых холках и неподогнанных хомутах завершалась тонким намеком:

Как хошь, не попрешь
Против факта:
Для чего-нибудь стоит
Гауптвахта!

Переключившись затем на удалой частушечный лад, завбиб в двенадцати строках расправился с дежурным и дневальным третьей роты. Гауптвахта здесь, правда, не упоминалась, зато высказывалось пожелание «сделать этих ротозеев достоянием музеев».

С ротозеями было покончено, когда на пороге показался расстроенный военком.

— Все еще чепушишь?—спросил он, недоброжелательно поглядывая на стол.

— А вот послушайте!

Начиная читать частушки, завбиб заранее знал, что они обязательно понравятся военкому. Так оно и получилось. Только военком облек свою похвалу в самую свирепую форму.

— Вот и выходит, что ты самый настоящий, по всей форме саботажник!—сказал он.— Переводишь время шило на мыло, а захочешь — такое настроишь, что Демьяну Бедному впору. Сегодня в клубе лекция про сифилис будет, так мы на закуску гармониста с новой программой пустим... Только еще стих про кашевара напиши. Изобрази его, вора, так, чтоб от него пар пошел! Он у меня дешево не отделается!

С кашеваром второго батальона у завбиба были кое-какие личные счета, заказ пришелся ему по душе, а за вдохновением дело не стало. Написанное за десять минут стихотворение выглядело так:

Над котлами стоит пар,
Кверху поднимается.
У котлов вор-кашевар
Сплутовать старается.
Недосыплет, недолюет,
Масла недоложит,
А где просто украдет
Жулик краснорожий.
С рыбой целый котелок
Нынче чуть не уволок.
Собирался все поесть,
Да пришлось под арест сесть.
Ему, вору, очень
Аппетит испорчен!

Выхватив листок из рук завбиба, военком прочитал стихи вслух и на

этот раз расщедрился. Да еще как!

— В самую точку попал, сукин сын! Заходи ко мне вечером. Вчера я паек получил, так две осьмушки махорки для тебя отложил.

Дорога была похвала, но и гонорар не плох! Завбиб третьи сутки «стрелял» закурки и «бычки» в соседней роте.

4.

Покуда военком возвращается в свой кабинет (путь его был не прям и поэтому долог), у автора есть время рассказать, как создались столь странные на первый взгляд отношения между начальником и подчиненным.

Месяца через четыре после освобождения Архангельска, когда полк только еще переходил к оседлой казарменной жизни, военком, которому всегда и до всего было дело, увидел дежурившего в штабе нового телефониста — молодого кудрявого паренька. Но отнюдь не красивые кудри привлекли его внимание.

— Когда в бане последний раз мылся?—спросил он, понаблюдав некоторое время за пареньком.

Точного ответа на вопрос не последовало: за давностью дата последней бани была телефонистом запаматована.

— То-то и чухаешься!.. Расстегни ворот!..

Даже поверхностный саносмотр подтвердил худшие предположения военкома. Пробуя, оправдаться, телефонист похвастался, что успел перехворать двумя тифами и теперь, получив иммунитет, ничего не боится.

С этого-то иммунитета все и началось.

— Ишь ты, какие слова знаешь!—удивился военком.— Что это за штука — «иммунитет»?

— Иммунитет — это невосприимчивость к какому-нибудь заболеванию, обусловленная защитными силами организма,— словно по-писаному отчеканил паренек.— По теории Мечникова в крови человека...

У военкома от удивления поднялись брови.

— Погоди с Мечниковым!.. Отвечай толком: где, сколько учился и какое имеешь образование?

— Учился в реальном. Если считать приготовительные классы, учился девять лет.

— Интеллигент, значит!.. Из дворян, из купцов или кутейников?

— Сын служащего. Мещанин.

— На какие средства жил?

— У меня старший брат — инженер. И сам уроками зарабатывал.

— В Красную Армию как попал?

— Добровольно, по мобилизации профсоюза.

— Понимать тебя надо так: хотя ты и из «прочих», но сочувствующий... Что делать умеешь?

Здесь-то и выяснилось, что, кроме поверхностного знакомства с телефонным аппаратом, другими практическими познаниями обнаруженный в полку интеллигент не обладает. Но и девять классов были большим капиталом! На следующий день, когда кудрявый телефонист, пройдя суровую санобработку (на то был дан категорический комиссарский приказ), явился в штаб, его судьба была решена бесповоротно.

— Если ты за счет народа девять классов получил, то должен теперь эти классы обратно народу вернуть!—заявил военком.

— Как «обратно вернуть»?

— Через культпросвет! Завбибом будешь. И одновременно обязан в ликбезе участвовать. Ну, конечно, и другие дела найдутся...

Освоить премудрость десятичной классификации книг и таблиц Кеттера бывшему реалисту было нетрудно. Не прошло и трех недель, как книги, лежавшие бесформенной кучей на полу «штаб-офицерской», выстроились в стройном порядке по полкам новеньких стеллажей. Двери библиотеки открылись на неделю раньше назначенного военкомом срока.

Нашлись для завбиба и обещанные ему «другие дела». Однажды, зайдя в библиотеку, военком обнаружил рисованный лозунг-плакат, изображавший большую раскрытую книгу. На левой ее странице красивым шрифтом «рондо» было написано: «Книга учит жить», на правой — «С книгой нужно дружить». И лозунг и художественное его оформление принадлежали самому завбибу.

— Так! — сказал военком, не без уважения поглядывая на автора-художника. — Один стих у тебя получился. А целое стихотворение написать сможешь?

— Смогу! — чуть покраснев, сознался завбиб. — Я раньше много писал для училищного журнала, да и сейчас кое-когда... Для себя, конечно...

— Ну-ка, прочитай что-нибудь?

Почти все полиграфисты твердо верят во всепобеждающую силу печатного слова. Отсюда проистекала забота военкома о библиотеке. Естественно, что литература в целом, а поэзия в частности, представлялась ему нужнейшими и важнейшими видами искусства. Конечно, не все из того, что прочитал завбиб, военкому понравилось, но самый факт появления полкового поэта его обрадовал. Молодое дарование было взято на учет и стало объектом повседневного внимания комиссара. Критические

его замечания, как мы уже видели, не отличались особой деликатностью, но завбиб, сумевший быстро раскусить характер начальника, прекрасно понимал, что шли они от доброго сердца, и не обижался на военкома тогда, когда тот сравнивал его с Демьяном Бедным (сам завбиб, если и хотел походить на кого-либо, то только на Александра Блока!). Вначале он ценил военкома как внимательного слушателя, но скоро творческое общение с ним стало для него привычкой, а потом и потребностью...

Древнейший из министров культуры — бог Аполлон насчитывал в штате министерства девять муз, но с тех пор утекло много воды, и число их, нужно думать, возросло во много миллионов раз и, по наблюдениям автора, продолжает неудержимо расти. Дело в том, что каждый поэт хочет иметь персональную музу, а иные претендуют на двух...

В описываемое нами время из-за кудрявого завбиба конфликтовали две музы, совершенно несхожие по характеру и облику. Если одна походила на дышавшую духами, туманами и древними повериями Незнакомку, то вторая как две капли воды смахивала на коренастого, большеухого и громкоголосого полкового комиссара Сидорова. Этой-то распрей муз-вдохновительниц и объяснялась та непостижимая легкость, с какой поэт мог переноситься из Китежа на батальонную кухню и обратно. В таких творческих метаниях материальные блага (будь то даже махорка!) роли не играли, но вот слава... Слава — другое дело!

Выступления гармонистов, куплетистов и частушечников, хотя их и подавали, как мы уже видели, на закуску к лекциям на самые прозаические темы, пользовались неизменным успехом. Фамилия автора слов не упоминалась, но сам завбиб прекрасно знал автора, и под гром аплодисментов сердце его билось упоенно и сладостно...

И еще...

Впрочем, к завбибу, товарищ читатель, мы успеем попасть в любое время, а вот застать непоседу-военкома в новом его кабинете куда мудренее. Промедлишь минутку, и ищи его тогда по всем ротам, командам, красным уголкам, цейхгаузам, складам, швальням и конюшням!

5.

Но на этот раз, кажется, мы успели...

Мы застаем комиссара Сидорова в момент, когда он, стоя в дверях своего кабинета, любуется полным его убранством. Шершавая нагота стола прикрыта газетами, желтый ящик телефонного аппарата, чернильница-непроливайка и новая ручка с пером «86» застыли в деловой готовности на своих местах. Развешанные по стенам плакаты придают кабинету ровно

столько уюта, сколько требуется, чтобы хозяину не быть обвиненным в погоне за буржуазной роскошью.

В качестве эксперта, ценителя изящного, военком приглашает полкового адъютанта Потапенко. Ведя его, загодя оправдывается:

— Ты не думай, что я забурел и иду на отрыв от массы... Для пользы дела сделано, для культуры... К тому же и разговоры у военкома всякие бывают: одного нужно про-жучить, другого с песком протереть, третьему под хвост перцу насыпать. Раньше, в походе как бывало? При всех вслух орать приходилось... Теперь — иное дело: «Товарищ Иванов, зайдите, пожалуйста, ко мне!». Тот заходит. «Закройте за собой дверь. Присаживайтесь!». Он присаживается. Тут-то я и беру его в работу. «На каком таком основании, щукин ты сын, окунуть тебя в бром, йод и перекись водорода, дурака валяешь?» И все это вежливо, спокойно: и я глотку не рву, и у него барабанная перепонка цела. И ему в культурной обстановке оправдаться легче: оправдался — молодец, не сумел оправдаться — тут уж я досконально по существу выскажусь.

Объяснения военкома привели адъютанта, неоднократно слышавшего «доскональные высказывания», в веселое настроение, убранство же кабинета едва не заставило его рассмеяться. Это не ускользнуло от наблюдательного хозяина.

— Что нашел смешного? — с сердцем спросил он.

— Все хорошо, только вот плакаты... Даже сидеть под ними страшно. Насмотришься на них и есть не захочешь.

Адъютант Потапенко был прав. Самый большой плакат, изображавший увеличенное в тысячи раз насекомое, вещал: «Вошь — передатчик сыпного тифа». Другой отвращения не вызывал, но был много страшнее. На черном фоне отчетливо выделялась фигура тощего, изможденного старика. Призывно взмахнув костлявыми руками, он кричал: «Помогите!» Бесспорно, этот плакат, звавший на помощь голодающим, был подлинным произведением большого гуманного искусства, но уютнее от него не становилось. Случайно попавший на видное место стола жирный газетный заголовок «Беднота» с предельной точностью определял общий стиль кабинета.

Все это адъютант и высказал нахмутившемуся военкому. Но у того оказался собственный, солидно мотивированный взгляд на декоративное оформление.

— Ты говоришь, «посмотришь и есть не захочешь»? Вот и выходит, что плакат свое дело делает. Когда есть голод, так и нужно, чтобы у каждого сытого кусок в горле застревал! И «Беднота» кстати пришлась. Кто

о бедноте думать должен, как не комиссар?

В пылу спора военком Сидоров иной раз прибегал к преувеличениям, доводя до абсурда мысль, высказанную оппонентом. Так случилось и сейчас.

— Ты что, хочешь, чтобы я в своем кабинете картинок с деревцами и с красавицами навешал? Если, мол, мы на мирное положение переходим, так можно в мелкобуржуазное болото катиться?

Но адъютант Потапенко был неустрашим и находчив в споре: недаром перед тем как идти в юнкерское, учился на первом курсе юридического факультета.

— Насчет деревцев и красавиц я вам, товарищ военком, ничего не говорил, это уже демагогия!.. Но, если хотите правду услышать,— вшивому плакату место не в кабинете, а в предбаннике!

В заключение своей речи адъютант высказал мысль, что агитплакаты печатаются не для военкомов, а для более широких масс трудящихся.

Спор окончился компромиссом: плакат «Помогите!» уцелел, зловещий портрет распространительницы тифа был заменен «Антантой под маской мира», газета на столе перевернута наизнанку.

6.

Только вбил военком последний гвоздь в стену, в дверях показалась голова дежурного штабного писаря.

— Товарищ военком, вас там парнишка какой-то спрашивает. Говорит, очень нужно ему комиссара Сидорова видеть, а по какому делу — не объясняет. Третий раз приходит.

— Давай его сюда!

Через несколько секунд на пороге появилась фигура худощавого подростка, одетого... Впрочем, не убогость одежды, не крайне истощенный вид неожиданного посетителя поразили военкома, а выражение удивления, испуга, горя, отчаяния, последовательно отразившиеся на его лице. Паренек даже попятился, увидев хозяина кабинета.

— Погоди, куда ты?—остановил его военком.

— Вы... вы и есть комиссар Сидоров?—

— Я.

— Тогда вы не тот!

Военком был некрасив, знал об этом, даже иной раз, когда желал «нагнать страху» (это удавалось только в отношении новичков, не успевших его узнать), умел извлекать пользу из своей, как он выражался, «мордономии», но в данном случае он нагонять страх не хотел и поэтому

улыбнулся.

— Ошибка у тебя, юнец, вышла. Нашего брата, Сидоровых, как собак нерезанных.

— Тот Сидоров тоже военком...

В Архангельском гарнизоне другого комиссара Сидорова не было, но за всю Красную Армию поручиться было невозможно.

— Ты кем ему доводишься? Родственником?

— Учеником... Когда он у нас в Сибири, на Горелом погосте, в ссылке жил, так три года меня учил. Даже больше.

— Он в ссылке был? Как его звать?

— Петром Федоровичем.

— Петр Сидоров?.. Слышал про такого... Так тот — старый большевик! Он чуть ли не военкомдивом в прошлом году на Южном фронте был...



В военкомовский кабинет уже пробирались ранние осенние сумерки, и получилось очень кстати, что писарь принес и поставил на стол зажженную керосиновую лампу.

— Чего ты, парень, стоишь? Садись на стул.

Подросток осторожно присел на край махорочного ящика. Желтоватый свет упал ему на лицо, и военком сразу понял, что путь от Горелого погоста до Архангельска был нелегок.

— Как ты сюда добрался?

— До Тюмени — на баржах, потом — поездами... Когда как ехал. В Вятке меня с сыпняком сняли, в госпиталь положили Там. в госпитале, и услышал, что военком Сидоров в Архангельске. Вот и приехал. Трое суток ехал, сегодня четвертые... С товарняка на товарняк перелезал, какой скорее

пойдет... Еще через реку перебраться трудно было. Всю ночь сидел, пароход «Москву» ждал... И вовсе зря ждал, потому что без билета не посадили... Переплывать пришлось.

Военкому показалось, что он ослышался. Переправляться через Северную Двину вплавь в октябре, да еще после только что перенесенного тифа — на такое способен не каждый! Даже мысль мелькнула: не бредит ли парень. Протянул руку, пощупал лоб гостя, но жара не обнаружил.

Заметив тревогу военкома, подросток пояснил:

— Это ничего, что переплывать... Обь в два раза шире, а когда нужно было, сколько раз переплывал. И еще ладно, что доска на берегу сыскалась, чтобы одежду и мешок положить...

Многосуточная усталость, перенесенная болезнь, голод, пережитое страшное разочарование, наконец, напряжение от разговора сделали свое дело. Ресницы подростка опустились, под его глазами легла недетская черная тень.

Военком Сидоров был добр простой деятельной добротой рабочего человека, знавшего, видевшего и понимавшего человеческую нужду всех степеней, во всем ее многообразии.

— Посиди здесь маленько, я сейчас приду,— деловито сказал он и торопливо вышел.

Разыскать штабного вестового и настропалить его было делом нескольких минут.

— Лети экстренным электрическим чертометом в каптерку! Отдашь записку, принесешь пайку хлеба и сахару. Погоди, я еще допишу. Там у него в энзе американская сгущенка осталась, так одну банку возьмешь... Потом — на кухню. Чтобы супу на здорового мужика налили...

Поспешив в кабинет, военком застал гостя в той же позе унылого окостенения. Однако при приближении военкома парнишка очнулся, поднялся, надел рваную, не по голове просторную папаху и, взяв неуклюжий по форме вещевой мешок, решительно шагнул к двери.

— Пошел я.

Военком загородил проход.

— Куда?

— Настоящего комиссара Сидорова искать!

При иных обстоятельствах такая фраза обидела бы военкома Сидорова, но сейчас он ее даже не заметил.

— Чудак человек — голова, два уха, и оба холодные! Где ты его сейчас искать будешь?

— Найду! Не смотрите, что я тощий, я сильный!

— Обожди, силач!.. Искать военкома Петра Сидорова нужно с толком, мне это сделать легче, чем тебе.

— Когда найдем его, я тебе литер на проезд выпишу... Документы у тебя есть какие-нибудь?

Если что-либо и заставило подростка остановиться, то только явная доброта и сочувствие повстречавшегося на его пути человека.

Документ нашелся. Был он спрятан за пазуху, завернут в тряпочку, для еще большей сохранности вложен в самодельный чехол из старой тетрадной клеенки.

Пока вскрывались все эти оболочки, успел сработать экстренный чертомет. Искося глянув на странного комиссарского гостя, вестовой поставил на стол дымящийся котелок с супом и положил принесенные из каптерки продукты.

Чтобы не отбивать у парня аппетит (впрочем, сделать это едва ли было возможно), военком взялся за чтение документа.

7.

И умели же в старину — в первые годы революции — писать документы! Жаль, мало осталось их, этих документов! Возьмешь иной пожелтевший от времени листок, так и дохнет на тебя огненным ветром Октября. Что ни листок — страничка истории. Чего стоят по сравнению с ними наши датированные годами мира командировочные предписания, выписки из протоколов, характеристики! В меру грамотные и обстоятельные, всегда корректные по форме, они, конечно, выполняют свою важную роль, но... не слишком ли спокойны эти лишенные темперамента документы?

Листок, который держал в руках военком Сидоров, был великолепным образцом деловой литературы времен гражданской войны.

Прежде всего он был напечатан на машинке. Каким путем забрел «Ремингтон» в Нелюдненскую волость — одна из загадочных тайн истории материальной культуры, но тот факт, что из его регистра выпали буквы «о», «к», «м», «п», «у» и «ш», неоспоримо указывал на то, что его дальнейшее путешествие не было путем, усеянным розами. Недостающие буквы были заменены соответствующими знаками, сделанными от руки. Это уменьшало красоту документа, зато свидетельствовало о старательности его составителей. Очень четкая, видимо, совсем новая, печать, что скрепляла размашистую подпись председателя волисполкома, завершала дело, превращая листок, вырванный из тетради «в две косых линейки», в документ, решающий судьбу человека.

Вот полный его текст:

«Сей мандат выдан гражданину селения Горелый погост Ивану Киприановичу Перекрестову, рождения 1905 года, декабря 6 числа. Дан ему в том, что он является сыном крестьянина-красногвардейца, без вести пропавшего в 1918 году. Сам гражданин Иван Киприанович Перекрестов участвовал в кровавых действиях местного партизанского отряда по взятию у колчаковских юнкерей парохода с баржей и двумя орудиями. Мать гр. Перекрестова померла от тифа, а изба со всем имуществом сгорела от огня гражданской войны. Образование гр. Перекрестов имеет домашнее, высшее не законченное.

Ко всем партийным, советским и другим организациям просьба оказывать бывшему партизану и крестьянину-бедняку Ивану Перекрестову всякое содействие и давать правильное ему направление.

Предволисполкома Г. Ерпанов».

Пока обладатель мандата расправлялся с большим тресковым хвостом, комиссар Сидоров успел обдумать план дальнейшего разговора. Достоверность прочитанного документа не возбудила в нем никакого сомнения, и, вняв просьбе его составителя, он считал своей партийной обязанностью дать заблудившемуся молодому партизану «правильное направление». Для этого требовалось кое-что уточнить.

— Документ у тебя в полной исправности, — сказал он. — Только одно непонятно: откуда у тебя высшее образование взялось да еще домашнее?

— Это дядя Гриша написал так потому, что я ни в какой школе никогда не учился, а ходил на уроки домой к Петру Федоровичу. А образование у меня высшее на самом деле, потому что я всю арифметику от начала до конца знаю и даже задачи по алгебре решать умею. Сосчитать невозможно, сколько я всяких задач и примеров решил! И писать умею. Если захочу, все написать могу. Даже с ятем!

— Ять теперь отменили.

— И правильно сделали. Я еще когда говорил Петру Федоровичу и дяде Грише: на кой хрен этот ять нужен!

Наевшись и отогревшись в относительном тепле военкомовского кабинета, сибирский партизан оживился, даже повеселел.

— Кто такой дядя Гриша?

— Григорий Ерпанов, который мне мандат выдал. Сейчас он в Нелюдненском волисполкоме председателем, а при Колчаке нашим

партизанским отрядом командовал. Родился-то он на Горелом погосте, поэтому я его и зову дядей. У нас никого храбрее его не было!.. Когда он в немецкую войну воевал, два креста получил. Глаз ему выбило, три пальца оторвало, а он все равно лучше всех стрелял.

— Ты-то что в отряде делал?

— Когда что... Чего дядя Гриша велел, то и делал. Когда в цепи ходил, когда в разведку, а больше приказания и донесения носил. Мне, потому что я тогда меньше всех был, японский карабин выдали. Легкий, но бил, ух ты как!.. Потом к нему патронов не стало, а то бы я никогда с ним не расстался! Этот карабин мы на пароходе у юнкерей взяли. Ух ты, какой в тот раз бой был!.. Три часа палили!

— И ты стрелял?

— В тот раз не пришлось: меня дядя Гриша послал лодку у юнкерей угнать, чтобы они через Обь не убежали. Я к ним по берегу, по кустам прополз и у лодки ножом веревку перехватил. Едва живой утек!.. Юнкеря враз заметили, когда лодка мимо них поплыла, и пошли по кустам садить! Даже из пулеметов били, думали, я там не один. У них на берегу стража была, так ихний командир постового за то, что он за лодкой недосмотрел, из нагана застрелил... Его застрелил, потом сам застрелился — не хотел живым Ерпану сдаваться. Вот какой был! В тот раз мы четырнадцать беляков побили, а двадцать девять в плен взяли. Команда, какая на пароходе была, вся на нашу сторону перешла.

Не зря удостоверяла волисполкомовская печать участие гражданина Ивана Киприановича Перекрестова «в кровавых действиях»!

— Изба-то твоя как сгорела?—поинтересовался военком.

— После того боя купец из Нелюдного белякам доказал, где наш отряд скрывается, и Колчак на наш Горелый погост целую роту послал. Только Ерпан опередил его, увел всех за Черные озера, а туда хоть всю белую армию пошли, вся без остатка потонет! Один дядя Гриша там дорогу знал. Нас-то Ерпан увел, а сам Погост беляки сожгли. Лес и тот кругом погорел...

Внимание военкома давно уже привлекал вещевой мешок, принесенный его гостем. Вся его полезная емкость была занята единственным предметом правильной прямоугольной формы.

— Это что ты с собой б мешке привез? — спросил он.

— Счеты... Петр Федорович Сидоров перед тем, как с Погоста и вовсе из ссылки бежать, мне их подарил...

Военком искренне удивился:

— Счеты?.. Как же они при пожаре не сгорели?

— Я их, когда от карателей за Черные озера уходил, в тайге схоронил.

Там, в тайге, если с умом, все, что хочешь, спрятать можно: сто лет пролежит — и никто не тронет... В госпитале хотели у меня отобрать, да я упрямый, чтоб оставили... Потому... — Рассказчик неожиданно зевнул: вспышки бодрости хватило не надолго.— Можно, я где-нибудь у вас на полу спать лягу? — попросил он.

Через полчаса паренек уже сладко похрапывал. Не на полу, а на новом кабинетном диване, застланном военкомовским тулупом. Ложась, вместо подушки положил себе под голову мешок со счетами.

ГЛАВА ВТОРАЯ

СОДЕРЖИТ О ТОМ РАССКАЗ, КАК ОДИН ТОПОР ДВУХ МУЖИКОВ СПАС. БАЛЛАДА О ДРЕВЕСНОМ СПИРТЕ

1.

Уснул Иван Перекрестов вольным сибирским партизаном, проснулся от звуков горна бойцов регулярной Рабоче-Крестьянской Красной Армии — учеником музкоманды стрелкового полка...

Такое свое решение военком Сидоров обосновал коротко:

— Пока мы с тобой Петра Федоровича ищем, ты на довольствии состоять должен, а довольствие без службы никому не дается.

Законно ли было такое решение (парню до 16 лет трех месяцев не хватало) — вопрос, но отправить Ваньку в детдом не позволила военному неугомонная большевистская совесть.

Сама по себе мысль дать Ваньке в дополнение к высшему еще и музыкальное образование была неплоха (в муз-команде на тридцать музыкальных инструментов приходилось восемь музыкантов), но когда капельмейстер (он же первая и единственная труба) начал испытывать присланное ему пополнение, возникло непредвиденное обстоятельство: Ванька проявил упорное нежелание признавать разницу между «до» и «ре». Звук камертона ничего не говорил ни его душе, ни сердцу.

— Спой что-нибудь! — предложил капельмейстер, швыряя на стол ненужный инструмент.

На это Ванька охотно согласился.

— Про что? Я много песен петь умею: могу и про бродягу, и про централ, и про могилу...

— Вот и спой.

— Громко или как?

— Как сумеешь.

Откашлявшись, Ванька набрал, сколько в него влезло, воздуха и,

зажмурившись от вдохновения и натуги, запел:

— Пускай моги-и-ла-а меня накажет... за то, что я да й-о-о-о люблю...

Много видели и слышали толстые стены старинной казармы, только не такое! Трубач-капельмейстер схватился за уши, остальные музыканты — за животы. Но сам Ванька ничего не видел и не слышал, поэтому, захватив новую порцию воздуха, продолжал:

— Но и-а моги-илы д-да не бо-й-у-у-ся...

— Стой!

— Чего «стой»? Я только начал. Я еще громче могу! Может, другое что спеть?

— Спаси и помилуй!

Но Ванька вошел во вкус музыкального искусства.

— Тогда дайте я на чем-нибудь сыграть попробую...

При этом он с вожделием поглядел (известно, большому куску рот рад) на контрабас-тубу.

По малодушию или из любопытства ему разрешили «попробовать», правда, дав не тубу, а валторну. С ее помощью Ванька, оказавшись одновременно композитором и исполнителем, продудел экспромтом нечто, что ставило его в ряды крайних абстракционистов от музыки.

Он охотно перепробовал бы все инструменты, но и того было более чем достаточно!

Как ни растолковывали Ваньке, что при отсутствии слуха музыкант из него не получится, он этого не понял. Что касается военкома Сидорова, то, узнав о плачевных результатах испытания, он высказал мысль, что, возможно, впоследствии, вращаясь в музыкальной среде, Ванька все-таки разовьет слух и освоит если не барабан, то тарелки или треугольник. Капельмейстер только головой покачал.

— Если человеку медведь всей лапой на ухо наступил, ничто не поможет! — убежденно сказал он.

На короткое время опрометчиво зачисленный в муз-команду сибирский партизан оказался предоставленным самому себе. Но не такая была у него натура, чтобы оставаться без дела!

По давнишней любви к лошадям сунулся Ванька сначала на конюшню, но ротозеи-конюхи, проученные завбибовскими куплетами, перестали быть ротозеями и сердито прогнали явившееся им на помощь «постороннее лицо». Заглянул было в лечебный околоток, где ему приглянулась работа проворных санитаров, но и там для него дела не нашлось. Очень хотелось Ваньке в оружейную мастерскую, откуда доносился заманчивый стук молотков, но заворуж даже заглянуть туда не позволил. Совсем пропал бы

со скуки Ванька, если бы, обследуя полковое хозяйство, не заметил надписи! «Библиотека». Что такое библиотека, он не знал, но потому, что надпись была сделана старательно и красиво, сразу определил: заглянуть туда стоило. Заглянул и рот разинул, увидев неимоверное богатство.

— Ух ты! Кто ж столько книг читать поспевает?

— Всякий, кто хочет! — убежденно ответил завбиб.— Ты, мальчик, грамотный?

Начавшийся разговор закончился быстро: через две минуты Ванька спускался с лестницы, держа под мышкой «Робинзона» и «Муму».

Выдавая эти книги, завбиб был убежден, что неплохо удовлетворил запросы нового читателя. Но вышло не так! Уже на другой день книги были возвращены.

— Прочитал обе? — удивился завбиб.— Понравились?

— Одна совсем ерундовая, у другой конец нужно переделать!

О книгах, как правило, читатели отзывались уважительно, и отрицательный отзыв о произведениях двух классов сразу не только удивил, но даже обидел завбиба.

— Чем тебе не понравился «Робинзон»?—спросил он.

— Чего в нем хорошего? Обыкновенный спекулянт!.. Попал на остров, лодку выдолбил, а поплыть на ней струсил. И все богу молится! Какой листок не перевернешь, везде молится да благодарит. И еще золото считает, с места на место перекладывает, видно, боится, чтобы Пятница не спер. А на кой хрен им обоим деньги, если на острове никого нет?

Однажды на досуге завбиб сам заглянул в «Робинзона». Знаменитый роман в дореволюционной ханжеской «обработке для детей» был превращен в жалкого литературного инвалида. Почти все, что относилось к трудовой деятельности героя (самым важным из нее обработчик считал только сооружение зонтика и приручение попугая), было вымарано, зато рассуждения о неисповедимых путях всеблаготворного провидения — сохранены полностью. Робинзон предстал перед читателем в образе благочестивого валютчика, то и дело занимавшегося пересчитыванием и перепротягиванием гиней и фунтов.

— А чем тебе не понравилась «Муму»? — поинтересовался завбиб.

— Конец шибко жалостный. К этой бы книжке да конец веселый!

Предлагать приделать веселый конец к трагическому повествованию о глухонемом Герасиме и бедной Муму мог не каждый! Сам Иван Сергеевич такого варианта, как известно, не предусматривал.

— И какой ты веселый конец для «Муму» придумал?

— Чтобы Герасим не Муму утопил, а барыню!

Завбибу, воспитанному в преклонении перед классиками, показалось, что начинает опрокидываться печка Барыню ему, собственно, жаль не было, но он считал нужным заступиться за автора.

— И не жалко тебе было бы барыню? — спросил он.

— Она других не жалела, и ее жалеть нечего!

Пришлось завбибу, идя навстречу читательскому запросу, искать книжку с веселым концом. Такой книжкой оказался «Конек-Горбунок». Гибель злого царя в котле с кипятком, несомненно, должна была понравиться жестокосердному любителю счастливых развязок.

В библиотеке Ваньку интересовало все. К тому же явная молодость завбиба позволяла Ваньке держаться на равной с ним ноге.

— Чего ты все время пишешь? — спросил он. — Вчера писал и сегодня опять пишешь.

На этот раз завбиб писал не стихи, а инвентаризировал книги. По установленному правилу, книга вписывалась в инвентарь, затем «обрабатывалась»: снабжалась номером, индексом, кеттеровским знаком, наконец, на внутренней стороне обложки приклеивался карман для формуляра. Такая кропотливая работа, особенно если ее много, а температура в помещении близка к нулю, ни для кого не находка, для чувствительного поэта — тем более.

— Дай я тебе пособлять буду! — предложил Ванька.

Уступая половину рабочего места и своих обязанностей самоуверенному юнцу, завбиб вовсе не хотел его эксплуатировать, а только показать на практике, как ответственна, сложна и трудна библиотечная работа.

К его удивлению, через час активист читатель прекрасно освоил искусство инвентаризации (на долю завбиба приходилась только классификация книг). Ванькин почерк, хотя и излишне старательный и по-детски округлый, не портил ни формуляров, ни инвентарной книги.

Просидев часа два за столом, Ванька начал чувствовать то, что давно уже мучило завбиба, — холод.

— Почто печку не топишь? — спросил он.

Ответить на этот простой вопрос было не так-то легко.

Дрова во дворе казармы лежали горами, но их нужно было колоть. Искусство же колки завбибу никак не давалось. А уж он ли не старался? Выпросив для нужд библиотеки новый топор, он собственноручно выстругал перочинным ножом для него очень красивое топорище. Увы, топорище после первых двух ударов почему-то треснуло, и, хотя завбиб стянул его шпагатом, топор упрямо не хотел на нем держаться. Попытка

закрепить его клиньями и клинышками ни к чему не привела. При таком положении дел завбиб со дня на день стойчески откладывал начало отопительного сезона, хотя архангельский октябрь давал о себе знать все напористее.

— Кабы топор где достать, можно было бы истопить...— продолжал между тем вслух размышлять Ванька.

— Топор есть, вон там, за печкой, лежит,— не совсем бесхитростно ответил завбиб.

Ванька вытащил топор и начал его осматривать. Вначале на его лице можно было прочесть удивление, потом — нечто большее.

— Разве ж это топор?! Вот балда, вот дурень безмозглый!..

— Хороший, новый топор!—обиделся завбиб.

— Топор-то хороший. Я того остолопа крою, который топорище прилаживал!

«Остолоп» стоял в двух шагах от Ваньки. Не понимая, в чем дело, он покраснел, но мудро предпочел не сознаваться.

— Я вчера этот топор в одном месте взял,— не совсем уверенно сказал он. — Топорище, конечно, не совсем того...

— Этим бы топорищем да по пустой башке того, кто его делал! — продолжал негодовать Ванька.— Шестнадцатый год живу, а еще ни разу не видел такого дурня, язви его в печенку!.. Березы ему не хватило, что он топорище из сырой сосны вытесал!

Так вот оно в чем дело! А завбиб-то радовался, что сумел выбрать для топорища такой прямой и ровный брусок дерева! Оказывается, то была сосна!.. За добытые полезные сведения завбиб расплатился сполна, выслушав еще полдюжины эпитетов и пожеланий.



Впрочем, Ванькиной желчи хватило не надолго. Осмотрев и прикинув на вес топор, он внезапно решил:

— А топор ладный. С таким топором мы с тобой знаешь как заживем!.. Сейчас схожу насчет дровишек...

Вернулся Ванька с промысла через полчаса. Грохнул об пол тяжелой охапкой дров и пошел за другой. Пока он ходил, завбиб успел осмотреть вернувшийся на место топор. Новое, наспех сделанное березовое топорщице красотой не отличалось, но было подогнано ловко и таило в себе запас прочности не на один год.

Загудело пламя в изголодавшейся печке, в библиотеке сразу поуютнело, а вскоре и теплеть начало. Тут-то и завязались разговоры.

— Ты сам откуда? —спросил Ванька.

— Из Москвы.

— То-то и слышно — говоришь чудно: все «а» да «а».

— Я-то сибирячок... С Горелого погоста. Может, слышал?

— Не слышал, — честно сознался завбиб.

— А я про Москву слышал. У вас Пресня и еще Кремль есть. Мамонты-то у вас часто попадаются?

— Кости мамонта есть в музее, — добросовестно ответил завбиб.

— А я одного в тайге нашел. Ух ты, какие мослы здоровые! Семь верст их волокли... А верно татары говорят, что за всю жизнь человек только одного мамонта найти может? Если раз нашел, то другого уже не ищи, все равно он тебе не откроется?..

— Думаю, что неверно. Есть ученые, которые всю жизнь ископаемых животных ищут. Палеонтологи.

— Ну, и находят?

— Находят. Они знают, где искать.

— Ты где учился?

— В реальном училище.

— Иксы и игреки находить умеешь? Если два уравнения с иксом и игреком?

— Умею.

— И я умею. А сам сочинить задачу, скажем, про книги можешь?

— Пожалуй, смогу, — взвесив свои силы, ответил завбиб.

— А куб «мне объяснить можешь? Про квадрат-то, если около какой-нибудь цифры справа сверху маленькая двойка стоит, я знаю, а вот про кубы...

Завел такой разговор обоих в невылазные математические дебри.

Комиссар Сидоров редко что забывал и, уж конечно, никак не мог забыть о Ваньке. Однако срочные дела позволили ему добраться до музкоманды только вечером. Заглянул туда — нет парня!

— Куда моего сибирского партизана дели?

— Не знаем...

Обругал трубу за недосмотр, разогнал всех музыкантов по ротам и сам на поиски пошел. Парень как в воду канул! Уже на обратном пути, заглянув в библиотеку, обнаружил пропажу. Видит, сидят Ванька и завбиб у печки, в какую-то книжку заглядывают и что-то пишут.

Сначала, не разобрав дела, военком рассердился.

— Ты, завбиб, мне парня стихами не порть!

Однако, когда выяснилось, что стихи ни при чем, а книга не что иное, как алгебраический задачник Шапошникова и Вальцева, сменил гнев на

милость и выслушал рассказ завбиба о его знакомстве с Ванькой. Недолгие размышления комиссара сразу вылились в форму распоряжения:

— Вот тебе, партизан, временное назначение: прикомандирываю тебя к библиотеке.

Этого-то завбиб и добивался (он уже как-то просил военкома прикомандировать в помощь ему писаря, но получил отказ). Теперь Ванька доказал, что и он мог быть хорошим помощником. Увы, радость хитрого завбиба была недолговечна! Военком продолжал:

— А ты, завбиб, за это новую нагрузку получишь — художественную часть.

На военной службе всякое бывает: от приказа не откажешься. Ошеломленный завбиб осведомился только, что представляет из себя «художественная часть».

— Украшение казарм. Чтобы в ротах голых стен не было, их расписать нужно. Я уже краски достал. Кисти, клей — все, что нужно, есть. Козлы, чтобы поверху лазить, тоже будут. Чтобы к третьей Октябрьской годовщине все готово было!

— Я же не художник, товарищ комиссар!

— Не художник, а это что?

Военком показал на изображение развернутой книги с написанными афоризмами.

— Книгу нарисовать просто, а человека или лошадь не могу... Честное слово, не справлюсь, товарищ военком!

— Захочешь — справишься! Пойдем посмотрим.

При входе в помещение первой же роты завбиб ужаснулся непомерной величине свежепобеленных стен: за три недели их не расписала бы сотня опытных художников-монументалистов. К чести комиссара нужно сказать, он и сам сообразил, что потребовал невыполнимого. После осмотра стен и детального обсуждения размеры заказа были снижены до некоего реального минимума: над входной аркой каждой ротной казармы должно было быть изображено что-нибудь символизирующее воинскую доблесть: скрещенные винтовки с красной звездой над ними, клинки, знамена с гербами, горны и барабаны...

В конце концов завбиб, как часто с ним бывало, сам увлекся идеей военкома, тем более что над эскизами фресок голову ломать не приходилось: мало ли заставок и виньеток можно было найти в военных книгах и журналах! Временно изменяя поэзии, завбиб утешал себя тем, что искусство живописи было не менее благородно. Что же касается монументальности, то... Автор никогда не видел в натуре лоджий Ватикана,

но полагает, что сам Рафаэль подпрыгнул бы от восторга, увидев добротные стены архангельских казарм.

3.

Откуда ни возмись,— не то с Баренцова моря, не то с самого Ледовитого океана,— пожаловал неласковый гость — ветер-поморозник. Придавили притихший город быстрые низкие облака, посыпалась с неба крупа, от которой никто никогда сыт не бывал. Пока дойдешь от Быка до Соломбальского моста, так исхлещет лоб, нос и щеки, что потом у непривычного южного человека вся кожа с лица лоскутками сойдет. Москвич-завбиб норовит засунуть под нахлобученную летнюю фуражку не только лоб, но и уши. А Ваньке — все нипочем — не то еще видал!

Деревянная набережная пуста. Под ней с гулом и плеском бушует Двина. Не барашками — матерыми белыми медведями ходят пенистые гребни темных густых волн. Неохота Двине на покой уходить, но ничего не поделаешь! Как ни бунтуй, голубушка, а придется утихомириться. Пронесет поморозник облака, наподдаст мороз, и уляжешься ты на многие месяцы под толстую ледяную шубу...

Белая пелена скрывает не только острова, но и ближайшие строения. Впереди уступами вздымаются какие-то горы. Только когда совсем близко подойдешь — разберешь, что вовсе то не горы, а закрепленные штабеля бревен. Дальше — пустой берег. Лишь кое-где, покачивая высокими голыми мачтами, поскрипывают на причалах рыболовецкие парусники.

Но вот впереди чернеет первое настоящее морское судно. На округлой корме его — четкая надпись «Георгий Седов», сделанная по всем правилам старой орфографии: «и» десятиричное, ять, твердый знак. Орфография старая, а жизнь на нем идет новая: труба дымит, на палубе копошатся люди, делая какие-то нелегкие морские дела. Ванька останавливается около корабля как вкопанный.

— Неужели в море пойдет? — спрашивает он.

Завбиб уже бывал на пристанях и кое-что знает.

— Это ледокол. Он всю зиму будет работать.

Ванька не верит.

— А когда река станет? Что же он, как паровоз, ездить будет?

Завбиб, как может, объясняет устройство ледокола.

— У него корпус очень крепкий, а нос стальной и тяжелый. Он перед собой носом лед давит.

— А почему его так называли?

— В честь Георгия Седова. Был такой путешественник, который хотел

по морю до Северного полюса добраться.

— Доплыл?

— Нет, погиб.

— Жаль мужика!.. Но если корабль в честь его назвали, значит снова на полюс поплывут?

Ванька — романтик по натуре, завбиб — по настроению.

— Очень возможно,— отвечает он.

— А что, если мы пойдем сейчас к капитану и попросимся, чтобы он нас с собой взял?

В другую погоду завбиб, может быть, сам бы помечтал об этом, но сейчас... Как ни относителен уют полковой библиотеки, сравнивать его с уютом палубы арктического корабля не приходилось. Сердце завбиба переполняется пламенной любовью к библиотечной печке, и Ванькино предложение делает его наитрезвейшим из реалистов, когда-либо учившихся в реальных училищах. Однако свой решительный отказ от арктической экспедиции он мотивирует отнюдь не любовью к печке.

— Нам этого нельзя сделать: мы на военной службе. Нас не возьмут, но если бы даже и взяли, мы оказались бы дезертирами.

Ваньке остается одно: вздохнуть, но согласиться.

— Идем, Ваня! — пробует завбиб оторвать спутника от околдовавшего его зрелища.

— Обожди!.. Похоже, ящики какие-то лебедкой в трюм спускать хотят...

— Холодно же!

Завбиб в своей летней фуражке, короткополой второсрочной шинели и рваных бахилах и впрямь промерз насквозь.

— На, возьми мою папаху, а мне дай картуз!

Предложение делается от чистого сердца и выглядит заманчиво. К счастью, завбиб вовремя вспоминает, что у него под фуражкой есть кудри, а Ваньку военком заставил остричься под машинку. Да и одет-то Ванька ничуть не теплее завбиба. Папаха — единственный предмет его обмундирования, сколько-нибудь соответствующий обстановке.

— Ничего, обойдусь,— бодро отвечает завбиб.

Вздохнув, Ванька отрывается от парапета набережной, и оба идут дальше. Силуэт судна исчезает в белесых сумерках ледяной метели. И невдомек обоим, что не за горами время, когда имя Георгия Седова, ставшее именем корабля, озарится ореолом новой славы!

Впереди возникает силуэт другого судна, широкого, приземистого, сурового. Ни ветер, ни волны не могут вывести его из состояния покоя.

— Броненосец «Чесма»! — объясняет завбиб.

— Ух ты! восклицает Ванька. — Я ж сколько раз его на картинке видел!

Но нет над «Чесмой» ни развевающихся флагов, ни грозного черного дыма. Холодной глыбой металла застыла она на последнем мертвом приколе. Что грезится боевому кораблю в его предсмертной дремоте? Зеленые ли волны океанов, разбивающиеся о его форштевень? Отвесные ли лучи тропического солнца? Мерцающий ли свет далеких маяков? Кто знает тайны старого корабля!.. Но навсегда миновало для него время дальних плаваний, боевых тревог, торжественных салютов. Никому не страшны его приподнятые вверх, когда-то грозные пушки.

От поэтических размышлений завбиба отвлекают холод и Ванька. Ванька явно разочарован.

— На картинке он куда больше казался. И пушек на нем вовсе мало. Разве только, что из железа сделан!

4.

Дел у завбиба невпроворот, а тут какая-то тоска напала. Днем еще ничего, а по вечерам до того тоскливо и муторно становится, что стихи писать не хочется. Хватко задуманную поэму «Я на полюсе» (запасной заголовок — «Разговор с Полярной звездой») из-за недостатка творческого пороха пришлось сжечь. «Баллада о старом корабле» окунулась в Аету, не выйдя из эмбрионального состояния. И все вроде чего-то не хватает... Завбиб догадывается, чего именно не хватает, но помалкивает. А Ванька режет правду-матку без обиняков:

— Завбиб, тебе дюже жрать охота?

Еще бы не охота! Тыловой паек стал такой, что прожить проживешь, а досыта не наешься. Особенно донимает голодная тоска после ужина: треть котелка жидкого кулеша только обманывает. Поешь, а через полчаса кишка кишке снова сказку про кашку рассказывает.

Строевикам в ротах лучше. Они ходят командами на разгрузку и погрузку леса и на работу в порту. За физический труд полагается добавок: двести граммов хлеба, немного сахара, в ротный котел закладывается больше жиров и рыбы. Кое-кто ухитряется подрабатывать натурой на стороне.

Завбиб и Ванька наравне с писарями, музыкантами, санитарями околотка отнесены к нестроевикам. В доказательство справедливости такого порядка и этой обездоленной категории добровольно причислил себя комиссар Сидоров.

- Отпусти меня завтра до обеда,—просится у завбиба Ванька.
- Зачем?
- Насчет жратвы промыслю.
- Где ты ее возьмешь?
- А это что?

Ванька показывает на топор. С полминуты поколебавшись, завбиб соглашается.

На другой день к полудню Ванька возвращается с вещевым мешком, на четверть наполненным картофелем.

До чего же вкусен картофель, испеченный в печке! Разломишь сморщенную, слегка подгоревшую картофелину, так и пахнёт от ее рыхлой белой серединки ароматным дымком! И нет к тому кушанью лучшей приправы, чем крупная серая соль-бузун!

Ванька степенно, как приличествует удачливому добытчику, рассказывает о подробностях похода:

— Тетка одна зазвала меня дрова ей поколоть... Прихожу, а соседка ейная давай надо мной насмешничать: «Кого привела? Разве такой сопляк управится?..» Ну, я ей и показал «сопляка»!.. У хозяйки лежал во дворе комель березовый пудов на восемь весу. Лет двадцать лежал, потому что хозяин его осилить не мог. Так я с него и начал... Разобрался, с какого конца зайти сподручнее, и пошел чесать!.. С пятого удара развалил! Топор-то ладный...



Завбибу до краски в лице стыдно есть Ванькин картофель. Но что поделаешь, если рука сама так и тянется? Ванька завбибовской стыдливости не понимает, даже не замечает. Подбрасывает в жар новый десяток картофелин.

— Жми, завбиб! На сытое брюхо, ух ты, как спать будем!.. А в понедельник вместе промышлять пойдем, ладно? Соседка, какая меня сопляком обозвала, напросилась, чтобы я ей полторы сажени попилил и поколол. Пила у нее есть. Поглядел я ее. Если развести да поточить маленько,— сойдет... Дело стоящее: вещевого мешок картошки, творогу и шанежек посушила.

В понедельник библиотека закрыта, и завбиб с энтузиазмом принимает предложение.

— Вот и ладно! — говорит Ванька.— Я ей так и обещал: приду не один, а с помощником...

В понедельник завбиб возвращается из отхода с горящими на руках мозолями, но зато с чистой совестью. В набитом до отказа мешке есть и его законная доля... С той поры так и пошло, благо недостатка в работодателях не было: слава ловкого «сибирячка» прошла по улице из конца в конец. К чести завбиба надо сказать, что он делал все, чтобы сравняться с Ванькой, и если цели не достиг, то не по недостатку усердия...

Зашел как-то вечером в библиотеку военком, а там идет пир-пироваиыце, почестный стол. Чего на том столе нет: тут и картошка с алгеброй и морковные шанежки с геометрией и морковный чай со стихами...

Узнав, откуда взялась такая роскошь, военком покосился на завбиба.

— Ну-ка, покажи руки!

Завбиб показал. Руки были заветренные, шершавые, в ссадинах и неподдельных, успевших затвердеть мозолях. Собирался военком его попрекнуть, но не вышло.

5.

В полку народ самый разный, со всех концов матушки-России. Кроме северян — архангельцев, вологодцев, вятских— есть здесь и рязанцы, и тамбовцы, и саратовцы, и казанские татары.

Наравне со «стариками» (иной всю немецкую войну в окопах провел) в полк поступает и молодое пополнение, но тон казарменному быту задают многоопытные фронтовики. По утрам во взводах идет раздача хлебных пайков. Наторевшие хлеборезы наострились так делить, что пайку от пайки не отличишь, но, по старому обычаю, все решает жребий. Один пайку берет, другой, отвернувшись, по списку вычитывает:

— Кому?

— Петухову.

— Кому?

— Юфтереву.

— Кому?

— Зворыкину.

Посмотреть со стороны — лишняя потеря времени. Но не зря такой обычай повелся. Недовольных никогда не оказывается: если что и не так, пеняй не на товарища, а на жребий. Большое дело — хлебная пайка, но товарищеская спайка во сто крат дороже!

Днем, кроме дневальных, в ротах никого нет, но и тогда можно безошибочно разобраться, кто где живет. Постельные принадлежности

«стариков» тщательно прибраны. Возле каждого аккуратно скатанного матраца стоит самодельный сундучок с висячим замком. По размерам замков и самих сундучков нетрудно определить уровень хозяйственности владельцев. Впрочем, содержимое сундучков довольно однообразно. В каждом найдется пара, а то и две пары запасных портянок, лоскутки для заплаток и пуговицы от гимнастеров и шаровар (иглу с вложенной в нее аршинной ниткой хозяин в предвидении аварии носит вколотой в подкладку фуражки или папахи). Тут же в сундучке запас табака, старые газеты, письма из дома, мыло. Табак и мыло в одном углу, в другом — продовольственный запас: мешочек с сухарями, а у кого нет — сбереженный на ужин кусок хлеба и завернутая в тряпочку соль.

Кое-кто из «стариков» в великой тайне от соседей (узнают засмеют!) на самом доньшке укладки держит тщательно завернутые маленькие иконы, чаще всего — Георгия Победоносца и Николы-угодника. Еще старательнее наградные кресты и медали попрятаны. Три года назад, в семнадцатом году, следовало царские награды выбросить, но не у всякого рука налегла: не царский подарок дорог, а память о пролитой крови, о пропавших на фронте годах...

А вот фотографии, у кого есть, те на самое видное место — к внутренней стороне крышки пришпилены. Когда хозяин открывает сундук, любуйся ими сколько душе угодно! У иного «старика», склонного к франтовству, найдутся в укладке и бритва, и зеркальце, и оселок. Все одолжит сосед соседу и нитку, и лоскуток для заплатки, и табачку взаймы даст, а вот бритву — едва ли! На случай вежливого отказа даже пословица сложена: бритва, что жена, в чужих руках побывает, хозяина не узнает.

Кто успел за время долгой службы освоить какое-нибудь мастерство, держит в сундучках нехитрый инструмент, чаще всего сапожный нож, молоток, шильце, пригоршни две железных и деревянных гвоздей, дратву, кусок вара, пучок связанных ниткой щетинок. Ну, конечно, и материал: подметки, обрезки кожи. Капитального ремонта, требующего перетяжки на колодках, ротные старики не делают (на то мастерская есть), но в срочном текущем ремонте никому не отказывают, причем цену за работу назначают самую божескую. Поставит такой мастер на ботинки заплатки, прибьет отставшие подметки, набойки и зовет заказчика:

— Получай свою обувь!

Заказчик, чаще всего из молодых, осматривает ботинки. Ремонт сделан хоть и неказисто, но добротнo: ни гвоздей, ни дратвы мастер не пожалел.

— Сколько тебе за это дело, отец?

Спрашивает нерешительно: у него в кармане — вошь на аркане. Это

обстоятельство прекрасно известно и самому мастеру. Однако плату какую ни на есть взять надо: мудрое правило казармы гласит, что приучать молодых к даровым услугам не следует, пусть чужой труд уважают.

— Сколько дашь... Чего не жаль, то и давай!..— хитро отвечает мастер. Такой ответ ставит заказчика в самое трудное положение.

— Завтра, когда хлеб получим, я тебе пайку...— Он и впрямь готов остаться голодным, лишь бы уплатить долг.

— Завтра я сам пайку получу, так что твоя мне без надобности. Табачок-то у тебя есть?

— Есть осьмушка... Только початая, сигарки три из нее выкурил.

— Вот и давай!

Осьмушка переходит в руки мастера. Деловито осмотрев и ощупав ее, он отсыпает половину табака в свой кисет. Осталец возвращает хозяину.

— Ты всю бери! — набивается подавленный великодушием заказчик.

— А ты, дурья голова, что курить будешь? Навыкать у товарищей стрелять — не дело... Ты вот лучше подсоби мне маленько: нож поточи да дратву варом протри.

Вместе с годной для носки обувью новичок получает приватно памятный урок солдатской этики и познает азы полезного сапожного ремесла.

У грамотеев из писарей свой промысел: писание писем. Для того держат они в сундучках бумагу и самодельные конверты. Не к их чести сказать, они куда корыстолюбивее мастеров-сапожников. Плату за услугу обуславливают заранее, причем учитывается все: и почерк, и качество бумаги, и количество передаваемых поклонов. Иной жених за красивый почерк (пусть невеста любовь чувствует!) котелок сухарей отвалит. Вполне бескорыстен только один завбиб, которого гонит на промысел злая нехватка табака. Возьмет за письмо пригоршню махорки — сигарок на пять — и доволен! Одно плохо: парень с чудиной всегда в самую суть письма вникает и норовит без «господа-бога» обойтись...

— Кабы я жене писал, можно было бы без бога,— доказывает ему клиент.— А то бабке пишу. Бабке без господ-бога никак нельзя!

В таких случаях завбиб идет на компромисс:

— Ладно. Только господ-бога один раз в самом конце напишем.

— Экий ты, право! Жалко тебе, что ли?

В остальном завбиб покладист. Можно поручиться, что каждый поклон («Еще низко кланяюсь Вам, дорогой братец Григорий Лукич!») дойдет по назначению. И невдомек диктующему, что в конце письма хитрый завбиб пишет имя господ-бога не с прописных, а со строчных

букв! Таким образом, делая поблажку бабушке, завбиб одновременно соблюдает честь атеиста-культпросветработника. И овца почти цела, и волк почти сыт...

Во всякой роте есть музыканты — гармонисты и балалаечники, но играют они редко, по настроению. Не ладится и с пением: народ в полку собрался с бору да с сосенки — со всех концов страны. Очень трудно музыканту или певцу на все вкусы потрафить. Если и играют музыканты, то потихоньку, для себя, чтобы пальцы ладов не забыли.

И еще есть мастера... Эти обходятся без всяких инструментов.

Если в каком-нибудь уголке ротного помещения сбилась кучка хохочущих бойцов, так и знай, что собралась она вокруг балагура-краснобая, гораздого на забористые сказки про бар и царских офицеров. Фигурируют в них и барыни, и попадьи, и офицерские жены. В качестве же положительного персонажа неизменно подвизается либо хитрый денщик, либо удалая головушка — «служивый». Но бог с ними, этими сказками! Хоть иная может насмешить до слез, но похабны они сверх меры.

В другом уголке казармы другая кучка собралась. Сидят тихо, чинно, лица у всех задумчивые, внимательные, даже мечтательные. Посреди слушателей сидит старичок-сказитель. Неторопливо и монотонно вяжет он вычурный кружевной узор длинной волшебной сказки.

— Вот она, эта самая баба-яга, и говорит: «Коли хочешь ты ту Жарптицу и Царь-девицу найти, закажи себе наперед семь пар железных ботинок, потому что идти за ними не близко. Находятся они чичас за тридевять земель, за ста морями-океанами, во дворце самого Кошца Бессмертного»...

Покуда набравшийся терпения и мужества Иван Крестьянский сын примеривает первую пару железных ботинок, томящаяся в заточении у Кошца Царь-девица получает от старой служанки, сестры бабы-яги, задание не менее трудное — наполнить слезами семь сорокаведерных кадок...

Не на час, не на два часа — на всю долгую северную ночь рассчитана такая сказка. Чего только в ней нет! И волшебные леса с невиданными зверями и деревьями, и заколдованные горы, на которых живут птицы с железными клювами, и подводное царство. И хотя всем отлично известно, что Иван Крестьянский сын в конце концов обязательно разыщет Жарптицу и Царь-девицу, слушатели боятся слово пропустить. Гипнозу лукавой поэзии поддаются все, даже завбиб и Ванька.

Завбиб, впрочем, внимает сказителю с видом знатока (чай, сам мастер слова!), но Ванька слушает так самозабвенно, что забывает обо всем

окружающем. Художественный образ для него не образ, а нечто до осязаемости реальное. Сказочный Иван только еще обувается, а Ванька пальцами ног шевелит, пробует, каково им в железных ботинках приходится...

— Кому сказано, спать ложиться?! — по третьему разу сердится дежурный по роте.

— Мы ведь тихонько... Еще хоть полчасика послушать...

— Завтра успеете...

Дежурный прав. Сказки хватит и на завтра и на послезавтра...

Завбиб и Ванька ночуют в библиотеке, раскладывая набитые соломой матрасы на скамьях с обеих сторон печки. Здесь они сами себе хозяева. Спать после недослушанной сказки им неохота, и Ванька предлагает:

— Давай, завбиб, затопим? Погреемся, картошки напечем и почайпьем?

Сквозь огромные замерзшие окна в комнату заглядывает мохнатая черная ночь. Ванька и завбиб сидят рядом около печки и смотрят на весело пляшущее пламя.

— Вроде у костра в тайге,— говорит Ванька.— Ух ты, и хорошо там!

— А не страшно?

Ванька с таким удивлением смотрит на завбиба, что тому становится стыдно.

— Чего ж там бояться? Зверь ежели, так он от человеческого духа уходит. У нас на Горелом погосте за все время один раз было, что черный зверь человека задрал, да и то потому, что тот его из берлоги поднял. И случилось это давно, когда меня еще на свете не было.

— А заблудиться разве не страшно?

— Ежели человек вовсе без ума или шибко пьяный, заблудиться может. Еще ребятенки махонькие, бывает, блу-кают. Одну девчонку у нас полдня искали. Зашла версты за три, устала, легла и заснула. Я ж ее и нашел. Ничего страшного в тайге нет... Только вот раз со мной случилось...

Последнюю фразу Ванька произнес после паузы, как-то нерешительно. Это и возбудило интерес завбиба. В великой тайне от всех он работал в то время над циклом «Северных баллад». Две из них: «Сполохи» и «Розовый снег» были уже закончены. Содержание первой баллады из-за его бессодержательности завбиб очень скоро сам забыл, зато вторая... Она-то наверняка кое-что содержала! Посудите сами. В зимней тайге встречаются голодный медведь-шатун и человек. В страшном поединке гибнут оба: беспомощно поддыхает раненый зверь, в нескольких шагах от него

дожидается смерти искалеченный человек. К полю боя, озаренному сполохом, подбирается стая голодных волков. Развязка не заставляет себя ждать, ибо...

... У волка повадка волчья:
И зверь и человек — в клочья.
Даже съеден розовый снег.

Этот «розовый снег», поданный «под занавес», завбиб склонен расценивать как большую творческую находку. Многообещающий Ванькин намек на страшное таежное происшествие будит в нем профессиональный интерес делового свойства: не пахнет ли сюжетом новой баллады?

— Что случилось с тобой, Ваня?

— Рассказывать неохота...

Ванька грустно и задумчиво глядит на огонь: видно, ему и впрямь неприятно о чем-то вспоминать.

— Очень страшное?

— Нужно бы страшнее, да некуда... Со мной-то ничего не случилось, а... Ты мне вот что, завбиб, ответь: убил бы ты человека, если б то сделать нужно было?

Такого перехода завбиб не ожидал, но пристальный Ванькин взгляд требовал скорого и точного ответа.

— В бою мог бы.

Был случай, когда завбибу, сражавшемуся в 1919 году на Юге, пришлось отстреливаться от налетевших на полковой штаб конников-белогвардейцев. И он убил одного из них. Завбиб видел, как всадник, выронив саблю и потеряв стремя, до нелепости неуклюже упал с лошади. Правда, по кавалеристам стреляли и другие бойцы, но он целился именно в того, который упал сразу после его, завбиба, выстрела. Это было так же достоверно, как и то, что, подскакав к завбибу ближе, белогвардеец обрушил бы на его краснозвездную фуражку быстрый и ловкий удар сабли. Все произошло по закону боя. Поступок завбиба не был его личным делом, а маленьким эпизодом того великого, что вошло в мировую историю под именем «Гражданской войны в России».

— А без боя? продолжал допытываться Ванька.— Если просто убить надо?

«Просто убить» —это в голове завбиба не укладывалось, и Ваньке пришлось пояснить:

— Если человек такой, что его живым оставить нельзя?

— Казнить его?

— Ага!

Смертную казнь завбиб относил к числу печальных необходимостей. Он даже сам мог бы подписать приговор, но привести его в исполнение...

— Не мог бы! — сознался он.

Походило на то, что Ванька пытался у завбиба именно такое признание.

— Ну, а если, кроме тебя, некому?

— Тогда, может быть, и решился бы... Если человек что-нибудь уж очень плохое сделал...

Большой твердости в ответе не чувствовалось, но Ванька на большем и не настаивал.

— Вот слушай, что было... Иду раз по тайге,— верст, может, за пятнадцать от Погоста зашел (я в то время второго мамонта все искал),— и вдруг слышу: воет...

Слово «воет» Ванька выговорил так, что у завбиба по спине мурашки забегали.

— Волк? —поторопился догадаться он.

— Кабы волк!.. Неведомо кто воет, ни по-человечьему, ни по-звериному. Вроде бы и негромко, но так, что у меня враз сердце захолонуло. Стал на месте и не знаю, что делать: домой бежать или туда, где воет. Подался к дому, потом остановился: а ну, если человек? Набрался духу и на-прямки на вой пошел. А по тайге знаешь как ходить? Где буревал, где болото. Хорошо, если кочкарь, а то окна да чарусы. Слышу, совсем близко воет, а все еще никого не вижу. На два шага подошел и увидел: под корой ³ человек лежит. Окликаю его, он не отвечает, только воет... Наклонился над ним — не могу понять, кто. Одежда вся порванная, лицо грязное, ободранное, глазами смотрит, но ничего не понимает. Тронул я его за плечо, он меня как схватит!.. Думал, душить начнет. Но куда там! Взял я его за руку, а в ней вовсе силы нет. «Чего с тобой?» - спрашиваю. Услышал он человеческие слова и опамятовался, бормотать стал.

И опять понять его невозможно, потому что по-татарски. Только тут я догадался, что то татарин Микентий (коли не считать Ерпана, он у нас на всю тайгу лучший охотник был). Назвал его по имени. Он обрадовался. «Да,— говорит,— мой — Микеша!.. Только моя шибко худо, моя подыхает... Вода дай!..» — Вода недалеко, но в чем ее принести? Кроме картуза, ничего нет. Три раза с картузом бегал, потом догадался: снял рубаху, намочил, принес ее и ему в рот отжал. Тут он вроде совсем в себя пришел, говорит: «Моя глаза потерял». Пригляделся я и вижу: глаза у него

ровно шалые, бегают по-чудному. Махнул перед ним рукой — не моргнул. «Как же ты,— спрашиваю,— ослеп?» — «Ваш Лаврушка нам такой спирт давал: как моя выпил, худо стало... Шибко худо! Сразу голова потемнел, потом глаз не стало...» Попробовал я его поднять, чтобы повести, он встать не может. Тогда я другое надумал. Говорю: «Я сюда Ерпана приведу». Сказал так потому, что Ерпан со всеми татарами, особенно с Микентием, дружил, даже разговаривать по-татарски умел. Микентий обдумал и говорит: «Ерпан — самый хорош человек, только пускай не ходит. Моя ничего не надо, моя все одно подыхай. Моя сам виноват: пьяница был».

Взяв кочережку, Ванька сгреб в кучу рассыпавшиеся головешки и жар и подкинул сверху три новых полена. Походило на то, что он не хотел продолжать рассказ.

— Дальше что было? — взволнованно спросил завбиб.

— Как он сказал, так и было... Помер он... Я, конечно, его не послушал, побежал за Ерпаном. Пока Ерпан за лошадьё ходил, пока ехали, пока Микентия до телеги на волокуше тащили, он уже обмирать стал. Привезли в юрт он говорить уже не мог, в ту же ночь и помер... Оказалось, в тайге трое суток лежал, четвертые шли, когда я его на-шел. И не один он помер: Лаврушка в тот раз еще двух татар отравил. Только те до юрта доехали и там померли. Ну, а Микентий не утерпел, не доходя юрта, в тайге чуть не всю бутылку выпил...

— Кто такой Лаврушка? — поинтересовался завбиб.

— Мужик наш погостовский. Подлее и скупее его у нас никого не было. Все в купцы лез... До войны для нелюдненского торговца меха всякие за водку выменивал, народ спаивал. В войну водку запретили, так они где-то спирт-денатур добывать наловчились, а в семнадцатом году, когда и того не стало, три ведра древесного спирта привезли и по бутылкам разлили. А спирт этот вовсе ядовитый: от него кто сразу помирает, кто наперед слепнет.

— Лаврентия судили? Что ему было? — озабоченно спросил завбиб.

— Кто бы его судить стал? В волостном правлении у него кругом кумовья да шабры — эсеры да энесы всякие. Стали бы они за татар заступаться! Они в ту пору насчет войны до победного конца глотки драли.

Безнаказанность отравителя глубоко возмутила завбиба.

— Расстрелять его нужно было! — не задумываясь, определил он меру наказания.

— Кто бы это сделал... Сам-то ты расстрелял бы?

— Расстрелял бы!

— Вгорячах или подумав?

— Всяко.

— Это ты сейчас говоришь, а завтра, по светлону, небось раздумал бы! Я тебя знаю. Помнишь, когда я сказал, что Герасиму вместо Муму барыню утопить следовало, тебе той барыни, ух ты, как жалко стало!

Ванькина памятьливость удивила завбиба, но он вышел из положения, сказав, что человека с собакой равнять нечего.

— А Лаврентия, говоришь, и, подумав, расстрелял бы?

Под пристальным взглядом Ваньки завбиб заколебался.

— Конечно, убивать, безоружного, без суда...

— Безоружного? Да у него всегда ружье на человека заряжено было — в одном стволе жакан, в другом — картечь... А три ведра спирта-древесника, что это тебе, не оружие? Хуже Кощея Бессмертного злодей был! Оставь его в живых, он еще двадцать человек за беличьи хвосты или за медвежью шкуру отравит.

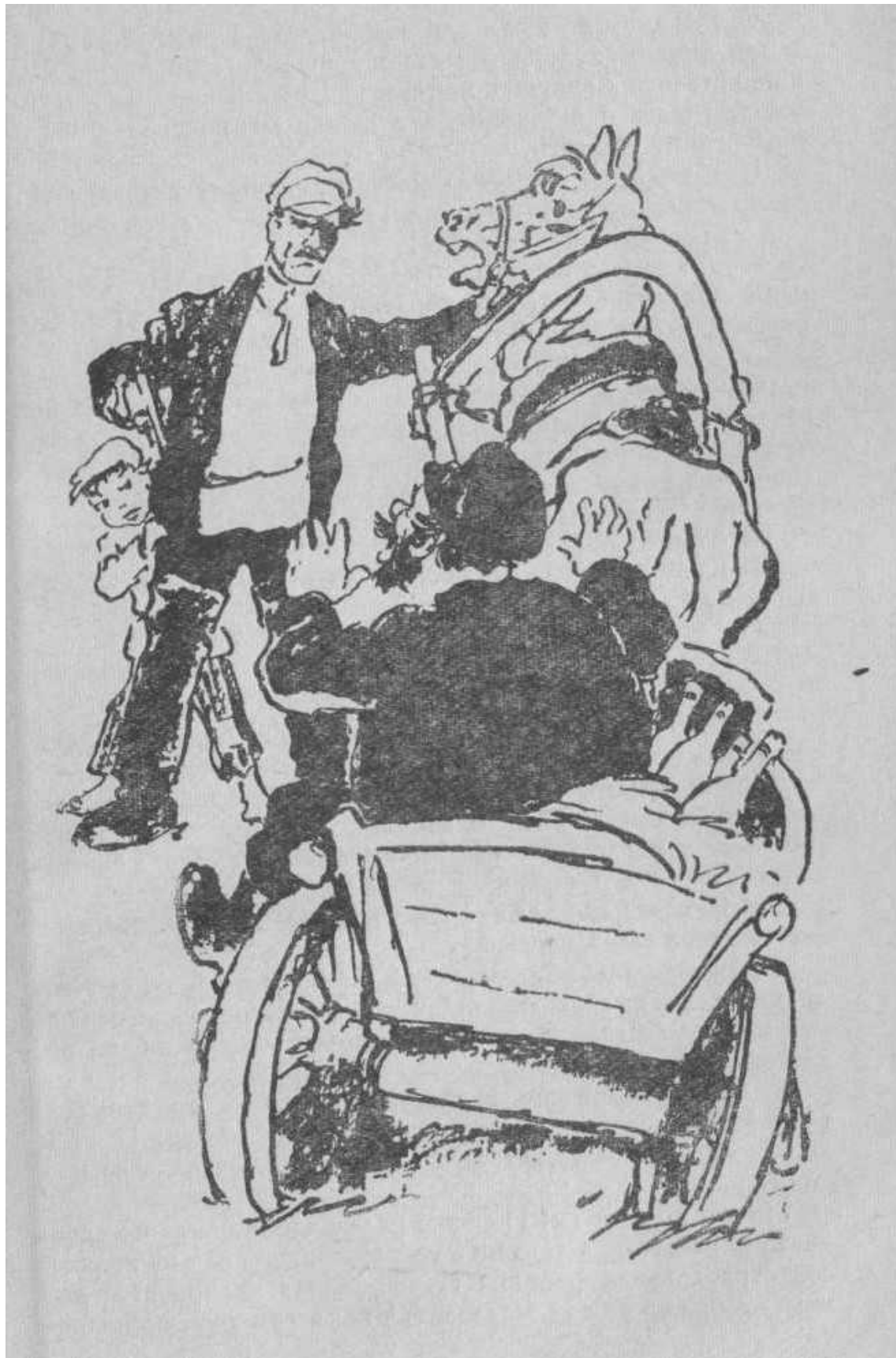
Перед суровой Ванькиной логикой гуманизм завбиба выглядел беспомощно и, говоря по правде, даже слюняво. И все же он попробовал вывернуться еще раз.

— При Советской власти, конечно, судили его?

— Советская власть его, гниду, враз раздавила бы. Только не дожил он до нее. Ерпан ждать не стал.

— Что он сделал?

— Сам его казнил. Застиг Лаврентия, когда он из Нелюдного с товарами ехал, ухватил лошадь под уздцы и наган на него наставил. «Слезай,— говорит,— приехал! Зайдем в лесок, мне с тобой малость потолковать надобно».



Тот сразу понял. Свалился с телеги и давай на коленях перед Ерпаном по пыли елозить. Только Ерпан его враз с земли пинком поднял и заставил впереди себя идти... Ох» и не хотелось Лаврушке помирать! Шел, как пьяный: ступ-нет три шага и остановится, а Ерпан его подгоняет, наганом в спину ширяет...

Необычайная обстоятельность Ванькиного рассказа навела завбиба на жуткую догадку.

— Ты сам при этом был?!

— До самого конца не был... Ерпан не велел. Послал меня Лаврентьеву телегу обратно на Нелюдное гнать, а потом в тайгу завернуть. Верстах в двадцати от того места, где он Лаврушку подстерег, была гарь большая, так туда... С этим я ладно управился: телегу только через три недели нашли. Лошадь, понятно, волки зарезали, ну а что на возу было — все целехонько осталось. Ружье Лаврентьево у него прямо под рукой лежало. Только он ухватить его не успел, Ерпан опередил.

— Самого Лаврентия нашли?

— Куда там! Ерпан далеко завел. Да и не больно-то его искали...

6.

Должно быть, потому, что картошка сильно подгорела, ели ее без особого аппетита.

Ванька после ужина заснул сразу и добросовестно, но на завбиба напала злая бессонница. Цигарок десять выкурил — не помогло. Одиннадцатую скрутил, глядь, а прикурить не от чего. Пошарил в печи — ни одного уголька. За Ванькиным рассказом печь упустили, не закрыли вовремя, и весь жар в пепел перегорел.

Пришлось завбибу одеваться. Сунул ноги в теплые валенки (они на табуретке рядом с печкой стояли), и всякий сон прошел. Накинув стеганку, направился завбиб по ротам огня искать.

Разжился парой спичек, затеплил коптилку и за стол сел. На столе, словно нарочно, чистая бумага лежит. Взял и вывел на ней глазастый заголовок: «Баллада о древесном спирте».

Но вот поди ж ты! И сюжет налицо, и творческого вдохновения избыток, а дело ни с места! Запущенная на полный ход стиходельная фабрика густо дымила махорочным дымом, но продукции не выдавала. Часа в три ночи пришлось нерентабельное предприятие закрыть, а отходы несостоявшегося производства сжечь. Заодно полетела в печку «Баллада о розовом снеге».

Укладываясь на свое жесткое ложе, завбиб посмотрел на Ваньку. Тот спал, дыша спокойно и ровно. По-детски круглое лицо его казалось веселым и очень добрым.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

О ТОМ, КАК ВАНЬКА ВСТУПИЛ В КОМСОМОЛ, А ЗАВБИБ ИЗБАВИЛСЯ ОТ ЗИЯЮЩЕЙ КАВЕРНЫ И БЕЗДУМНОЙ ТОСКИ

1.

День за днем идет-катится тыловая военная жизнь. За строевыми занятиями, трудом, политчасами, клубными вечерами незаметно подходит к концу долгая северная зима, Вот уже и весна на носу.

Не очень-то приглядиста ранняя архангельская весна с частыми мокрыми снегопадами, пронизывающими ветрами и возвратами морозов, но Ваньке такое не в диковину не из Африки родом. Тоскует он по другой причине: уже март на исходе, а комиссар полка Сидоров все еще не узнал адреса своего однофамильца — бывшего Ванькиного учите ля Петра Федоровича.

На частые Ванькины вопросы у комиссара один ответ:

— Обожди маленько, такие дела быстро не делаются.

Скажет так и сейчас же разговор на другое переведет.

После одного посещения военкомовского кабинета вернулся Ванька в библиотеку злющий-презлющий и пожаловался завбибу:

— Военком опять нитки мотает: обещал в самом скором времени адрес Петра Федоровича сыскать, а теперь то тем, то другим отбредивается. Я ему про Петра Федоровича, а он вместо того мне новые ботинки, гимнастерку и шлем посулил. На хрен мне сдалась эта его амуниция?.. Видать, он меня отпустить не хочет.

В сердцах Ванька выражался крайне грубо, но была в его словах доля правды. Военком и впрямь не хотел отпустить его из полка, хотя и по причине самой уважительной.

Уже три месяца, если не больше, лежал в его секретном ящике ответ ПУРа на посланный вопрос, в котором черным по белому было написано, что военкомдив Сидоров Петр Федорович после участия во многих сражениях с деникинцами и врангелевцами был отчислен от службы в Красной Армии по тяжелой и неизлечимой болезни — туберкулезу легких и отбыл в свой родной город. Видимо, в ПУРе Петра Федоровича хорошо знали: был указан даже город, куда он выбыл.

Посылать Ваньку к умирающему от чахотки человеку военком полка считал бессмысленным, даже вредным, и, положившись на целительную силу времени, утаил от Ваньки горькую истину: авось парень втянется в военную жизнь.

Расчет был правильный. Но когда завбиб по долгу воспитателя передал военкому Ванькины слова (он, разумеется, постарался, насколько было возможно, их смягчить), стало ясно, что «крутить нитки» дальше не приходится. Но что придумать, чтобы удержать мятущегося паренька?

В поисках выхода из положения комиссар полка пересмотрел Ванькины документации и в графе «год рождения» наткнулся на цифру «1905». Проверив месяцы, он с точностью выяснил, что Ваньке недавно перевалило за шестнадцать лет. Лицо военкома сразу прояснилось. Срочно вызвав по телефону отсекра и комсорга полка, он одновременно настропалил «электрический чертомет» за Ванькой.

— «Уж не пришла ли долгожданная весть о Петре Федоровиче?»

Подгоняемый таким предположением, Ванька с грохотом сбежал по лестнице и добрался до комиссарского кабинета быстрее всякого «чертомета». Но речь зашла не о Петре Федоровиче, а о самом Ваньке.

Кроме военкома в кабинете оказались почему-то его заместитель, отсекар и комсорг полка. Всех их Ванька отлично знал, как постоянных посетителей библиотеки, но на этот раз его поразила торжественность обстановки.

— Знаете ли вы, товарищи, этого товарища? — спросил военком Сидоров присутствующих, показывая на Ваньку.

Оказалось, что Ванька прекрасно всем знаком. Тем не менее военком пояснил:

— Рекомендую его вашему вниманию как храброго сибирского партизана и сына крестьянина-красногвардейца, погибшего на гражданской войне. Недавно Перекрестову Ивану Киприановичу исполнилось полных шестнадцать лет. Будут ли у присутствующих какие-либо к нему вопросы?

Ваньку никто никогда не называл полным именем да еще по отчеству! От такой великой почести у него дух захватило.

Вопрос нашелся у комсорга. Встав, он откашлялся и очень торжественно спросил:

— Имею к Ивану Киприановичу товарищу Перекрестову один вопрос: как он относится к Коммунистическому Союзу Молодежи?

Сметка сразу подсказала Ваньке, что вопрос задан неспроста, а по серьезным политическим соображениям. Правда, он прозвучал неуклюже, но не в форме дело. Ответил Ванька быстро и очень отчетливо:

— Очень даже хорошо отношусь! Если бы я, к примеру, стал комсомольцем, все задания выполнял бы... Ух ты, чего делал бы! Еще не знаю— чего, а уж наворочал бы!

Великое дело искренность! Никто из четверых присутствующих не усомнился и не придрался к слову. Все поняли, что под «не знаю что» подразумевались хорошие поступки и подвиги, а двусмысленный глагол «наворочать» истолковали в позитивном его значении.

— Тогда тебе нужно как следует ознакомиться с уставом и программой НКСМ,— потребовал комсорг.

— Два раза читал, а потом самое главное еще раз перечитывал. Если своими словами, все рассказать могу...

После такого сообщения дальнейшая беседа становилась излишней.

— Тогда пиши заявление о приеме в ряды комсомола. Сегодня же рассмотрим на собрании.

— А после собрания прямо ко мне зайдешь,— добавил военком.— У меня важное дело до тебя есть.

2.

Короткая, но нелегкая и достаточно бурная Ванькина биография напрямки вела его в комсомол, но только один военком Сидоров догадался подстеречь день его шестнадцатилетия.

Когда сияющий от пережитого счастья и волнения Ванька переступил порог кабинета, военком встретил его торжественно: встал и пожал руку.

— Поздравляю тебя, товарищ Перекрестов!.. Садись. Хочу с тобой серьезно потолковать, как большевик с комсомольцем.

Военком Сидоров никогда за словом в карман не лазил, но на этот раз под настороженным и внимательным Ванькиным взглядом сделал долгую паузу. Начал с поучения.

— Если ты, Иван Перекрестов, в ряды комсомола вступил, обязан мужественным быть и правде прямо в лицо смотреть, какое бы у нее лицо ни было...

По серьезному, даже грустному тону комиссара Ванька понял, что ему предстоит выслушать какую-то очень суровую, может быть, страшную правду. Однако ответил твердо:

— Это я понимаю, товарищ военком полка!

— На вот, прочитай, что мне из ПУРа на мое письмо ответили.

Начал Ванька ответ из ПУРа читать, прочитал три строчки, и глаза вроде пелена застлала: буквы то сливаются, то врозь разбегаются, а то и вовсе пропадают.

Протер глаза, от этого вроде полегчало. Только когда дошел до «неизлечимой болезни», письмо у него из рук выпало... Нагнулся, поднял и через силу до конца дочитал.

— Разумеешь теперь, почему я «нитки мотал»? — спросил военком.

— Все разумею... — с болью в сердце негромко ответил Ванька.

Он действительно все понял. Однако от мысли, что Петра Федоровича, может быть, уже в живых нет, у него клубок к горлу подступил. Возможно, и заплакал бы, если бы вовремя не вспомнил: Петр Федорович никогда плакать не велел. Пересилил себя, сопнул носом и сказал:

— Выходит, больной воевал... Он еще в ту пору, когда у нас на Горелом погосте в ссылке жил, кашлял. Тятка и Ерпан все беспокоились — не чахотка ли у него... Только не может быть того, чтобы Петр Федорович так просто помер!

— Настоящие большевики «просто» не умирают, — ответил комиссар. — Написано же: «после участия во многих сражениях»... Большевики умирают, когда бессмертное дело сделают — кому какое по силам. Петр Федорович и твой отец свое дело сделали, теперь наша с тобой очередь: сперва моя, потом твоя. Петр Федорович тебя учил — на свое место готовил! Он рад был бы, если бы знал, что ты в комсомол вступил.

Крепко заставили Ваньку такие слова задуматься. Почти до самой библиотеки с этой думой дошел, потом снова к военкому вернулся.

— Можно, товарищ военком?

— Чего еще надумал?

— Письмо в тот город Петру Федоровичу написать хочу.

Собрался было комиссар сказать, что Ванька напрасное дело затевает, но язык не повернулся.

— Напиши...

Ванька рад, что в комсомол вступил, и невдомек ему, что тем самым поставил он автора в довольно-таки затруднительное положение.

— Позвольте, какой же теперь он «Ванька»? — возмутится иной поборник литературной вежливости. — Не кажется ли вам, товарищ писатель, что, употребляя уничижительную форму имени, вы тем самым обижаете своего героя и снижаете его образ? Больше того, вы культивируете неуважение к человеку, к советскому человеку, так сказать, к человеку с большой буквы?

Гм... Обвинение, что и говорить, серьезное! Тем более, что ревнителей показной галантерейно-парфюмерной респектабельности развелось великое множество. Это они, черт их дери, стоя в очередях, подменяют слово «последний» словом «крайний». Это они, сидя в редакциях,

вымарывают из авторских рукописей слова, снабженные в Ушаковском словаре примечаниями «разг», «обл», «жарг», «устар» и «вульг». Это они объявляют «нелитературным» и зазорным такое выразительное, звучное, а следовательно, хорошее, даже необходимое слово, как «дурак». (Возможно, впрочем, их нетерпимость к этому слову диктуется соображениями сугубо личного порядка.)

Не так давно автор, беседуя с трехлетним гражданином, назвал его Сережкой. Нужно было видеть, как обиделась его бабушка!

— Разве можно так выражаться? Он у нас не Сережка, а Се-ре-женька! Он у нас Сергей Юрьевич! Он у нас хороший-расхороший-прехороший! Он у нас вежливый-пре-вежливый-развежливый!

И невдомек этой бабушке, что через четыре года, когда ее Сереженька пойдет в школу, приятели по классу обязательно будут звать его Сережкой, и не слышит она того, что развежливый-превежливый внук непочтительно зовет ее «бабкой».

И все же автор предвидит, что со временем герой его повествования обязательно превратится сначала в Ивана Перекрестова, а потом и в Ивана Киприановича. Но пока (автор это твердо решил!) пусть герой его остается Ванькой. Ну, а потом... потом посмотрим... Все будет зависеть от его поведения.

3.

По позднему вечернему времени завбиб сидит у печки один и стихи сочиняет. По тому, как нижнюю губу отвесил и лоб наморщил, сразу можно понять, что лира его настроена на густо-минорный лад. Последняя написанная им строфа выглядит так:

Я утомлен погодой скверной,
Всю даль закрыли облака.
В душе зияющей каверной
Скулит бездумная тоска.

Столь мрачный пессимизм молодого поэта объяснялся не так скверной погодой, как нагоняем, полученным от военкома. Завбиб только что решил последовать примеру Ваньки и подать заявление о приеме в ряды комсомола, как над его кудрявой головой грянул гром.

И из-за чего бы, вы думали? Из-за закона об едином сельскохозяйственном налоге!

Получив в политотделе бригады полсотню брошюр с текстом закона,

ставшего вехой в истории революции, завбиб, никому не сказав о том ни полслова, поставил все экземпляры на полку с политэкономией. Сделал так потому, что, наспех просмотрев брошюру, нашел ее малость скучноватой...

Между тем в библиотеку народ валом повалил.

— Правда ли, что продразверстку отменили? Где об этом написано?

— Ничего об отмене продразверстки не знаю,— правдиво отвечивал завбиб.

— Говорят, новое постановление о крестьянах есть?

Завбиб в ответ:

— Никакого постановления не получал...

Всех политруков военком созвал на какое-то экстренное совещание, и тут же от него запыхавшийся «электрический чертомет» прилетел.

— Даешь военкому книгу об этом самом!.. Где насчет хлеба написано!

— Нет у меня такой книги!

Только собрался к военкому идти выяснить причину переполоха, военком сам в библиотеку появился. Завбиб рта разинуть не успел, а он уже у полок стоит, по рядам книг шарит.

— Куда ты, саботажник, окунуть тебя в бром, йод и перекись водорода, закон спрятал?

— Какой закон?

— Об едином сельхозналоге. Ты его сегодня получить должен был...

— Ах, этот... Я его поставил на место, в третий отдел.

— В третий?! Я вот тебе покажу, как советские законы на третье место ставить!

— Я по правилам классификации...

— А я вот по правилам революции тебя в порошок сотру! Где закон?!

Кончилось тем, что военком, забрав тридцать брошюр, начал сам раздавать их политсоставу полка.

Суматоха быстро улеглась, но военком не успокоился. «Зарядив» политсостав, он вернулся в библиотеку для продолжения начатого досконального разговора.

— Понимаешь ли ты, слепорылый интеллигент, что этот новый закон значит? Вся РСФСР на новые рельсы переходит, смычка рабочего класса с крестьянством укрепляется, а ты ее в третий отдел запрягал! Культпросвет несознательный! Вот загоню тебя в твое Китежское озеро я сиди там вместе с лягушками!

То, что военком Сидоров ругался, в сущности было хорошим признаком. Вместе с тем и сам завбиб начал понимать, что, недооценив важность нового закона, он допустил оплошность, походившую на грубую

политическую ошибку. Но уж очень его возмутили такие выражения, как «слепорылый интеллигент» и «несознательный культпросвет»!

— Может быть, я и ошибся, товарищ военком, но ругать себя так не позволю! Я требую, чтобы вы извинились! И если еще раз...

— Что ты тогда сделаешь?

— Застрелюсь! — срывающимся голосом заявил завбиб.

Военком на секунду опешил, но сейчас же разразился новым приступом гнева.

— Я тебе застрелюсь! Вот получишь пять суток гауптвахты, раздумаешь такие глупости говорить. Ты эти мелкобуржуйские замашки брось! Ишь, чем пугать вздумал!.. Начальник я тебе или нет?

— Начальник, но...

Договорить завбиб не успел.

— Если я начальник, то приказываю тебе весь закон о сельхозналоге на зубок выучить. И чтобы ты знал все, что Ленин о смычке говорил!.. «Слепорылого интеллигента» я, уж так и быть, обратно возьму, а «несознательного культпросвета» при себе оставь, пока политической грамотности не поднимешь.

Весь этот разговор военком и завбиб вели наедине, но завбиб, трезво рассудив, пришел к заключению, что подавать заявление о приеме в комсомол после тяжелого случая с законом было бы по меньшей мере несвоевременно... От-того-то и напала на него бездумная тоска и разъела его душу зияющая каверна...

4.

Может, и дальше продолжал бы чудить завбиб, но помешал тому приход Ваньки.

— Слышь, завбиб! Мы нынче на комсомольском собрании закон о едином сельхозналоге прорабатывали. Ух ты, как обмозговано! Чтобы крестьяне заодно с рабочими были и чтобы с хлебом порядок был...

— Я читал этот закон,— ответил завбиб (он и впрямь после ухода военкома внимательно прочитал брошюру).

— Как ты думаешь, скоро станет так, чтобы хлеба всем хватало? Ох, и много на это трудов положить нужно!..

— Когда карточки отменяют, тогда и хлеба будет много.

Такое сказать можно было только не подумав!

— Вот и врешь, завбиб! Не в карточках дело. Нужно, чтобы крестьяне хлеб сеяли, а для этого налог по справедливости установить.

Нелепый минутный спор разгорелся, в сущности, из-за разного

понимания короткого, но очень емкого слова «хлеб». В представлении завбиба слово «хлеб» обозначало булку, каравай, ковригу или даже просто хлебную карточку. Ваньке же хлеб рисовался в виде тучных нив, тяжелых снопов, высоких куч обмолоченного зерна, маршрутных составов. К чести завбиба, он первый понял, в чем дело: Ванька рассуждал как производственник, он же — как потребитель, один из семерых с ложкой. Уразумев это, завбиб сердито буркнул:

— Вот интеллигент слепорылый!

Слух у Ваньки был отменный, но он не сразу поверил услышанному.

— Чего?

— Ничего! — спохватился завбиб. (Не мог же он объяснить Ваньке, что отпустил такие слова по собственному адресу!)

— Если «ничего», то зря не бурбуй! За такие слова получить сдачи можешь... Сам ты слепорылый интеллигент!

Только этого не доставало! Сначала военком, потом на добавку — Ванька.

— Я не про тебя это сказал, — поторопился оправдаться завбиб.

— Посмел бы про меня!.. А про кого?

— Про одного остолопа... Про того самого, который сосновое топориче к топору прилаживал.

Тут Ванька сразу успокоился.

— Этот точно слепорылый интеллигент, язви его в печенку!

Так и вывернулся завбиб, подставив под удары Ванькиной критики выдуманное чучело.

Сказав еще несколько сильных слов по адресу автора соснового топорича, Ванька перевел разговор на другую тему.

— Объясни мне, завбиб, одну штуковину... Взял я вон ту книгу и прочитал в ней историю — сказку не сказку, а вроде того.. Когда-то, давно, не то в Америке, не то еще где жил мужик по фамилии Герострат И прославился этот Герострат тем, что церковь сжег. Тот, кто книгу писал, над ним смеется, только, я думаю, правильно ли это? Может, Герострат этот самый с религиозным опиумом воевал?

Первый раз за весь достопамятный для него день завбиб получил возможность блеснуть эрудицией в области гуманитарных наук! И он блеснул, обстоятельно изложив Ваньке поучительную историю гибели — одного из семи чудес света — храма богини Артемиды в славном древнегреческом городе Ефесе.

— Значит, Герострат вовсе не с попами воевал, а спалил хорошее здание, чтобы перед людьми отличиться? Вон оказывается, когда еще славу

выдумали!.. Выходит, что Герострат этот хотя и дурак, но хитрый. Вот, шпана, что устроил: тех, кто храм строил, вовсе забыли, а его, сволочь, помнят! Жаль, в Ефесе губчека не было...

Очень Ванька на Герострата рассердился! Разрушение гениального создания ради личной славы показалось ему гнуснее и подлее всякого убийства.

— Может, Герострат вовсе сумасшедший был?

— Ничуть! Как видишь, он своей цели достиг — прославился. Сколько веков с тех пор прошло, а мы вот сидим и о нем разговариваем.

— Хорош разговор! Мы ж его ругаем...

— Ему это все равно, лишь бы о нем вечно помнили.

— Выходит, что он все человечество обдурил... Слышь, завбиб, а правда это? Может, вовсе никогда никакого храма, никакого Герострата не было?

— Этого никто не знает, но предание сохранилось.

— Как понять — предание? Вроде сказки?

— Сказка — выдумка, предание может быть и правдой

— Если сказка про зверей — выдумка, а если про людей — всегда правда! — решительно возразил Ванька.

Сам завбиб высоко ценил мудрое искусство фантазеров-сказителей, но после такого категорического Ванькиного утверждения счел нужным подойти к сказкам с позиции воинствующего материализма.

— Разве ты веришь в волшебство? — спросил он.

— Это только кажется, что волшебство. Если сказку понять, в ней все правда! Помню, покойный тятка мне сказку про разбойника Голована рассказывал, про то, как он из царской тюрьмы убежал, так в ней все правдой обернулось: будто не про Голована, а про Петра Федоровича сложено

— И про Кощея Бессмертного, скажешь, тоже правда?

Задавая такой вопрос, завбиб заранее торжествовал победу. Длинная сказка про Кощея, слышанная обоими, была искусно соткана из сотни эпизодов, один другого фантастичнее и волшебнее.

— А то нет-

Ванька возразил всерьез.

— Ты... в существование Кощея веришь?

— Верю! А если ты не веришь, значит, сказки не понял. Кощей Бессмертный — это капитализм. Зови его хоть Кощеем, хоть Акулой, хоть Гидрой, а он как был капитализмом, так им и остается. И оставаться ему бессмертным до тех пор, пока Иван Крестьянский сын его смерть сыщет!



Сказано это было с таким убеждением, что завбибу пригрезилось, будто стоит перед ним не его приятель и помощник по культпросветработе Ванька Перекрестов, а вышедший из сказки Иван Крестьянский сын.

В том и другом случае волшебство творилось наяву. И, поддавшись ему, сам завбиб задал вовсе сказочный вопрос:

— Где же, Иван Крестьянский сын, твои железные ботинки?

— В полковой кузнице кузнецы куют... Слышь, завбиб, ты этим делом не шути: все семь пар изношу, а Кощееву смерть достану! Он Бессмертный, а я его переживу!

Глянул завбиб в сторону — стоит перед ним, вытянувшись во весь могучий рост, библиотечная печь, глянул снова прямо перед собой — перед ним как ни в чем не бывало сидит, улыбаясь, стриженная головушка — Ванька Перекрестов.

— Понял теперь, завбиб, сказку про Кощея?

Многое, очень многое понял за тот день завбиб.

Однако самое смешное случилось поздним вечером, когда уже спать укладывались. Подобрал Ванька с пола какую-то бумажку, поднес к раскрытому зеву печи и начал при свете пляшущего пламени ее читать. Читал-читал, потом завбиба окликнул:

— Завбиб, а завбиб!.. Здесь чего-то твоей рукой написано, а чего — не разберу: про зияющую каверну и еще про тоску бездумную. Что такое каверна?

На этот раз завбиб оказался догадлив.

— Брось эту бумажку скорее в огонь, она заразная!

Ванька приказание выполнил, однако сказал:

— Хороший ты парень, завбиб. только много бумаги зря портишь. И еще... Когда стихи пишешь, очень уж много о себе думаешь...

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

ПИСЬМО ИЗДАЛЕКА. ВАНЬКА УВЛЕКАЕТСЯ АСТРОНОМИЕЙ, А ПОТОМ СТАНОВИТСЯ АРТИСТКОЙ

1.

Наконец-то весна-красна припожаловала! Хоть и далеко лететь от Черного до Белого моря, поспела в положенный срок и, не теряя времени, взялась за удалые дела: сорвала с полей белую шубу, разломала лед на реках, рассеяла туманы, прогнала дальше на север шумные стаи перелетных птиц.

Веселый весенний ветер сквозь гул ледохода и грачиный грай свисток донес. То паровоз о своем прибытии архангельцев известил.

— Гей вы, люди добрые, привез я вам хорошие вести про великие дела!

На палубе перевозного парохода «Москва» тюки с почтой сложены. Глядишь, часа через три попадут в руки завбиба свежие газеты и журналы, разойдутся письма по ротам и командам. Письмо из дома или от невесты для бойца — не на один день радость! Кто-нибудь получил, другие ходят вокруг связиста и завидуют.

— А мне нет?

— Тебе еще только пишут.

Шутник связист затеял было Ваньку разыграть.

— Тебе письмо пришло!

Даже побледнел Ванька.

— Где оно?

Связист письмом помахивает, но в руки не дает.

— Спляши сначала, тогда получишь!

Когда-то можно над человеком смеяться, когда-то нельзя! Ванька так решительно шагнул к связисту, что тот от него попятился.

— Ишь ты, злой какой!

Ванька вовсе не злой, но письмо ему может прийти от одного человека — от Петра Федоровича, а здесь шутки не к месту. Однако, глянув на конверт, Ванька сначала не узнал знакомого твердого и уверенного почерка. Только присмотревшись, увидел, что буквы прежние, лишь написаны так, будто Петр Федорович, куда-то очень торопился...

Не стал Ванька при людях читать, спрятался для этого в закоулок между книжными полками.

Было письмо Петра Федоровича не очень длинное, но оказалось, что и в немногих словах много сказать можно.

«Дорогой мой Иванушка!

С большой радостью прочитал твою весточку. Много у меня учеников было, но ты один из самых любимых. Очень хорошо помню тебя, Иванушка! Не только тебя самого, но и все твои проказы помню: и как ты к Шайтану в конуру лазил, и как на кладбище бегал звонаря ловить, и как на планомоне летал, и как пресню устраивал — все помню! Озорничать я теперь тебе не советую, но веселости не теряй. Многих я людей видел и знаю, что веселый парень десяти хлюпиков стоит.

Помнишь, Иванушка, как мы на берегу Негожи стояли, на летящих

гусей смотрели и им завидовали? Я-то уже отлетался, а тебе самое время крылья расправлять.

Не один раз я твое длинное письмо-сочинение прочитал и понял, что ты за эти годы многому научился и здорово поумнел. Видно, что твоя дружба с завбибом и с книгами тебе впрок пошла. И ваш полковой комиссар, судя по тому, что ты пишешь, хороший и умный большевик. Учись учись, учись, Иванушка! Иксов, игреков на всю твою жизнь хватит. Парень ты башковитый и все дороги перед тобой сейчас открыты, кем захочешь, тем и можешь стать: хочешь — инженером, хочешь — статистиком или экономистом, хочешь — астрономом. Только, кем бы ты ни стал, Иванушка, с ленинского пути не сходи. Будь хорошим комсомольцем, честным и смелым большевиком. Очень я на тебя надеюсь, Иванушка! Пишу тебе об этом потому, что увидеться нам с тобой не придется. И письмо это, наверное, последнее, с большим трудом его пишу. Только ты по этому поводу не сопи и нюни не распускай. Лучше возьми и реши какую-нибудь трудную-претрудную задачу или дело какое-нибудь хорошее сделай.

Целую тебя, Иванушка, крепко-крепко, как родного сына.

Твой учитель Петр Федорович.»

Раз десять Ванька письмо перечитал, пока наизусть не заучил, потом сложил аккуратно и спрятал в потайной карман гимнастерки вместе с мандатом и комсомольским билетом. И — удивительное дело! — несмотря на всю свою общительность, не обмолвился о том письме ни приятелю завбибу, ни самому комиссару, хотя и знал, что и тот и другой его одобряют. Сделал так по двум причинам: во-первых, потому, что в письме говорилось о вещах, которые только Петру Федоровичу да самому Ваньке были ведомы, во-вторых, побоялся того, что завбиб или военком начнут дополнять его всякими наставлениями, будто не было в нем все до конца сказано!

Чтобы нюни не распускать, начал Ванька по совету Петра Федоровича трудное-претрудное дело искать. Тут-то и вспомнил про упомянутую в письме астрономию — науку о небесных телах. Диву дался завбиб, когда увидел у Ваньки в руках «Астрономические вечера» Клейна и «Популярную астрономию» Фламариона.

В свое время завбиб с немалой пользой для себя прочитал эти книги, но к самой астрономии как науке, относился с холодным уважением, не без основания считая ее весьма и весьма трудной. Когда, осилив Клейна и Фламариона, Ванька извлек из пятого отдела случайно попавшую в

библиотеку серьезную астрономическую книгу, произошла заминка. Если завбиб мог объяснить ему с грехом пополам, что такое орбита, эклиптика, парсек и паралакс, то сложнейшие математические формулы оказались недоступными для него самого.

— А еще реалист! — попрекнул Ванька.

В ответ на это завбиб разъяснил, что кроме реальных училищ существуют такие храмы науки, как физико-математические факультеты и академии. Из слов завбиба вытекало, что высшая математика с ее аналитической геометрией, дифференциальными и интегральными исчислениями недоступна для огромного большинства смертных.

Такая попытка ограничить круг знаний возмутила Ваньку, но завбиб обезоружил его, приведя воистину разительный пример. В одной из книг вскользь упоминалось о некоем австрийском астрономе Теодоре фон Оппольцере, который в течение своей недолгой жизни издал двести сорок два больших тома математических вычислений, истратив на это десять миллионов цифр! А кто теперь помнит этого Оппольцера, кроме маленькой кучки астрономов-математи-ков? Правда, его друзья пытались в пустой след сделать для него нечто приятное, назвав по имени его... жены и двух дочерей три крохотных астероида, но самому Оппольцеру от этого, как говорится, не стало ни тепло, ни холодно. Чаша славы была торжественно пронесена мимо него!

Если бы Ванька не прочитал это собственными глазами, он ни за что не поверил бы, что подобное могло случиться.

— Шпану Герострата запомнили, а такого ученого вовсе позабыли!

Что можно было ответить негодующему Ваньке? Неисповедимы пути человеческой славы! Упомянув имя Теодора Оппольцера, автор (он сам не имеет отношения ни к математике, ни к астрономии) пытается хоть в какой-то мере исправить содеянную человечеством несправедливость. Ведь в годы работы Оппольцера не существовало не только электронно-счетных машин, но даже арифмометров. Можно представить себе, сколько пришлось бедняге затратить труда, чтобы заполнить цифрами двести сорок два тома большого формата!

— Что он считал-то? — деловито осведомился Ванька. — Года, тонны или звезды?

— Об этом ничего не сказано, — ответил завбиб. — Просто упомянуто: десять миллионов цифр.

Ванька наморщил лоб. Сам он всегда представлял себе цифры зрительно, осязаемо, обязательно материально. «Просто цифры», цифры абстрагированные, оторванные от материи, на его взгляд, права на

существование не имели.

Это малость его успокоило. Как бы то ни было, ознакомившись с популярной астрономией, он открыл нечто для него неизвестное. Что же касается философских Ванькиных суждений, то автор вовсе не собирается их оспаривать.

2.

Но астроном Оппольцер в XIX веке жил, пора автору вернуться в XX век, век Великих Перемен. Прежде всего он обязан рассказать о переменах, происшедших в Н-ском стрелковом полку. По условиям мирного времени старики ветераны двух войн постепенно по домам разъехались, на смену им молодежь пришла. Один из самых боевых политруков был назначен завклубом, и культпросветработа развернулась во всю ширь, тем более, что с пополнением прибыл еще один грамотей, годный на должность организатора кружков. Нашлись и артист-режиссер, и художник-декоратор. Неорганизованные ранее певцы и гармонисты превратились в ансамбль синемблужников. И, естественно, сейчас же возник вопрос о репертуаре.

Хотя «художественная часть» и перешла целиком в ведение художника, завбибу от того легче не стало. о и дело завклуб и военком с заказами прибегают.

— Даешь куплеты!

Хорошо, что жизнь не на месте стоит, а вперед идет, сама темы подбрасывает!

Начал драмкружок работать — на завбиба новая нагрузка легла. Не знал он того, не ведал, что заложены в него таланты расторопного помрежа и суфлера. Да что о завбибе, старом культпросветработнике говорить, если Ванька артисткой оказался!..

Не качай головой, читатель, никакой описки автор не сделал.

С самого начала выяснилось, что женские роли исполнять некому. Нашлась одна артистка-профессионалка, предложившая клубу свои услуги, но после досконального разговора с военкомом Сидоровым вылетела из его кабинета, как ошпаренная, с криком — «Вы не цените искусства!»

Это была неправда! Военком очень ценил искусство, но считал себя не вправе выдавать два полных красноармейских пайка за шесть выступлений в месяц.

Некоторые командиры были женаты, и их жены обладали желательной для «героинь» миловидностью, но ни одна из них никогда не готовилась, даже не помышляла об артистической деятельности. Еще можно было помириться с их северным окающим говором, неизмеримо хуже было то,

что все они (как правило, это случалось в самые патетические минуты) робели и переставали говорить совсем! Тщетно надрывался суфлер: вместе с даром речи артистка теряла и слух. Кончалось тем, что, окончательно растерявшись, она убегала за кулисы. Оставшийся на сцене герой не знал, что предпринять: продолжать объяснение с пустым стулом или спастись по проторенному партнершей пути. Возбуждая недоумение и жалость зрителей, он некоторое время топтался на месте и размахивал ненужными руками. Тем временем режиссер и его помощник — завбиб — разыскивали притаившуюся в темном уголке кулис горько плакавшую беглянку.

— В чем дело? Почему вы ушли со сцены?

— Оробела и ролю забыла!.. Он мне про свою любовь толкует, а у меня ровно ветром все из головы выдуло. Взяла и из прошлой пьесы ему ответила: «Спасибо, я уже пообедала».

Иногда артистку удавалось вернуть на сцену, но чаще всего опускался спасительный занавес. Из-за занавеса сейчас же появлялась голова режиссера и с наигранным оптимизмом вещала:

— Не раходитесь, товарищи! Сейчас выступит любимец публики боец второй роты балалаечник Ефим Тертый.

Балалаечник с настроенным инструментом оказывался тут как тут. Горький опыт выучил завклуба держать в запасе аварийные концертные номера.

Конечно, можно было надеяться, что со временем жены командиров обретут сценические навыки, но жди, когда это случится!

Но вот во время одной особенно неудачной репетиции, когда героиня сквозь слезы заявила решительное «не могу», доведенный до отчаяния режиссер увидел в двух шагах от себя полуребячью смышленную и не лишенную приятности физиономию Ваньки Перекрестова. В голове режиссера родилась гениальная, отчаянная до дерзости мысль.

— Ну-ка, Ваня, лезь сюда! Становись на ее место...

Ванька с быстротой молнии занял указанную позицию.

— Говори!.. Только не мне говори, а вот ему: «Если это произойдет, я взойду на эшафот вместе с тобой!»

Справляться, что за штука «эшафот», у Ваньки не было времени. Сразу войдя в роль, он решительно отчеканил:

— Если это самое случится, то я сию минуту вместе с тобой залезу на эшафот!

Его довольно густой тенорок прозвучал на весь зал. В чем-чем, а в Ванькиной сценической смелости сомневаться не приходилось! Сразу выяснилось и другое его драгоценное качество. Если он и переиначивал

кое-какие реплики, то роль в основном запоминал отлично.

Уже первый его дебют превратился в триумф драмкружка. Овация, прерывавшаяся возгласами «Даешь Ваньку!», продолжалась так долго, что Ваньке (он же Агнеса) пришлось выйти и раскланяться. Вышел на авансцену, придерживая рукой юбку, и к немалому удовольствию публики, отвесил ей уставной старообрядческий поклон.

Хотя и был Ванька для женских ролей малость широковат в плечах и излишне размашист в движениях, но это не помешало ему в рекордно короткий срок пройти всю лестницу сценических амплуа от «служанки» до «героини». Даже реверансы научился делать! Правда, приседал он с такой энергией, как будто собирался в следующую минуту сделать двухметровый прыжок вверх. Кончилось дело тем, что военком, расщедрившись, распорядился заготовить для Ваньки «гардероб»: платок, два платья и русский костюм из раскрашенной художником бязи.



О кратковременной артистической деятельности Ваньки не стоило бы даже вспоминать, если бы не одно обстоятельство. Но об этом обстоятельстве читатель узнает несколько позже. Сейчас же ему придется познакомиться с одной стародавней легендой.

ГЛАВА ПЯТАЯ ЛЕГЕНДА О ЗОЛОТОМ КОРАБЛЕ

1.

Сколько ни шарил автор по полкам доступных ему библиотек, он не нашел ничего, что придавало бы этой легенде если не документальность, то хотя бы некоторую достоверность. Возможно, что-нибудь похожее можно разыскать в журналах или архивах последней четверти прошлого века, но это уже дело историков торгового мореплавания. Автор передает легенду в том виде, в каком она дошла до Ванькиных ушей. Рассказал ее ему старый бородатый моряк, встреченный ранним утром у парапета набережной торгового порта.

Ванька и он остановились одновременно, чтобы полюбоваться большим иностранным судном, уходившим в море.

Зрелище того заслуживало. Стояло раннее солнечное, на редкость тихое утро, и Двина была, как никогда, спокойна. Глубоко осевший под грузом желтого пиленого леса пароход шел медленно, даже торжественно, сверкая в лучах солнца, как чистое золото. Зеркало спокойной реки отражало его, удваивая иллюзию. Ваньке вспомнилось, как пускал он по маленькой родной речке вытесанные из березовых поленьев игрушечные кораблики. По-видимому, что-то вспомнилось и старому матросу. После долгого созерцательного молчания он заговорил первым:

— Глянь-ко, паря, золотой корабль плывет!

Прошла пора, когда Ванька мечтал о серебряных и золотых кораблях!

— Корпус-то у него небось железный! — со знанием дела сказал он. — Это он от леса золотым кажется. И еще оттого, что вода под ним блестит.

Потом подумал и добавил:

— Золотых кораблей не бывает...

Сказал это Ванька не для того, чтобы убедить собеседника, а из желания обуздать собственную фантазию.

— Откуда ты знаешь, что не бывает? — очень серьезно, глянув из-под кудлатых бровей, спросил старик.

— Потому что золото для этого не годится: мягкое очень.

— А если я тебе скажу, что сам своими глазами Золотой корабль видел?

Походило на то, что старый моряк не шутил, но Ванька сразу не поддался.

— Где ты его видел?—недоверчиво спросил он.

— В немецком порту Гамбурге.

Название города придавало сообщению тень правдоподобия. Существование Гамбурга удостоверялось всеми картами Европы.

— Какой же это корабль был?

— Корабль, понятно, особенный... Только вот рассказывать про него долго...

— Это ничего! — поторопился заявить Ванька.

— Опять же про Золотой корабль я рассказываю с уговором, чтобы тот, кто слышал, все запомнил, потому что история эта не простая и людям нужная... Кабы я мог, книгу про нее написал бы...

Такое предисловие могло заинтересовать всякого, у Ваньки же от любопытства зашевелились уши. Дать обещание «все запомнить» было ему нетрудно. Чем-чем, а забывчивостью он никак не страдал.

— Что ж, коли станешь слушать, расскажу... Только со строгим условием: не перебивать чтобы. И вон к тому пакгаузу пойдем. Хотя он, по обстоятельствам времени, вовсе пустой, но я при нем вахту нести обязан.

Сели на бревне у открытых настежь дверей пустого пакгауза, и начал старик долгий рассказ.

— Во скольких я странах перебивал и сколько всяких народов пересмотрел— сказать невозможно, потому что сорок лет служил в торговом флоте. Военные моряки перед нами, торговыми, задаваться любят, только куда им против нас! Иной, бывало, весь срок отслужит, а дальше Толбухина маяка ничего не увидит. То ли адмиралы были ленивые, то ли царь корабли свои жалел, но они больше в гаванях да на рейдах отстаивались. Торговый флот, особенно пассажирский, — дело иное: у нас наперед расписано, когда в какой порт идти.

Уж не помню теперь, в каком году, при каком царе определили меня на новый пароход «Мария». Огромнейший корабль был и, не в похвальбу скажу, по тогдашнему времени наипервейший, потому что строили его денег не жалеючи. Хотели, вишь, англичанам и прочим народам нос утереть, что и мы не лыком шиты, не хуже других можем плавать по океанам. Плавать-то мы в самом деле умели, но вот по части корабельного строительства своей башки не хватало: и сам корабль, и машины, и всякое

штурманское оборудование тем же англичанам и немцам заказывали. И очень может быть, от этого приключилась беда.

Капитаном на «Марию» назначили Ивлева Павла Павловича. Ты это имя запомни: Ивлев Павел Павлович... Был этот Ивлев человек выдающийся, сам из елецких мужиков родом и через собственную свою могучую силу всю морскую науку от юнги до капитана дальнего следования прошел. Многие знаменитые капитаны на «Марию» зарились, но на тот случай справедливость одолела — назначили капитаном Павла Павловича, даром что он по наружности не очень чтобы представительен был: роста хотя и высокого, но по фигуре нескладный, к тому же рыжий. За рыжую бороду мы, матросы, его «Золотым» прозвали, а такое прозвище, парень, зря не дается. Другой всю жизнь проходил бы просто в «рыжих», а к нему дорогое слово приспособилось. И хоть был он человек доброты большой, но только хмурый какой-то и понуристый. Позже-то я узнал, что очень он через свою бабу мучился...

Сказывали, так у него получилось: поехал он в побывку к себе на родину в город Елец, там и женился на девчонке-кружевнице. Ему в ту пору уже за сорок перевалило, а ей шестнадцати не было. Он ее красотой прельстился, а ее под венец корысть повела... Привез он ее в Питер, обул, одел, поселил на барской квартире, у нее и пошла голова кругом. Ты еще парень молодой, тебе про бабий блуд знать не положено, так я тебе скажу только, что на нее не только дворяне и офицеры, а князья и графы зарились.

И догулялась она до недоброго. Незадолго до того, как Павла Павловича на «Марию» назначили, ей через полицию приказание градоначальника передали: в двадцать четыре часа из Питера убраться и ехать на жительство в Елец. Говорили, будто фрейлина императрицы жаловалась, что капитанша у нее мужа отбила... (Оно, конечно, можно было бы об этом вовсе не поминать, да впереди еще придется про капитанскую жену говорить.)

2.

Отплыли мы из Петербурга честь по чести. Наперед напутственный молебен служили, потом царский гимн в честь русского торгового флага играли. А сколько под этим самым флагом шампанского попито было да бокалов побито — не сосчитать! Народ в первом классе не просто ехал, а самая аристократия. В какую каюту ни ткни — либо князь, либо граф, либо генерал. Самое лучшее помещение какой-то великий князь занял. На другой день снова пили, а под утро опохмеляться пришлось... Даже тем, кто вовсе не пил. Возле шведских берегов наша «Мария» в тумане с

полного хода на каменную банку, на подводную, значит, гору напоролась. Я в тот час в своей каюте спал, но меня так потрянуло и мотнуло, что я из нее вылетел и, согласно судового расписания, еще до сигнала тревоги на своем посту у спасательной шлюпки оказался.

Огляделся и сразу понял, что «Мария» наша отплавалась: пяти минут не прошло, а уже явственно дифферент на нос и крен на правый борт обозначились. Уж лучше было бы, если б корабль вовсе на банку сел! А то нет,— ударился, получил пробоину и снова на свободную воду сошел. Через пробоину (она сразу два отсека захватила) вода в трюм бросилась. Чтобы ее напор ослабить, обратный ход дали и, конечно, помпы пустили. Но куда там! Полчаса не прошло, течь в машинном отделении и под котлами обнаружилась, пришлось вовсе пары спускать.

А кругом ничего не видно: туман такой, что за две сажени человека не различишь. Только так я тебе скажу: туман на море —горе, а когда люди туманеют —в сто раз горше!.. Что на палубе творилось, описать невозможно. Все классы, все наши пассажиры (их почти полтысячи было) в одну толпу смешались... Крики, плач, визг, ругань... Мужья—жен, матери —детей зовут... Тут еще сигнал бедствия. Сначала ревун ревел, потом, когда пару не стало, колокол звонить начал» Светопреставление и только! Очень много жертв получиться могло, если бы не Золотой капитан наш, Ивлев Павел Павлович. Трудно поверить, что один человек смог порядок навести, а он навел!..

Больше всего пассажиры первого класса волновались. Подходит к нашей шлюпке их гурьба целая. Все с чемоданами, с денщиками и лакеями. Впереди генерал какой-то, за ним великий князь. Генерал объясняет:

— Эта шлюпка предназначена для вашего императорского высочества и сопровождающих ваше высочество лиц.

А у меня (я в ту минуту за старшего оставался) совсем другое приказание было: помощник капитана приказ передал производить посадку женщин и детей. Отвечаю:

— Никак нет, ваше превосходительство! По приказанию капитана эта шлюпка предназначена для детей с матерями.

— Как «никак нет», мерзавец?! Ты знаешь, с кем разговариваешь?.. Я — свиты его величества!.. Я тебя в дугу согну!

Признаться, в ту пору оробел я маленько. Уж очень генерал из себя представительный — пудов на восемь весу, поверх орденов борода черная на две стороны расчесана. Прет на меня грудью, будто меня вовсе нет, и, между прочим, кулаком замахивается. И ударил бы обязательно, да с капитанского мостика, из тумана, словно гром, команда грянула:

— Приказываю чинам экипажа безотлучно быть на местах! Зачинщиков беспорядка удалять от спасательных судов!.. В случае самоуправства применять оружие!.. Мужчин, понеже погрузке детей и женщин препятствовать будут, не взирая на чины и звания, будь то сам бог Саваоф... за борт бросать!!!

Тут я и понял, что есть еще правда на свете!

То генерал на меня с кулаками пер, теперь я на него замахнулся... А здоров я в то время был, слава тебе боже! Подковы разгибал, узлы из кочережек вязал. К тому же за мной вся шлюпочная команда стенкой стала.

Генерал назад подался, однако от своего не отстал.

— Сейчас я покажу вашему капитану, как на чины и звания не взирать... Повешу!!!

Сказал так — и на капитанский мостик!

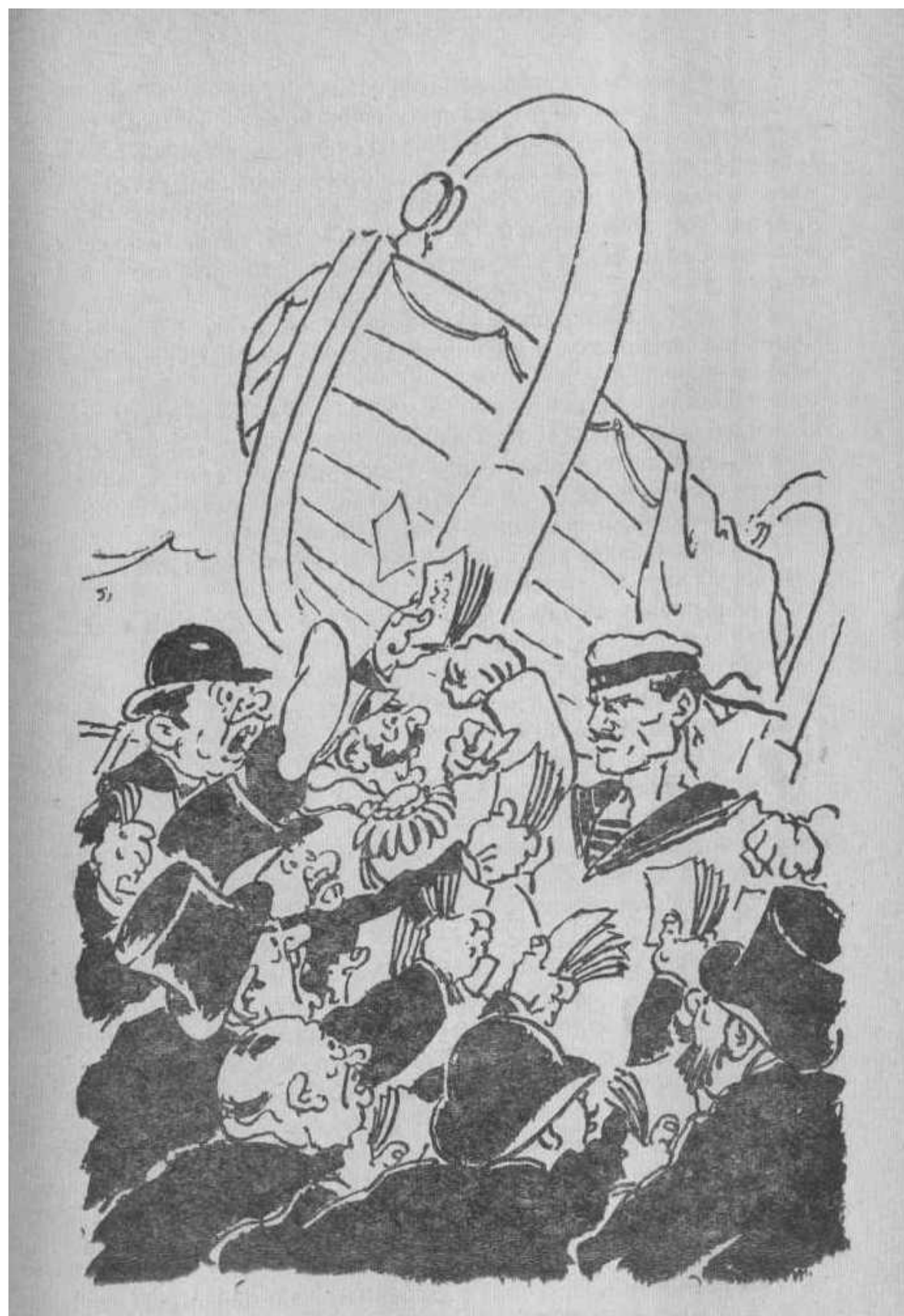
Туда поднимался борзо, спускался оттуда еще шибче. Только в другом виде: без фуражки, борода на один бок сворочена и морда в крови. Потом сигнальщик, который на мостике был, сказывал, что когда генерал на капитана кричать и махать руками стал, тот его револьвером по лицу ударил. А револьверы в ту пору были не такие, как сейчас — барабанные, а шестиствольные, фунтов по пять весом...

Возле другой шлюпки еще интересней разговор зашел. Один пассажир, тоже из первоклассных господ, торговлю затеял.

— Плачу, кричит, — за место в лодке сто рублей!

И пошли торговаться! Кто двести, кто триста, кто пятьсот сулит... До тысячи добрались и на том не остановились! Приспел к тому времени из второго класса купчина сибирский, золотопромышленник, враз всех перекрыл.

— Приобретаю эту лодку в полную собственность! Выкладываю пятьдесят тысяч наличными.



Тут и пошла между покупателями возня. Друг на друга насакивают, с ног сбивают, и каждый норовит ближе к шлюпке подобраться. Пробовал их первый помощник капитана урезонить, да что толку! Тогда ухватил он ведро пустое пожарное и начал по котелкам, цилиндрам и форменным фуражкам охаживать... Пособило!..

Все это мало к делу идет, можно б было и промолчать, да хочу я тебе, внучек, объяснить, как в беде каждый определяется и какой вред может низкий оскотелый человек сотворить...

Только когда полный порядок установить удалось, капитан дозволил посадку на спасательные суда. Чудно было смотреть: графы и князья, морды скривив, стоят, а мимо них пассажирки из третьего трюмного класса проходят. (В то время многие от бедности целыми семьями в Америку ехали.)

Большой волны на море не было, и «Мария» после крушения на плаву часа полтора держалась, так что со спасением пассажиров мы управились. К тому же по сигналу бедствия к нам на помощь порожний норвежский угольщик подошел и свои шлюпки спустил.

Я по расписанию значился загребным при первой шлюпке, но меня помощник другим матросом заменил и оставил при себе на судне. Кроме нас, гребцов, остались ^на «Марии» капитан, первый помощник, штурман, судовой лекарь, боцман, сигнальщик. Хотя корабль к тому времени по переднюю мачту в воду зарылся, но мы все помещения, где вода позволила, осмотрели — не осталась ли где живая душа. Мне машинное отделение осмотреть было приказано. Спустился я туда с факелом и едва не обмер от страха: вода шумит и весь корпус дрожмя дрожит, будто не железо, не дерево, а разумное существо в мучении гибнет и себе пощады просит...

Пока корабль осматривали, туман сошел и солнце показалось. Собрались все перед мостиком, друг друга пересчитали. Помощник капитану докладывает:

— Кроме находящихся в наличии, господин капитан, на корабле никого не имеется. Прикажете отваливать?

Тут и с угольщика сигнал дают:

«Спасайтесь! Корабль идет ко дну».

Смотрим на капитана, а он ни с места.

— Приказываю всем покинуть корабль!

— А вы, господин капитан ?

— Я с этого места не сойду... Что ж вы стоите? Слышали мою последнюю команду?!

Дело прошлое, а мороз по коже дерет, как я это вспомню. Корабль вот-вот потонет и шлюпку за собой потянет. Совсем времени для разговора не осталось. И получилось тут страшное дело: хотя капитан на корабле высший начальник и никто руки поднять на него не смеет, но только помощник, штурман, лекарь и боцман попробовали его силой взять... Куда там!.. Расшвырял всех, как щенят, потом за револьвер схватился.

— Прочь с корабля! Кто ко мне подойдет, положу на месте!

Может, и нужно было нам всем скопом его одолеть, но только мы не посмели. Не силы, не револьвера испугались, а его последнюю капитанскую волю нарушить не решились...

Стали отваливать, он нам на прощание рукой махнул.

— С богом, товарищи!

До сих пор не пойму, откуда он в то время это слово «товарищи» взял...

Полутора кабельтовых не отплыли, «Мария» тонуть начала. Иные корабли вовсе опрокидываются, а она до конца большого крена не дала. Скользнула под воду, точно сама того захотела. И очень отчетливо я капитана рассмотрел.

Стоит он во весь рост в полной форме и руками за поручни держится. Пуговицы, позумент, борода так золотом и сверкают... Был при жизни Золотым, таким и помер.

3.

Рассказчик поднялся и снял с головы шапку.

— И ты, парень, встань и головной убор сними! — приказал он Ваньке. — Я, когда об этом рассказываю, всегда того требую... В память погибшего корабля и его Золотого капитана... Ты имени его не забудь, смотри!

— Ивлев Павел Павлович! — торопливо ответил Ванька.

— То-то. Другому пересказывать будешь — назови... Чтоб всенародная вечная память о нем сохранилась.

Много вопросов хотелось Ваньке задать, но он посмел нарушить молчание не скоро.

— Ты, дедушка, мне про Золотого капитана рассказал, а обещал про Золотой корабль... — напомнил он.

— О Золотом корабле дальше речь пойдет. Приходи завтра, все расскажу, а сейчас не могу: расстроился я очень.

Нечего говорить, с каким вниманием прослушал Ванька рассказанную ему историю. На следующее утро, не успело еще солнышко оглядеться, был он возле пакгауза.

— Все запомнил, что я тебе вчера рассказывал? — строго спросил его старый моряк.

— А то!

— Как же ты мой рассказ понял?

Не зря обучался Ванька искусству краткого изложения событий.

— Я, дедушка, понял так: Золотой капитан Ивлев Павел Павлович после кораблекрушения на корабле полную революцию сделал и через свою храбрость всех пассажиров и всю команду спас.

Такой скорый ответ старику понравился.

— Это ты, пожалуй, правильно сообразил. Хотя я тебе насчет революции ничего не говорил, но вроде бы так получилось.

Похвала расхрабрила Ваньку.

— А вот погиб он вовсе напрасно!

Не напрасно, а потому, что ему свой корабль покинуть капитанская совесть не позволила... Опять же после крушения вся его судьба кончалась. Кто бы в беде ни был виноват, капитан за все в ответе. Одно то, что он команду дал аристократию за борт бросать, ему бы не спустили.

— Он бы за границей остался и в революционеры бы пошел. Его матросы любили, ему, ух ты, что сделать было бы можно!.. И сам ты, дедушка, промашку сделал.

— Какую?

— Говоришь, сильный был, а генерала за борт не бросил.

Ванькин упрек ничуть не обидел старика.

— Экий ты, парень, торопливый! — покачав головой, сказал он. — Это нам теперь с тобой легко рассуждать, что к чему да как поступать следовало... И сейчас еще несознательных много, а в то время мы, почитай, вовсе темные были... Только ты меня своими посторонними мыслями не сбивай, нынче я тебе про Золотой корабль сказывать буду.

Так вот, значит... Очутились мы все на норвежском судне — угольщике. Корабль хоть и большой, но по своей специальности для благородных пассажиров вовсе не приспособленный. Капитан норвежский свою каюту великому князю уступил, а остальные, кто как сумел, пристроились: не век на чужом корабле вековать, лишь бы до твердой земли добраться. Осмотрелись все маленько, и пошли между нашими пассажирами разговоры о том, как счастливо смертельной опасности избежали, и, конечно, вспомнили добрым словом капитана. Женщины-пассажирки, о которых он, себя не жалеючи, позаботился, узнав о его смерти, до слез все опечалились. И, конечно, по женскому своему соображению о его семье вспомнили, как будет теперь его вдова век

доживать... Тут одна, может, из всех самая бедная, сбор в ее пользу затеяла.

— Давайте соберем для нее, кто сколько может...

Полезла за пазуху, вытащила оттуда тряпичку со своим золотым капиталом (тогда много золота ходило) и два червонца на скамью положила.

И так в ту пору все спасенной жизни обрадовались, что и про цену золота, и про собственную завтрашнюю нужду забыли: не только деньги, золотые вещи бросать в общую кучу начали — кольца, серьги, браслеты. Потом, когда кучу разбирать стали, оказалось в ней несколько крестов нательных. Вот до чего народ расчувствовался и разжалобился!

Но окончательно все дело порешил сибирский купец-золотопромышленник, тот самый, что за корабельную шлюпку пятьдесят тысяч сулил. Оказалось, что он с собой четырехпудовый чемодан с золотыми самородками вез, собирался английских капиталистов сибирским богатством заинтересовать, но тут на радостях передумал, взял и все, что в чемодане было, перед скамейкой прямо на палубу вывалил да еще на придачу часы с цепью и со всеми брелоками выбросил. После того пошел пассажиров первого класса задирать.

Кто моему примеру, господа бояры, последует?... Чего стесняетесь, господа генералы? Ваши ордена, чай, не из ржавого железа сделаны! Господа, которые помещики, потряните разок портмонетами! Дворянский банк за вашу щедрость небось отдуется, под третью закладную ссуду даст.

Он их разъедает, а они жмутся: золото у каждого есть, только не больно с ним расставаться охота — у кого оно дарственное, у кого от царя в награду полученное, у кого родовое. Однако ж и не дать ничего совестно. И спрятаться от этого дела некуда, потому что все на одной палубе. К тому же и спасители наши, норвежские моряки, смикитили, в чем дело, и интересуются, что дальше будет,— стоят неподалеку и за нами наблюдают. Смотрю, не выдержал один из адмиралов, снял с пальца перстень, цепку от часов отстегнул, положил их в золотой портсигар и пошел к скамейке. За ним остальные потянулись. Жадность пересилили, другой грех на них напал — гордость, как бы от других не отстать... Ну и, нужно сказать, добра всякого выложили порядком: одних портсигаров и табакерок набралось до сотни. Когда сбор закончили, попросили у ка-питана весы, и оказалось в общей золотой куче в переводе на русский вес ни мало ни много — четыре пуда тридцать два фунта и сколько-то там золотников. И то еще не все: золото золотом, но были в нем и камушки — изумруды, яхонты и алмазики кое-где поблескивали.

Что с таким богатством делать?

Разные мнения на этот счет были, но только все споры покончил молодой художник, который на «Марии» в третьем классе ехал. Предложил он все золото в один предмет — Золотой корабль превратить и подарить тот корабль вдове покойного. Чтобы его лучше поняли, открыл он альбом и на наших глазах изобразил волны морские и корабль трехмачтовый, который по тем волнам под раздутыми парусами несется. И так этот корабль всем понравился, что все сейчас же с ним согласились.

Хлопоты по изготовлению корабля без особых разговоров купцу-золотопромышленнику доверили, потому что он больше всех вклад сделал и обещал будущие расходы на себя принять. По его просьбе придали ему в подмогу художника и помощника капитана. Для охраны же золота меня определили — оказали мне доверие за мою чрезвычайную силу и приверженность к капитану.

4.

Не буду всех наших приключений описывать. Только на пятый день добрались мы вчетвером до немецкого порта Гамбурга. Богатейший в ту пору город был и жило в нем великое множество искусных золотых дел мастеров и брильянтиков. Но выбрал наш купец самого знаменитого, такого, который только тем занимался, что короны к королевским и императорским головам подгонял. Наняли мы карету, ввалили в нее свой чемодан и поехали к нему.

Должно быть, целый час ждали, пока хозяин-мастер к нам вышел. Помощник (он по-немецки здорово балакать умел) попробовал было ему наше дело объяснить, но мастер его даже слушать не стал.

— Моя фирма принимает заказы только от высочайших владетельных особ!..

Помощник ему так и сям втолковывает, но тот вроде его не слышит, про высочайших особ долдонит...

Понял купец, что загвоздка получилась, и мне дает команду:

— Громозди чемодан на стол! Одними словами с этим олухом до вечера не столкнешься.

Понатужился я (шутка ли, пять пудов весу!), вворотил чемодан на стол.

— Открывай!

Поднял я крышку, мастера аж назад отбросило. И враз мне понятно стало, какие чудеса золото творить может: то человек своих родных слов не понимал, а тут сразу по-русски говорить выучился!

— Я фас фнимательно слюшает... Какоф путет заказ.

После этого наш художник выступил, мастеру свои рисунки и чертежи показал, и пошел между ними дельный разговор. Под конец, правда, спор о сроке заказа зашел: мастер полгода запросил, а купец недельный срок ему давал. Пospорили, на трех неделях сошлись.

Потом взялись золото пересматривать: каждую вещь взвесили и настоящую золотую цену ей определили, камушки из золота выковыряли (набралась их моя цельная пригоршня), и им полную опись составили. Если разобраться, была у мастера возможность на нашей спешке поживиться, но только я греха на душу брать не желаю: видать было, что заказ ему после разговора с художником по душе пришелся. Мелькнула среди золота цепочка вроде бы серебряная, купец ее со стола смахнул.

— Этот металл нам без надобности!

Мастер враз за ней нагнулся, обратно на место вернул и объяснил купцу его ошибку, что он вместо серебра чистую платину выбросил, и предложил из нее якорь и якорную цепь для корабля сделать. Художник спорить стал, что такой якорь к золоту не подходит. Чуть до ссоры не дошло, да их помощник капитана помирил, посоветовал цепь и якорь так пристроить, чтобы их можно было в клюз убирать.

И еще разговор получился, когда кольца и другую мелочь смотреть стали. Оказался среди прочего большой перстень с крупным белым камнем, говоря по правде, снаружи вовсе неинтересным. Увидел бы я его на земле, нагибаться не стал бы: валяется стекляшка, ну и пусть себе дальше валяется... Купец, однако, к нему присмотрелся, даже что-то им поцарапать попробовал, после мастеру передал: Похоже, брильянт, но только игры никакой не имеет...

Мастер сначала его так осмотрел, потом ближе к свету придвинулся, лупу себе в глаз вставил и еще раз рассмотрел. Отложил перстень в сторону на видное место и объяснил помощнику капитана:

Этот камень большой секрет внутри себя имеет. Хотя я и мастер, но вынимать его из оправы сам не берусь. Для того нужно звать моего главного брильянтичника с особым инструментом.

Уже золото считать кончили, когда главный брильянтичник приехал. Посмотрел на перстень, усмехнулся, головой покачал и за работу взялся. Высвободил он камень из оправы, и начали они его вдвоем с хозяином повсякому вертеть. И хотя говорили они полным голосом, но так быстро, что даже помощник капитана не все разобрал, а я (мне тоже доводилось с немецкими матросами беседы вести) только то понял, что они все время кого-то «думкопфами» честили.

Потом мастер-хозяин помощнику этот разговор так растолковал:

— Камень этот есть не что иное, как алмаз наичистейшей воды, индийского происхождения, но беда в том, что он дуракам в руки попал: один дурак его гранил, другой шлифовал, третий оправлял, самые большие дураки (судя по оправе) те, кто полтора-два года его на пальцах носили, не ведая его настоящей красоты. Однако же, как ни старались камень испортить, не смогли: можно было его заново в огранку и шлифовку пустить и дать ему настоящий вид и игру. Что касается цены, то на такие вещи никакой цены нет и платят за них по личному соглашению, но за этот камень сам мастер готов, не сходя с места, выложить пятьдесят тысяч марок золотом, потому что место такому алмазу не где-нибудь, а в императорской короне...

Купец даже кулаком по столу стукнул.

— Нет!—говорит.— Ежели этот камень в общую кучу попал, ему только одно-единственное место может быть — на Золотом корабле!

— Тогда,— отвечает мастер,— его требуется огранить как следует, отшлифовать и на самое почетное место поставить.

Взял у художника рисунок и ткнул пальцем в верхушку грот-мачты на вершок ниже клотика, чуть повыше грот-бомбрамрея. Здесь художник с ним спорить не стал, а почистил то место рисунка резиной, изобразил брильянт и как от него лучи в разные стороны идут. Получилась у нас из-за этого брильянта непредвиденная задержка, а потом и еще одна, та уже, считай, по моей вине.

Пришел день, когда мастер позвал нас готовый корабль смотреть.

Многого мы ждали, но получилось сверх нашего ожидания: красота прямо-таки неопишная! Смотришь и не насмотришься! Лежит доска черного мрамора длиной аршина полтора, на той доске золотые морские волны перекатываются, а по волнам на всех парусах корабль летит, и все у него как есть золотое: и корпус, и паруса, и рангоут. Ванты, леера, гитовы, шкоты аккуратненько из золотых проволочек скручены. И брильянт на грот-мачте на своем месте оказался. Светится, как звезда, и своим блеском всему кораблю жизнь дает. И еще мастер придумал: чтобы на корабль пыль не садилась и чтобы его зря ручищами не лапали, прикрыл его сверху хрустальным колпаком.

Очень нам корабль понравился. На что художник привередлив был (свои рисунки и го по десять раз переделывал!) и тот головой кивнул: получилось, мол...

Хозяин спрашивает:

— Можно корабль к плите привинчивать?

— Понятное дело...

— Только я должен вас предупредить, что в окончательном виде в изделии не хватает около восьмисот граммов.

Всякому известно, что при горячей обработке от большого жара каждый металл — будь то железо или золото — обязательно в весе убывает. Такой «угар» и купец и мастер наперед предвидели, но определить его заранее с точностью, конечно, было немыслимо. Между тем купец по своей амбиции требовал, чтобы в окончательной отделке корабль весил ровно столько, сколько было собрано золота. Поэтому, услышав о нехватке, он нахмурился и решил:

— Добавить надобно.

Добавить золота, конечно, было нетрудно: просверлить корпус и увеличить загрузку трюма. Так предложил мастер. Но был и другой способ... И дернула же меня нелегкая выскочить со своим советом!

Корабль-то пустой вовсе, нельзя ли на нем штурвальное колесо поставить, а при колесе рулевого и вахтенного начальника?

Художник даже руками на меня замахал и начал шуметь, что такая выдумка весь корабль погубит, но купец и помощник сразу на мою сторону стали.

— Ладно,— говорит художник,— я попробую. Давайте мне воска. Только заранее говорю, что ни черта не выйдет...

Принесли воск. Начал он из него что-то лепить. Лепит, а сам на меня оглядывается и кулак показывает. Ушел я, чтобы его не расстраивать. Вернулся часа через три и совсем другую картину застал. Стоит он лепит, но так увлекся, что ничего не видит и не слышит.

Осмелел я, подобрался к нему чуть не вплотную и... ноги у меня к месту приросли. Стоит перед ним на столе штурвальное колесо махонькое, у колеса статуй — рулевой, значит. Одной рукой штурвал держит, другую козырьком к бровям прижал — вдаль смотрит. А по правую руку от него другой статуй. Вгляделся я в него, и сердце в груди трепыхнулось: изобразил он в том статуе не кого-нибудь, а Золотого капитана нашего Павла Павловича Ивлева. И как сумел он это сделать — уму непостижимо! Весь статуй в мой перст — не больше, но подобие полное: и осанка сутулая, и фигура коренастая, и борода кудрявая, и китель и фуражка на нем — все сразу угадаешь. Да что борода и фуражка — выражение лица понять можно — видно, невеселую думу капитан думает, но силен он духом и разумом и характером грозен.

Очень хотелось мне в ту пору похвалить художника, да не посмел я: не след человека перебивать, когда он работой до самозабвения увлекся.

5.

Трудно сказать, сколько усердия в наш Золотой корабль вложено было, но капитанской вдове от драгоценного подарка проку не вышло. Мне о том помощник капитана рассказывал. Поехали они вместе с купцом в город Елец ей корабль вручать и едва в загородной слободе домишко, где она проживала, нашли. Застали ее в великой бедности, непричесанную, неприбранную, постаревшую. Поначалу она даже дверь открывать не хотела: думала, заявился кто-нибудь петербургские долги с нее взыскивать. Только когда купец через малую щелку в сенях ей мужние документы и деньги просунул, она засов отодвинула.

Хотя и была она по-страшному перед мужем виновата, но бог ей судья! Столько горя вытерпела, что иной не пережил бы. Подлая на ее долю судьба выпала: в молодых, еще неразумных девичьих годах вознесла высоко, а потом, не дав настоящего счастья, ровно вредную тварь, в гнилое болото бросила.

Помощник капитана дознался после, как дело было. Покуда мы до Гамбурга добирались, а потом Золотой корабль со стапеля спускали, весть о крушении «Марии» и гибели капитана до Петербурга докатилась. Но капитанская вдова ее из четвертых рук узнала — от своих кредиторов, которые приехали с нее долги получать. Пока капитан был жив, они не торопились (им за то большие проценты шли), а после смерти его слетелись, как вороны на падаль. Описали и распродали с торгов все, что продать можно было: и мужевы памятные подарки, и мебель, и меха, и наряды.

Бедность — горе, бесславие — вдвое. Газеты столичные I поместили о гибели «Марии» статьи самые короткие, но в этих статьях все как есть переиначили. Будто в том, что корабль на банку налетел, виноват капитан и что по его нераспорядительности между пассажирами сумятица и паника возникли и, если б не великий князь да не чины его свиты, ни один бы человек не спасся... И объяснялось еще, что капитан утопился оттого, что хотел от справедливого ; суда уйти и напоследок на свою душу грех богохульства принял.

Кинулась вдова к попам, чтобы панихиду и предание земле отслужить, ни один даже дверей перед ней не открыл!

Втащил купец с помощником ящик с золотым кораблем в домишко, там его и поставит-то некуда. Примостили на двух табуретках, сами на кухонную скамью сели и стали капитаншу разговором успокаивать. И верно: поплакала она, затем маленько утихла, даже пожаловалась на то, что ей дорогих гостей попотчевать нечем. Но когда до самого главного — до

подарка — дошло, беда стряслась.

Хотя вдову предупредили заранее о том, что в ящике находится, поражена она была блеском Золотого корабля до чрезмерности. Однако, паря, от золотого блеска никто никогда не слеп... Но вот, когда взялась она подробности рассматривать, с ней случилось неладное: вскрикнула не своим голосом и на землю рухнула. Переложили ее на постель, водой голову намочили, но и то не скоро она в себя пришла. А пришла в память, заговорила несурзное.

— Спрячьте меня куда-нибудь, я его боюсь!

Поняли оба, что она в уме тронулась. И были тому виной моя выдумка насчет фигур и великое искусство художника! Пригрезилось ей, что Золотой капитан на нее смотрит и ей грозит...

— Закройте,— говорит,— сейчас же или с собой увезите: не могу я его взгляда выдержать!..

Пришлось им опять Золотой корабль в ящик прятать.

И ладно сделали, потому что такой дворцовый предмет при великой бедности капитанши никакого смысла не имел. Спohватились купец с помощником, что неправильно золотом распорядились, но поздно. И никак нельзя было той ошибки исправить, так как то решение не одни они выносили.

Оставил купец вдове сколько-то денег на домашнее обзаведение и на прожитие и по срочным своим делам в Сибирь укатил. Помощнику же капитана пришлось при ней несколько дней прожить, выждать время, пока она в полное сознание придет.

И верно, через неделю она образумилась и рассуждать стала по-иному и объявила своему гостю:

— Передумала я. Хотя смотреть на этот корабль мне нервы и совесть не позволяют, но только я его у себя оставляю... Я его схороню...

Понял помощник капитана ее слова так, что она Золотой корабль схоронить, то есть сохранить, сберечь собирается. Успокоился на том и тоже уехал.

А на поверку вышло, что не столковались они...

ГЛАВА ШЕСТАЯ

ЗОЛОТОЙ КОРАБЛЬ ИСЧЕЗАЕТ, ДЛЯ ТОГО ЧТОБЫ ВОЗНИКНУТЬ ВНОВЬ У БЕРЕГОВ НЬЮФАУНДЛЕНДА В БИБЛИОТЕКЕ РАЗГОРАЕТСЯ ВЕЛИКИЙ СПОР, В РЕЗУЛЬТАТЕ КОТОРОГО ОКАЗЫВАЕТСЯ, ЧТО ПОДВИГИ ПОХОЖИ НА... МАМОНТОВ!

1.

— Собирался я после гибели Золотого нашего капитана навсегда морскую службу оставить, даже работу подходящую для себя в Питере сыскал, но только мои сухо-путные намерения очень скоро пухом разлетелись. 1 акая тоска по морю и по кораблям меня обуяла, что ни сна, ни покоя не стало. И хоть очень хорошо знал я, что того делать не следует, пошел я в торговый порт. Прихожу, а там большой пароходище Добровольного флота под погрузкой стоит. И на беду оказались в его команде старые мои друзья-приятели. Шумят мне:

— Эй ты, соленый черт, почему в штатское вырядился?

Я на эту кличку не обижаюсь (привык к ней да и дали мне ее не в насмешку, а в похвалу за силу мою и скорую поворотливость). Спрашиваю их:

— Куда уходите?

— Уходим мы в большой каботаж до самого Кудыки-на поля. Прикурим от Толбухина маяка, тотчас же вернемся и здесь стенку подпирать будем.

Сгреб я шутника в охапку и потряс маленько. Потом спрашиваю:

— Чего хочешь: живота или смерти? Ежели живота, отвечай, как у попа на духу: куда и когда уходите?

— Послезавтра идем мы в Ригу, там догружаться будем, потом — во Владивосток, а конец нашему плаванью случится в Петропавловске-Камчатском. Куда оттоле пойдем — никому еще не ведомо.

От такого объяснения на меня сразу ветром с трех океанов подуло. А шутник этот меня подъедает:

— Только я тебе, черт соленый, еще самого главного не сказал...

— Чего?

— Того, что в нашем экипаже до полного состава двух матросов не хватает... Вон, видишь, капитан стоит и с боцманом гуторит. Пойди и спроси у них, если мне не веришь.

И поймал меня на удочку. Полетел к чертовой бабушке мой зарок никогда в море не ходить!..

Лет шесть проплавал я на том пароходе и, признаться, стал уже забывать о Золотом корабле, да однажды, когда снова в Питере я оказался, повстречал на Галерной улице художника, который тот корабль выдумал. Очень мы обрадовались — обнялись, расцеловались и, как водится по русскому обычаю, в трактир пошли, чтобы по всем правилам прошлое помянуть. Выпили первым делом за упокой души Золотого капитана Павла Павловича Ивлева, потом за здравие сибирского купца, помощника

капитана, ну и о своем здравии, конечно, не забыли. Только когда я о Золотом корабле заговорил, художник нахмурился и рукой махнул.

— Был,— говорит — Золотой корабль, да не стало его

Удивился я.

— Он же у капитанши должен быть, она его сохранить обещалась...

— Знаю, что обещалась, но только не так вышло... Нет корабля, и понять невозможно, куда он делся!

И рассказал он мне историю вовсе непонятную и чудную.

Незадолго до нашей встречи ездил он нарочно в город Елец, затем, чтобы вдову-капитаншу найти и еще раз на свое произведение глянуть. Оказалось, живет она все в том же домишке, где ее купец и помощник капитана застали, и занимается только тем, что, как в девичьи свои времена, кружева плетет и, помимо того, кур разводит и на малые доходы от тех промыслов существует. Попробовал художник с ней о Золотом корабле заговорить, ничего не получилось. Пожала она плечами, потом в лицо ему посмеялась:

— Что капитанской женой была — это верно, но про какой-то Золотой корабль первый раз слышу, никакого корабля у меня не было и нет, и кто такую выдумку пустил — непонятно... И люди, которые вокруг меня живут, подтвердить могут, что с тех пор, как муж погиб, живу я на бедном мещанском положении, совсем одинокая и кормлюсь только тем, чем меня мои коклюшки и хохлушки прокормят.

И так она все это обстоятельно описала, что художника совсем с толку сбила. Говорит ему:

— Разве я стала бы так жить, если бы у меня золото было? Все мое хозяйственное обзаведение наружи.

И в самом деле: по двору полсотни кур ходит, в сенцах ларь с овсом пристроен, в горенке под окном весь инструмент кружевницы: барабан, соломой набитый, с натканными булавками, сколки с узорами, коклюшки... Показала капитанша ему кружева своей работы.

— С этим товаром в Задонск на ярмарку поеду. Но если желаете купить для своей жены, могу уступить.

Художник не решился отказаться от покупки, и всучила она ему две штуки кружев по двойной цене против рыночной. После того его выпроводила, но только на прощание сама о Золотом корабле помянула:

— Теперь вы сами убедились, что никакого золота у меня не имеется, и очень прошу вас по этому вопросу больше меня не беспокоить и никому ни о каком Золотом корабле не рассказывать, а то у нас здесь народ такой... Намедни у меня четырех куриц покрали, а из-за золота свободно зарезать

могут, потому что я женщина одинокая и уже немолодая.

Обсудили мы с художником весь этот разговор и порешили, что Золотого корабля и впрямь не стало: либо скупая баба закопала его куда-нибудь на веки вечные, либо, хуже того, попам и монахам показала, и те у нее его выманили. И то ли потому, что выпили порядком, то ли за давностью времени не очень все это нас беспокоило...

Не знал я тогда, что была это наша последняя встреча. Пошел в новое плавание дальше, а когда вернулся, нашего художника в живых не застал: за три месяца от скоротечной чахотки помер. Потом слух о кончине сибирского купца-промышленника дошел... Судя по многим поступкам, полагал я, что он человек с совестью, а оказалось, что широк и добр он бывал, ежели в компании с вельможами и за границей хотел кому-нибудь пыль в глаза пустить, а у себя на приисках в Сибири его кровопойным зверем знали. И попал он под суд. Не за то, что рабочих в горах и тайге морил, а за то, что к царю в карман руку запустил — загреб золото, какое на кабинетских, то есть собственных царских, землях было добыто. В тюрьму его не посадили, но имущества всего лишили. После этого запил он и в большой мороз у дверей кабака околел... Ну, а помощник капитана нашего Золотого в русско-японскую войну в Маньчжурии боевую смерть принял... Так что из тех, кто Золотой корабль видел, один я остался...

2.

На этом месте Ванька Перекрестов вынудил автора прервать затянувшееся повествование старого матроса. Помня о данном обещании не мешать рассказчику, он долго его слушал, все чаще и чаще позевывая. Однако под конец зевнул так, что едва салазки не свернул, аж кость о кость закрипела.

— Иль тебе слушать неинтересно? — с сердцем оборвал сам себя обиженный рассказчик.

Вначале очень интересно было, а потом, ух ты, как скучно стало! — с жестокой откровенностью рубанул Ванька.—Все золото да золото, прямо как в книге про Робинзона... На кой прах о нем долго разговаривать? Да и корабль на поверку получился хотя и золотой, но вовсе игрушечный, в аршин длиной. Я, когда маленький был, сам из березы серебряные корабли делал, так они больше были и по воде плавать могли.

В доказательство своего пренебрежения к золоту как к кораблестроительному материалу Ванька еще раз зевнул.

Это, как ни странно, не обидело старика.

— Ишь ты, как гордо о золоте понимаешь! — не без уважения сказал

он и тут же неожиданно спросил:—Про Летучего Голландца слышал что-нибудь?

— Кто он такой? — поинтересовался Ванька в надежде услышать что-то новое.

— Корабль это. Весь как есть черный. Даже паруса на нем черные.

Такое начало выглядело заманчиво, но, наученный опытом, Ванька, прежде чем поддаться любопытству, счел нужным усомниться.

— У нас в ссылке один моряк четыре года жил и ничего про такой корабль не рассказывал... Настоящий он? Плавать по морю может?

— По всем океанам носится. Его под всеми широтами и долготами видели, даже там, где ледяные горы плавают.

— Ты-то сам его, дедушка, видел?

— Не доводилось. И оборони, господи, всякого от такой напасти, чтоб его видеть! Многие тысячи миль я по морям прошел, но самолично с ним не встречался. Может, оттого так получилось, что я все время на железных судах ходил, а он, этот Голландец, норовит железо стороной обойти. Раньше, когда деревянных судов больше было, он много чаще показывался. Возможно, и крушений всяких поэтому сейчас меньше стало.

Тот факт, что число встреч с Летучим Голландцем было обратно пропорционально числу кораблей с металлическим корпусом, свидетельствовал о прочности последних. Ванька даже подумал об этом, но уж больно интересно было старика слушать! Он не только не стал спорить, но еще и помог рассказчику вопросом:

— Кто же, дедушка, на том корабле плавает?

— Того, паря, никто не знает. О том, кто им управляет, по-разному говорят. Я от самых старых моряков такую историю слышал. Будто лет четыреста тому назад жил один человек по национальности голландец, а по профессии пират — говоря по-русски, морской разбойник. Плавал он по всем океанам и на всякий встречный корабль нападал. Завладеет корабельным богатством, людей либо побьет, либо утопит, а корабль сожжет. И еще торговлю рабами завел. Целые народы разорил, на рабство обрек и со света сжил. Набрал он золота столько, сколько всем царям вместе не снилось — полный корабль. Класть его уже некуда, а он все разбойничает. Привык так, что уже остановиться не может. И стал он из-за своей бессмертной привычки сам бессмертным...

Такое утверждение ничуть не удивило Ваньку. Мало того, все ухватки Летучего Голландца показались ему хорошо знакомыми. Поэтому он без стеснения перебил старика:

— Дедушка, а ведь ты мне про Кощея Бессмертного рассказываешь!

— Про Кощея?.. Так про того в сказке рассказывается...

— А сходство большое имеется: может, родные братья они, а может, вовсе одна и та же личность на разных языках по-разному называется... Так вот, носится этот Летучий Голландец или Кощей (зови его как хочешь) и всюду беду сеет. Если какой корабль повстречался с Летучим Голландцем, обязательно на нем несчастье произойдет: либо крушение, либо пожар, либо того страшнее — болезнь повальная.

Бывало, увидят моряки среди океана корабль, подойдут к нему ближе, а он мертвый: паруса на нем ветром сорваны, руль бездействует, окликнут — никто не откликнется. Находились смельчаки, которые на такие мертвые 6 корабли всходить решались. Поднимутся на палубу, а там одни только белые скелеты лежат. Иной раз и так оказывалось: все на корабле целехонько: и товар, и вещи все, которые команде принадлежали, даже журнал судовой и средства спасательные, а людей нет... Так и знай, что корабли эти на своем пути Летучего Голландца встретили...

— Правда так бывало, дедушка?

— В старое время о таких делах в газетах печатали. И сам я знал моряков, которые самоочно Голландца видели. Чаще всего он рыбакам и китобоям показывается. Слышал я о нем последний раз не то в семнадцатом, не то в восемнадцатом году, уже после нашей революции. Один шкипер эстонский рассказывал, что, когда он с флотилией к острову Нифадленду за треской ходил, мимо всей флотилии Летучий Голландец пронесся. Ночь ясная, лунная была, и его все очень хорошо видели. Только в тот раз от него никакого зла не приключилось.

— Подобрел он, что ли?

— Подобреть он по своему характеру не мог, другая причина тому была... Пододвинься-ка поближе и слушай внимательно, что я тебе говорить буду...

Ваньку, конечно, уговаривать не пришлось, враз подвинулся. И не зря! То, что прошептал ему на ухо старый моряк, поразило бы всякого.

— Потому Летучий Голландец рыбакам зла не причинил, что торопился очень, за самим собою погоню чуял...

— Кто за ним гнался? — шепотом, в тон рассказчику спросил Ванька.

— Экий ты, право, нетерпеливый!.. Слушай все по порядку... Только Голландец пролетел, в той стороне, откуда он появился, зарево разгораться начало, а в том зареве звезда засверкала, под звездой паруса потом и корпус трехмачтового Золотого корабля обозначились. И так он весь сверкал и блестел, что на короткое время светло, как днем, стало. И все, кто это происшествие наблюдал, успели рассмотреть рулевого, а рядом

с ним капитана бородатого И до того грозно Золотой капитан вслед Летучему Голландцу глядел, что всем понятно стало: неспроста он за ним гонится.

Ванька даже ухнул от удивления. Мелькнула у него на минуту мысль спросить, как мог маленький игрушечный корабль в большой превратиться, но вместо того совсем 2 другой вопрос задал:

— Что же, дедушка, будет, когда Золотой корабль этого Кощея Бессмертного — Голландца Летучего догонит?

— Кто его знает! Те корабли особенные, и как они разойтись смогут, никому неизвестно. Только при жизни Павел Павлович Ивлев был человек решительный и, полагаю, у него план имеется...

— Хорошо было бы, если б на Золотом корабле еще Иван Крестьянский сын находился! — мечтательно проговорил Ванька.

3.

Все в комок спуталось: быль с легендой, легенда с домыслом, домысел со сказкой, сказка с дерзкой и несуразной Ванькиной мечтой! Попробовал Ванька в этой путанице разобраться, ничего не вышло: оказалось не так-то просто... Пришлось идти на поклон к завбибу. Начал издавека:

— Завбиб, есть где-нибудь остров Нифанлент?.. Говорят, вокруг него много трески водится.

— Трески? Так ты, наверно, про остров Ньюфаундленд говоришь? Давай сюда карту Западного полушария, я тебе его покажу.

Удостоверенный картой факт существования рыбного острова в какой-то мере подтверждал рассказ старого матроса.

— А про Летучего Голландца ты чего-нибудь слышал?

— Читал даже. О нем у Жюль Верна, у Гейне и еще у некоторых писателей упоминается. Но все, что написано о Летучем Голландце, взято из легенд, сложенных моряками в эпоху великих географических открытий и возникновения торгового капитала.

Из какой книги выхватил завбиб такие сведения, он и сам не помнил, но пришлось они кстати.

— Значит, капитал в ту пору существовал! — с удовлетворением констатировал Ванька, упорно подозревавший во всех преступлениях Летучего Голландца подстрекательство и соучастие Кощея.

И как раз Голландия, обладавшая большим торговым флотом и искусными мореплавателями, была самым богатым государством...— продолжал опустошать копилку своих знаний завбиб.

— А пираты и работорговцы были?

Из ответа завбиба явствовало, что в шестнадцатом веке океаны и моря кишмя кишели пиратами и что самыми ходовыми товарами того времени были рабы и стеклянные бусы.

Такой ответ как нельзя более устраивал Ваньку, и он сказал:

— Теперь слушай, завбиб, что я тебе расскажу...

Недаром учился Ванька писать сочинения и изложения!

В его передаче легенда о Золотом корабле заняла не более часа. Кое-что он сумел подсократить, кое-где прибег к сильным и потому крайне лаконичным выражениям. Закончив повествование, спросил:

— Как, по-твоему, все это понимать надо? Как истинную правду или как выдумку?

Завбиб, с живейшим вниманием выслушавший повествование, ни минуты не раздумывая, заявил, что склонен рассматривать рассказ старого матроса как истинное происшествие, достойное высокохудожественной литературной, а может быть, и поэтической обработки. Спасение пассажиров «Марии» и гибель капитана Ивлева завбиб расценил как «прекрасный подвиг самопожертвования».

Сочетание двух последних слов до глубины сердца возмутило Ваньку, но он ничем себя не выдал. Завбиб даже не заметил намека на ехидство, когда Ванька предложил:

— Если ты, завбиб, подвиг самопожертвования в стихах изобразить хочешь, я тебе еще прекраснее случай расскажу. До моего рождения жил на Горелом погосте мужичонко один, и задумал он обязательно подвиг совершить. И вот начали соседи примечать, что он каждый день ни свет ни заря в тайгу уходит. Спрашивают его: в чем дело? Он и объясняет: «Это я себя на подвиг обрекаю». Проследили за ним и дознались, как он собой жертвует. Придет туда, сядет голым задом на муравьиную кучу и во имя преподобного Дурандаса боль принимает...

Поняв, что Ванька над ним смеется, завбиб обиделся.

— Что ты этим дурацким примером хотел мне доказать?

— То, что капитан Ивлев напрасно себя погубил. Что он на корабле революцию сделал — правильно, и посадкой распорядился правильно, и генерала с мостика спустил тоже правильно, а самопожертвованием все дело испортил. Ему, если он так начал, в революционеры идти нужно было, а какая польза оттого, что он с кораблем утонул?

— Когда идут на подвиг самопожертвования, о пользе не думают! — глубокомысленно изрек завбиб.

— А о чем в это время думать нужно?.. О том, как бы пофорсистее башку сложить?

— Ты, Иван, меня не понимаешь! Представь себе такой случай... Посередине реки кто-то тонет. Я бросаюсь на помощь и тоже тону...

— Раздетый или одетый бросаешься?

— Очень возможно, что одетый, потому что раздеваться некогда.

— Вот потому, что некогда, обязательно нужно раздеться— телешом скорее доплывешь и силы сохранишь. Это одно. Другое то, что утопающий тебя за одежду хватать будет. Хорошо, если за штанину ухватит, а то за ворот. Я, завбиб, уже ученый: двух детишек вытаскивал и еще одного пьяного. И наглotalся же я воды из-за него. черта баламутного! Пришлось ждать, когда он вовсе ослабеет. Ухватил его тогда за бороду и потащил к берегу...

Завбибу стало очевидно, что спасение утопающих Ванька большим подвигом не считал, поэтому он предложил на Ванькино усмотрение полдюжины подвигов военных. На взгляд самого завбиба, это были великолепные, в большинстве своем заимствованные из книг и газет, случаи проявления героизма, заканчивавшиеся жертвенной гибелью главного действующего лица.

Тут-то и выяснилось, как далеко разошлись в своих суждениях о самопожертвовании оба спорщика. Из шести случаев Ванька безоговорочно принял только один. Принял и другой, однако уже с оговорками. Остальные решительно отверг.

Удивительно, что ни завбиб, ни Ванька долгое время не могли понять причины разногласия. Между тем причина его была далеко не пустяковая, ибо определяла не только разницу во вкусах, но, пожалуй, и в мировоззрении.

Оценивая подвиг, завбиб в первую очередь исходил из степени его рискованности, Ванька же отодвигал вопрос о риске на второй план. Его больше интересовала, если так можно выразиться, практическая трудовая сторона подвига. Риск требовал смелости, быстроты решения, вдохновения. Преодоление же трудности, помимо смелости и быстроты (возможно, с некоторым ущербом для вдохновения) требовало обдуманности, даже расчетливости.

Говоря короче, в основе суждений завбиба лежала бойкая, но фаталистическая пословица «либо грудь в крестах, либо голова в кустах», Ванька же мыслил по пословице «бог-то бог, но и сам не будь плох». Смерть героя после совершенного им подвига в глазах завбиба даже несколько возвышала его образ. С Ванькиной же точки зрения, ценность самого подвига значительно возросла бы, если бы свершивший его герой сумел благополучно выпутаться из грозившей смертью передряги.

Больше всего завбиба возмущало то, что, разбирая по косточкам случаи самопожертвования, Ванька не брезговал самым низменным прозаизмом. Цепляясь за привходящие мелочные обстоятельства, он сумел довольно ловко доказать, что в четырех случаях из шести герои подвигов могли спастись, ибо им подвертывалось нечто подобное бороде пьяного баламута, выручившей Ваньку: подвиг мог быть совершен с меньшим риском и с большим удобством...

Ох, и не любит автор, когда его герои ссорятся! Наговорят черт-те чего, нашумят друг на друга, а ты эту кашу расхлебывай...

— Герои, готовые на самопожертвование,— гордость народа,— ораторствовал завбиб.— Из каждой капли их крови вырастают новые герои. Капитан Ивлев, оставшийся на гибнувшем корабле,— герой, достойный подражания.

— Умный ты парень, завбиб, а чепуху порешь! Я уж того старого матроса, который мне про это рассказывал, ругал за то, что они его одного бросили. Его силком снять нужно было. Спасли бы его, он на другой день опамятовался бы!

— Ты... ты думаешь, что он...

Завбиб едва не задохнулся от негодования!

— Думаю, что он не в своем уме был! — бесстрашно договорил Ванька.— Да и мудреного в этом ничего нет: корабль гибнет, жена досадила, а тут еще генерал царский...

Здесь-то завбиб и перешел на личности.

— Ты, Иван, как мелкий торгаш, сыплешь в одну кучу рубли и гроши!

— У меня есть чего сыпать, а у тебя всего шесть рублей, да и то четыре фальшивые!

Намек на шесть подвигов с самопожертвованием вывел завбиба из себя.

— Даже не торгаш ты, а мусорщик базарный! Один мусор видишь...

— Я вот тебе дам мусорщика!!! Тебе не в библиотеке книжки выдавать, а на кладбище могилы копать!

— Почему это?—спросил ошарашенный завбиб.

— Потому, что ты в своих стихах про одну смерть и могилы пишешь, и еще про каверны всякие... Я не про те стихи говорю, какие ты для клуба и стенгазеты пишешь, те хорошие,— а про другие, которые от военкома прячешь...

Невозможно сказать, что произошло бы дальше, если бы не случилось чудо. Дверь открылась, и на пороге библиотеки показался легкий на помине военком Сидоров.

— Вы, культпросветы, чего расшумелись?

Благодушный тон вопроса свидетельствовал о том, что военком не разобрал сути громкого разговора.

— Так, разговаривали...— коротко, но маловразумительно ответил завбиб.

Зато Ванька проявил редкостную находчивость: и не соврал, и правды не сказал.

— Мы, товарищ военком, задачу одну решали, но ответ на нее у обоих получился разный, вот мы и поспорили.

— Решать задачи на свежую голову надо, тогда и ответы сходиться будут! — нравоучительно сказал военком. — Выкиньте все из головы и ложитесь сейчас же спать!

Легко сказать «выкиньте все из головы»! Выдерживая характер, улеглись молча и, наверно, добрый час проворочались на хрустящих, набитых жесткой соломой матрацах.

Ванька не выдержал первый. Сел и повернулся к завбибу.

— Слышь, завбиб, давай больше ругаться не будем! И разговаривать сегодня нам хватит... Ты лишь мне на два вопроса ответь, только не выдумывай, а правду говори...

— Ну?

— Ты жить любишь?

— Конечно, люблю.

— Очень?

— Очень!

— Вот и я то же самое — очень жить люблю!

Полежали полминуты. Ванька снова с вопросом:

— А подвиг какой-нибудь хороший и полезный тебе совершить хочется?

— Хочется.

— Очень?

— Очень!

— И у меня на это большая охота!

Еще помолчали, похрустели матрацами. Потом Ванька горестно вздохнул.

— Беда нам с тобой, завбиб!

— Какая беда?

— Такая, что хорошие подвиги под ногами не валяются... Подвиги — вроде мамонтов: попадетсЯ один под руки, а потом жди, когда другой подвернется... Может, за всю жизнь такого случая больше не будет.

И все-таки ночь свое взяла. Перестали хрустеть матрацы, затем завбиб носом посвистывать начал, а Ванька храпака задал. Что снилось ему — неизвестно. Но уж, конечно, не такое, что случилось с ним наяву в следующей главе!..

ГЛАВА СЕДЬМАЯ
О ТОМ, КАК ВАНЬКЕ ПОДВЕРНУЛСЯ МАЛЕНЬКИЙ ПОДВИГ.
БЕЛАЯ НОЧЬ, ПОЛНАЯ ТРЕВОЛНЕНИЙ. ЖЕНЩИНА В ЧЕРНОМ.
АВТОР РЕШИТЕЛЬНО ОТКАЗЫВАЕТСЯ ОТВЕЧАТЬ ЗА
ВАНЬКИНЫ ПОСТУПКИ

1.

С великим волнением и трепетом приступает автор к описанию необычайных событий, прямыми и косвенными участниками которых явились все основные персонажи повествования.

Если душой и совестью Н-ского стрелкового полка был военком Сидоров, то молодого полкового адъютанта Потапенко (того самого, которого комиссар привлекал в качестве эксперта-ценителя обстановки кабинета) надлежало считать образцом воинской подтянутости, точности и дисциплинированности. Несмотря на свои двадцать шесть лет, он выполнял многообразные и хлопотливые обязанности с деловитостью и твердостью опытного военспеца.

Но на то и черт, чтобы совращать праведников! Однажды, когда чернобровый адъютант проезжал верхом по одной из самых грязных архангельских улиц, он повстречал— не черта (о, нет!),— а некое существо женского рода. И какое существо!

Автор терпеть не может долгих описаний, в том числе и портретных, но на этот раз склонен изменить своей манере.

Прежде всего, дорогие читатели, представьте себе две толстые русые косы по метру каждая. Представили? Теперь приделайте к косам легкую стройную и необычайно гибкую фигуру восемнадцатилетней девушки. Приделали? Теперь осторожно, чтобы не испугать их обладательницу, загляните ей в лицо. Правда, оно, по старообрядческому обычаю, наполовину закрыто платком, но и того, что вы увидите, хватит с избытком!

Может быть, иной художник и нашел бы, что лицо незнакомки несколько расплывчато и не совсем соответствует классической женской красоте, но... бог с ними, этими классическими красавицами, с их вычерченными по линейке прямыми носами и безупречным,

изготовленным по лекалу овалом лица! Лицо незнакомки было малость кругловато, но чего стоили одни ямочки возле маленьких пухлых губ! А глаза, а ресницы, а брови! И хотел бы автор эти брови назвать как-то по-новому, но не может: соболиные брови иначе как соболиными не назовешь!

Взоры чернобрового статного всадника и хозяйки соболиных бровей встретились, и произошло нечто, никем, кроме автора, не замеченное. На лице девушки мелькнуло выражение испуга и удивления (автору показалось, что удивления было несколько больше, нежели испуга). Что касается всадника, то он на секунду утратил способность управлять лошадью и без всякой нужды дернул поводья. Лошадь (это была лучшая из полковых лошадей) не преминула воспользоваться такой оплошностью и, по-лебеди-ному изогнув шею, загарцевала. Брызги грязи так и полетели во все стороны...



Во многих боях участвовал Потапенко и ни разу не терял присутствия духа, но на этот раз струхнул так, что два раза подряд бога вспомнил!

— Ради бога, простите, гражданка, что я вас забрызгал! Ей-богу, нечаянно! — срывающимся от ужаса баритоном объяснил он.

В ответ на извинение гражданка покраснела, как маков цвет, и нырнула в калитку. Да так проворно ее захлопнула, что оставила на улице добрую половину русских кос. Коса, говорит пословица, девичья краса. За таким сокровищем, хочешь не хочешь, вернешься. Приоткрыла калитку, высвободила косы и, хоть не хотела того, снова на всадника глянула.

Оставшись в одиночестве на безлюдной улице, Потапенко рассмотрел убежище мелькнувшего перед ним мимолетного видения. Это был мрачный двухэтажный дом, построенный из толстых черных от времени бревен. Из восьми маленьких его окон шесть были плотно прикрыты глухими, без прорезей, ставнями. Ворота и забор, прилегавшие к дому, напоминали древнерусские деревянные крепости. Не было ни наличников, ни подзоров, ни накладок — ничего, что хоть немного оживляло бы аскетическую суровость этого архитектурного сооружения. Только над воротами, под небольшим щипковым навесом возвышался восьмиконечный крест. Что касается калитки, в которую юркнула девушка, то она была окована массивными железными полосами и снабжена кованым же кольцом непомерной величины, толщины и тяжести.

У полкового адъютанта всегда хлопот полон рот, но на следующий день Потапенко все же нашел время несколько раз проехать по той же улице. Так просто, прогулки ради... Три раза ничего не дали, но на четвертый кое-что было достигнуто. То ли лошадь начала что-то соображать, то ли ей надоело без толку скакать мимо запертых ворот, только, поравнявшись с ними, она затанцевала и громко зафыркала.

И что же? Занавеска, прикрывавшая одно из окон верхнего этажа, слегка зашевелилась, чуть-чуть отодвинулась и из-за нее выглянуло вчерашнее мимолетное видение. И, о чудо! Мрачный, подслеповатый дом превратился в прекраснейший из дворцов!.. Не мудрено, что с тех пор узкая грязная улица стала излюбленным местом прогулок адъютанта Потапенко...

Через пять дней бравый командир понял, что влюбился в соболиные брови окончательно и бесповоротно. Такое открытие повергло его в уныние. Кто-кто, а он наизусть, во всех подробностях знал секретный приказ о готовящейся передислокации полка! До погрузки в вагоны оставалось не более двенадцати дней...

2.

Писатели неоднократно подмечали, что любовь обладает способностью менять человеческий характер. Под ее могущественным воздействием герои романов то глупеют до обалдения, то поднимаются до высот гениального прозрения и величайшей находчивости. С адъютантом Потапенко случилось второе. В одну из бессонных ночей он дозрел до мысли обратиться за советом и помощью к Ваньке.

Нужно сказать, что из строевых командиров Ванька больше всего уважал именно полкового адъютанта. В его глазах строговатый, всегда подтянутый Потапенко был образцом. Поэтому при встречах с ним Ванька подтягивался сам: одергивал гимнастерку и пробовал двумя пальцами, хорошо ли затянут поясной ремень. И здоровался с ним по всем правилам воинского устава, полным голосом отчеканивая:

— Здравствуйте, товарищ полковой адъютант!

Каково же было его удивление, когда в ответ на такое приветствие Потапенко взял его под руку и отвел в сторону для строго конфиденциального, отнюдь не военного разговора!

— Ты ведь, кажется, из староверов, Ваня?

Такое напоминание о прошлом Ваньку обидело: если человека в комсомол приняли, совсем не к чему ему о прошлом староверстве напоминать. Поэтому ответил суховато:

— Как комсомолец я ни новых, ни старых богов не признаю.

— Это понятно... Я про другое хотел тебя спросить,— ты староверов хорошо знаешь,— очень трудно с каким-нибудь... старовером познакомиться?

Столь неожиданный вопрос заставил Ваньку призадуматься.

— Ежели в военной форме, то и думать нечего... А впрочем, какой старовер: здешние-то, городские, не так строги. И еще разница есть: молодой старовер или старый. Иной старый хрен не то что на порог, а в ворота не пустит.

Как видно, промышляя топором по дворам местных жителей, Ванька успел сделать полезные наблюдения.

— Я, собственно, не о старовере, а о староверке одной говорю,— пояснил адъютант.

От Ваньки не ускользнуло легкое смущение собеседника.

— Старая или молодая староверка-то эта? — осведомился он.

— Молодая... Вовсе еще молодая. Девушка...

Тут Ванька сразу сообразил, в чем дело. Сдвинул буденовку и задумчиво почесал за ухом.

— Очень вам с ней познакомиться нужно, товарищ адъютант?

— Очень!

— По-серьезному?

Потапенко в ответ только головой кивнул и вздохнул так выразительно, что без слов стало понятно: познакомиться требовалось позарез, по самому серьезному поводу.

Тут-то и выяснилось, что, доверяя свою тайну Ваньке, адъютант ошибки не делал. Лучшего наперсника и помощника найти было невозможно. Ванька сразу загорелся пламенным энтузиазмом.

— Тогда так!..

После этого, заручившись Ванькиным честным словом о глубокой тайне, Потапенко поведал ему уже известную читателю историю о верховых прогулках мимо средневековой деревянной крепости.

— Это я нынче же разведую, кто такая! — решительно пообещал Ванька.

Отпроситься на весь вечер у добряка-завбиба было нетрудно, и через час Ванька, облачившись в старые свои доспехи полугражданского образца и благополучно избежав встреч с комиссаром Сидоровым и комсоргом, исчез из казармы. По часам его отлучка продолжалась четыре часа, но адъютанту Потапенко они показались годами. Зато, как выяснилось, время не было потрачено зря.

— Ух ты, товарищ адъютант! — отрапортовал Ванька. — Вот девка так девка, никогда еще таких не видел!..

— А поет! Тонко да долго тянет, и не просто из головы поет, а по-нотному: все время на листок смотрит.

— Ты ее видел?

— И видел и слышал... Я к ним в моленную пробрался и всюнощную отстоял... Вы военкому и комсомольцам не говорите про это!.. Стоять-то по правилам пришлось: крестился двенадцать раз да два раза на коленки вставал. Только вы не думайте, что по-настоящему: я, когда крестился, не на иконы, а на стенку глядел, уставщику ихнему глаза отводил.

— Постой, ты про нее сначала расскажи...

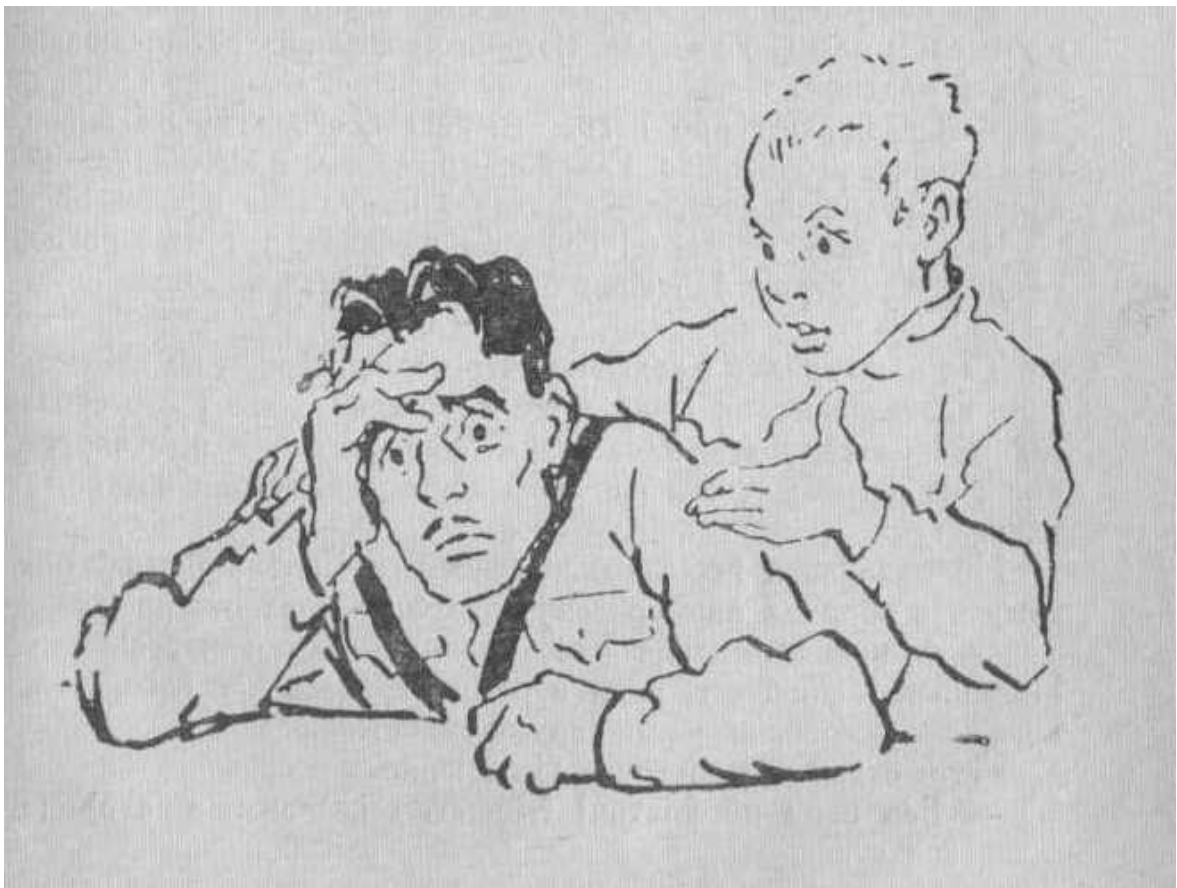
— И про нее все узнал... Зовут ее Таисия. Прогимназистка она. А отец у нее — купец второй гильдии, вовсе чуждый элемент, самый что ни на есть контра! До революции у него два парохода по Двине бегало и лесопилка о трех рамах была. И все это добро Советская власть на себя отписала. Вот он и злой на Советскую власть. Его губчека уже два раза сажала...

Слушая Ваньку, Потапенко все более мрачнел: не могла этакая красавица выбрать отца получше! Командир Краской Армии и купеческая дочка представлялись ему сочетанием явно несовместимым, даже преступным. Между тем, с умыслом или без умысла, Ванька продолжал расписывать черной краской:

— Сказывают про него, что советского духу он вовсе не выносит. Дочь свою Таисию, кроме как в моленную да к своей старшей сестре — ее тетке, никуда не пускает.

Час от часу не легче! Будь он проклят, тот час, когда увидел адъютант Потапенко русые косы и ямочки на щеках!

Так нахмурился адъютант, что черные брови на переносице вовсе сошлись. Ваньке же и невдомек, что у его собеседника на сердце, — плохо еще разбирается в противоречиях, не понимает, чем грозит любовь к классово чуждому элементу.



Но оказалось все-таки, что кое-что Ванька понял, потому что оборвал свой рассказ деловым предложением:

— А познакомиться вам, товарищ адъютант, можно. Напишите

записочку, я ей в руки передам. От того, мол, командира, который мимо верхом скачет.

— А отец? — простонал Потапенко.

— Без отца обойдется! Может, он вовсе в стороне окажется...

— Как в стороне?

— Очень просто как. Взять и украсть ее...

— Что украсть? — не понял сначала убитый горем адъютант.

— Таисию! Наши погостовокие парни ужас сколько девчат из Нелюдного повыкрали... По доброму согласию, понятно... Посадят на телегу и — прямо к попу... У нас на полковой конюшне коней, что ли, не стало? Парную фурманку запрячь, а еще лучше закрытую санитарную двуколку... А вместо попа — в загс! Ежели этак обделать, чуждый элемент ни при чем останется и сам от дочери отречется.

Употребленное Ванькой слово «украсть» покорило бывшего студента-юриста, но было в смелом и простодушном Ванькином предложении (если исключить использование санитарного транспорта) нечто романтическое, а потому и привлекательное. В конце концов исход дела решался согласием невесты. А остальное... Как ни запугивал себя влюбленный адъютант родством с нежелательным элементом, а не запугал: написал-таки по Ванькиному совету записку!

В свою очередь и Ванька, увлекшийся делом, проявил ловкость невероятную. Сумел сунуть письмецо в руки адресатке в ту минуту, когда она выходила из моленной. И не только сунул, но еще и шепнул на ухо: «От командира, который мимо окон ездит».

И что же? Записка не выпала из рук купеческой дочери! В тот же день и ответ приспел.

«Товарищ командир! Не смущайте моего бедного сердца. Тося».

Прочитав его полсотни раз подряд, Потапенко сообразил, что бедное сердце порядком смущено и что его следует успокоить... новым письмом.

По три, по четыре раза в день пришлось Ваньке бегать к условленному тайнику. Зато на третий день переписки адъютант Потапенко был обрадован внушительным по толщине письмом, начинавшимся словами:

«Товарищ командир! То, что предлагаете Вы, кажется мне невозможным. Я рождена не для счастья...»

Слова «кажется мне», как понимает читатель, несколько противоречили утверждению о «невозможности». К тому же в конце письма корреспондентка в самой краткой форме давала понять, как представляет она себе счастье:

— "Ужасно мечтаю видеть вокруг себя живых людей, учиться, читать

и, по возможности, счастья — попасть в общество живых людей, учиться, читать, и, по возможности, стать артисткой!" —

Добиться такого счастья - попасть в общество живых людей, а, тем более, посвятить себя артистической деятельности, разумеется, можно было только удрав из дома...



Прочитав письмо до конца, адъютант Потапенко ударил кулаком по столу. Ему стало ясно, что Ванька прав: счастье стоило и следовало украсть. Украсть немедленно, не взирая ни на какие препятствия! Естественно, что старый староверский способ «увода» надлежало модернизировать, избежав таких шумовых эффектов, как конский топот и церковное богослужение. Приглашенный для совета Ванька сначала был разочарован, однако подумав, все же согласился, что бесшумный вариант был предпочтительнее. Но как его осуществить? Над этим оба крепко задумались.

— А что ежели... в гардероб ее нарядить? — неуверенно предложил Ванька.

При одной мысли о каком-то гардеробе (возможно, он вспомнил о военкомовской мебели) адъютант Потапенко пришел в ужас.

— Какой еще гардероб? И откуда ты его возьмешь?

— Я про свой гардероб говорю, в какой наряжаюсь, когда девчат представляю.

Поняв, что Ванька предлагает вариант с переодеванием, Потапенко облегченно вздохнул. Ванькин гардероб действительно со счета скидывать не следовало, но из дальнейшего обсуждения сразу выяснилось, что, облачившись в него, похищаемая невеста как была, так и останется девушкой, которую не так-то легко не заметить. Больше того, цветастые платки и платья придали бы ей совершенно неуместную сценическую внешность.

Вариант с переодеванием явно требовал доработки. Ванька поскоблил затылок, и лицо его сразу озарилось веселой и хитрой улыбкой.

— Ух ты, как все здорово устроить можно! — воскликнул он.

— Говори!

— Так здорово!.. Только боюсь, вы не согласитесь...

Адъютант Потапенко был готов на все, точнее, почти на все. Втайне от Ваньки он начинал подумывать о возвращении к самому шумному варианту увоза с помощью санитарной двуколки.

— Да говори же наконец!

— Вовсе мне с ней одеждой поменяться! Я в ее одежду оденусь, она — в мою.

— В форму?!

— Ага!

Осмотрев новое Ванькино обмундирование, адъютант сразу оценил конструктивные достоинства нового предложения.

— Это выход!.. Так и сделаем... Только... косы! Куда она денет свои косы?

— А ножницы на что? Чик-чик, и готово!

— Ни за что в жизни!—простонал адъютант.— Косы— это... Ни одного сантиметра не отдам, об этом и говорить нечего!!!

Непомерная жадность влюбленного грозила если не испортить, то осложнить замысел. Вопреки пословице, приписывающей косам способность «находить на камень», в данном случае сами косы становились камнем преткновения.

Ванька понял, что спорить бесполезно, и только неодобрительно покачал головой.

— Из-за этих кос ей, Таисии, ух как попреть придется! — предупредил он.

— Почему?

— Шлем зимний опущенный надевать ей надо будет, опять же шинель накидывать, под ворот гимнастерки косы-то не полезут...

— Пусть шлем, пусть шинель, но косы должны быть целы! Я сам напишу ей об этом, и... она согласится!

Примерно в таком же духе были разработаны и остальные детали плана. С некоторым риском местом временного укрытия беглянки была намечена библиотека. За ее шкафами, стеллажами и сундуками, по авторитетному мнению Ваньки, можно было спрятать мамонта. Что касается завбиба, то адъютант Потапенко имел основание рассчитывать на его дружбу и романтический характер.

И действительно, втянуть завбиба в заговор труда не составило.

3.

Факт передислокации полка уже перестал быть военной тайной. Уже за Двиной на запасные пути товарной станции были поданы эшелоны. Уже двинулись к переправе первые фурманки, груженные кубами прессованного сена... Наступала очередь библиотеки...

Приготовления к отъезду были все сделаны. В «штаб-офицерской» царил беспорядок: пустые стеллажи, столы, скамьи сдвинуты со своих мест, частично даже вынесены на улицу. Библиотечные сокровища, за исключением книг, предназначенных для походных передвижек, уложены в сундуки и ящики. Каталоги, подшивки газет защищены в рогожные тюки.

Одна печь осталась на своем месте; Холодная, черная, она кажется завбибу очень печальной. Из жалости к ней завбиб набивает пустую топку мятой бумагой и мусором и зажигает. Красное пламя ярко вспыхивет. Три

минуты бешеного огненного танца, и в топке нет ничего, кроме горсточки серого пепла. Печь холодна и грустна по-прежнему. Чтобы утешить ее, завбиб гладит черное железо, потом, подобрав с пола кусок штукатурки, чертит на печке приличный случаю элегический экспромт:

О печь! Твоя судьба жестока,
Увезть тебя нельзя никак!
Благодарю ж тебя глубоко За теплоту... Но там, далеко,
Меня уж ждет иной очаг!
А может быть, попав на юг,
Где в силу климата, конечно,
Ни стужи, нет, ни зимних вьюг,
Тебе не изменив, мой друг,
Я стану жить вполне безопасно!



Завбиб каламбурил не так от безделья, сколько для того, чтобы заглушить чувство нарастающей тревоги: часы шли, с минуты на минуту могли подъехать фурманки, а Ваньки, вернее сказать, того, кто должен был появиться в Ванькином облике, все еще не было... Правда, солнце не закатилось, но июньское солнце в Архангельске имеет привычку чуть ли не круглосуточно висеть в небе. Да и сама наступавшая ночь сулила мало доброго. Общеизвестно, что многократно воспетые белые ночи не благоприятствуют побегам девиц, хотя бы и переодетых. А тут еще вездесущий военком! Знает же прекрасно, что библиотека готова к отъезду, но нет-нет и заглянет...

Только вспомнил завбиб о военкоме, тот уже гремит по лестнице.

— Завбиб, слушай приказание!.. К тебе лишняя подвода придет, рояль из клуба возьмешь и тоже в свой вагон погрузишь, Рояль и еще ящик с реквизитом,.. Не забудь, смотри!.. «Книгу вопросов и ответов» куда дел? Чтобы цела была! И держи ее под руками — могут быть вопросы в дороге... Передвижки в эшелоне политрукам раздашь... А это что?

И угораздило же завбиба забыть стереть написанный на печи экспромт! Смысл каламбура до военкома не дошел, но завбибовское желание «жить вполне безопасно» было расценено по достоинству.

— Мальчишка! И когда я только из тебя эту самую безопасность вытрясу!

Сказано это было, впрочем, беззлобно. К тому же читать нравоучение у военкома не было времени: начинал грузиться вещевой цейхгауз, и военком считал своей обязанностью там присутствовать.

— Не забудь того, что я тебе сказал! — крикнул он, уже сбегая с лестницы.

Завбиб облегченно вздохнул: написанный на печи экспромт сделал свое дело. Если б он не отвлек внимание военкома, тот наверняка заметил бы отсутствие Ваньки. Но следом за чувством облегчения снова пришла тревога. Когда солнце коснулось горизонта, завбиб наконец не выдержал и, опрометью сбежав по лестнице, выскочил на улицу. И, как сейчас же выяснилось, сделал это вовремя. С крыльца он увидел небольшую, одетую в военную форму (завбиб сразу узнал Ванькину темно-зеленую английского сукна шинель и зимний шлем) фигурку с мешком в руках, робко жавшуюся к стене. Робость эта объяснялась, очевидно, тем, что на крыльце стоял часовой с винтовкой: накануне отъезда выход из казармы без пропуска был запрещен. У завбиба пропуск был, и он поспешил на выручку.

— Я — завбиб,— сказал он, подходя к фигурке.— Идем-те со мной. Я

буду разговаривать с вами, как с больным Ванькой... Что, очень больно было, когда зуб рвали?

Вопрос, заданный нарочито громко, предназначался для часового. И нужно сказать, спутница завбиба молниеносно сообразила, как лучше всего на него ответить: громко охнула и, страдальчески махнув рукой, закрыла рукавом шинели всю нижнюю часть лица вместе с ямочками.

— Эх, жаль, заболел Ванька! — сочувственно сказал завбибу часовой. — Видать, лихорадка его трясет... От зубов так бывает... Держись, паря, небось скоро успокоится!

Через минуту беглянка была старательно спрятана в укромном уголке библиотеки за горой сундуков, тюков и наваленных друг на друга скамеек, а еще через десять минут ненужное по ходу повествования солнце скатилось в свой спальный мешок и наступили акварельные сумерки белой ночи. Благодаря наспех выдуманной зубной боли первая часть рискованного предприятия закончилась благополучно.

— Ой, как было страшно! — тихонько пожаловалась беглянка, вспоминая о только что перенесенной жестокой лихорадке.

— Теперь вам ровно нечего бояться: вас никто не догонит и не посмеет взять!

По мужественно-рыцарскому тону завбиба можно было понять, что жизнь и свобода его гостьи надежно оберегается всеми вооруженными силами республики. Но тон этот ни в какой мере не соответствовал собственным его переживаниям. Душа его, если можно так выразиться, в это время обреталась где-то чуть-чуть повыше пяток. Завбиб прекрасно знал, что достаточно будет военному краем уха услышать о Ванькиной болезни, и он моментально явится в библиотеку, чтобы собственноручно пощупать лоб и проверить пульс больного. Да и тревога за Ваньку постепенно перерастала в страх. И для того имелись основания. Тося (так просила называть себя гостья) принесла самые неутешительные известия.

— Когда я со двора убегала, он по двору гулял...

— Как гулял?! — опешил завбиб.

— Вместо меня, в моей одежде.

— Зачем?

— Так уж получилось.. Ведь из того, что мы затевали, ничего не вышло. Отец из дому ушел и вместо себя тетку оставил. Он строгий, она — в тысячу раз хуже! Такая неспустиха, каких свет не видел! Если я по двору гуляю, она сидит наверху и из окна за мной смотрит. Бывает, и сама на двор выйдет и за мной следком ходит: куда я, туда она. Я молчу, и она молчит. Если запеть попробуешь, сейчас же домой загонит.. Теперь еще такую

манеру взяла: в шесть часов вечера калитку запирает: боится, чтобы я на улицу не выглянула... Поначалу-то у нас с Ванюшкой все ладно шло. Он успел во двор прошмыгнуть. Зашли за дом и переодеваться стали: он — в мое, я — в его.

Только я раньше управилась, а он в сарафане запутался... Тут слышно стало, что в доме лестница закрипела, тетка пошла ворота запирает... Что делать? Он и говорит: «Беги сейчас же! Я как-нибудь удеру». Только я схватила мешок, только на улицу выскочила, а тетка уже на дворе. Хорошо, что она первым делом калитку запирает взялась. Замок тугой, сразу не поддается. Ванюшка тем временем управиться успел. Глянула я в щелку и вижу: он, опустив платок, по двору ходит, а тетка за ним. И ничего не подозревает: подол сарафана длинный, ни штанов, ни обмоток не видно. Попробовала я Ванюшку выручить, стала в калитку стучать. Все кулаки отбила, надеялась, что тетка отопрет, а Ванюшка проскочить сумеет. Куда там! Ведьма и ухом не повела. Она вечером никогда никому, кроме отца, не отпирает... Уж не знаю, что будет, когда отец вернется!..

— Он сильный?—с дрожью в голосе спросил завбиб.

— Отец-то?.. Мы раньше в Шенкурске жили, так он по городу первым кулачным бойцом считался... Да еще привычку имеет — когда вечером куда идет, обязательно в карман свинцовую закладку засунет. Быка одним ударом свалить может!.. И тетка, даром, что старая, а жилистая. Один раз она меня начать начала, я ей сдачи дала, так потом не обрадовалась...

Завбибу стало совсем страшно. Как ни ловок, ни находчив был Ванька, но одновременная схватка с сорокалетним опытным бойцом и жилистой теткой добра ему не сулила.

— А забор?—с угасающей надеждой спросил завбиб.

Тося сразу поняла смысл вопроса и вздохнула.

— Наш забор никому не одолеть. Четыре аршина высоты и доски так пригнаны, что кошке зацепиться не за что. Хорошо еще, что чекисты, когда отца сажали, наших собак перестреляли, а то бы они Ванюшку враз разорвали!..

Упавший духом завбиб был близок к панике. Он прекрасно понимал, что нужно немедленно что-то предпринять. Опасность, грозившая Ваньке, была так велика, что страх перед военкомом как ветром сдуло, но тот, как на зло, ис-чез из поля зрения, отлучиться же от библиотеки хотя бы на десять минут было нельзя. Конечно, случись что с Ванькой, военком не помиловал бы ни завбиба, ни самого адъютанта Потапенко, зато для выручки Ваньки были бы молниеносно приняты решительные меры...

Но ход событий не зависел от переживаний и намерений завбиба.

Вместо желанного в эти минуты военкома в «штаб-офицерскую» с шумом и грохотом ввалился взвод бойцов хозкоманды, назначенный для транспортировки библиотечного имущества. Передислокация есть передислокация! О задержке присланных фурманок не могло быть и речи, и завбиб скрепя сердце был вынужден взяться за руководство погрузкой. Впрочем, особого труда это не составляло. Под усилиями двадцати пар сильных рабочих рук тяжеленные сундуки с книгами так и взлетали на воздух. Хозяева этих рук, не дожидаясь команды, сами догадывались, где нужно было «заносить», где «кантовать», где «ставить на попа». Даже клубный рояль — огромный шредеровский концертный инструмент, физически громоздкий, но по характеру неженка, — был без особых хлопот два раза «занесен», «поставлен на ребро» и в конце концов благополучно погружен в фурманку на заботливо подложенные соломенные матрацы. Под благовидным предлогом наблюдения за целостью рояля завбиб успел весьма уютно пристроить рядом с ним заболевшего зубной лихорадкой «Ваньку». Конечно, сам он вплоть до переправы через Двину не отходил от доверенного ему драгоценного груза.

4.

В другое время завбиб непременно залюбовался бы красотой величественной северной реки, поэтически разнежившейся в призрачном сиянии белой ночи, но теперь ему было не до того: судьба Ваньки, оставшегося на правом берегу, черным камнем лежала у него на сердце.

А что сулил самому завбибу левый берег? Увы, если верить предзнаменованиям и приметам, на другом берегу его ждала какая-то неопределенная, но ужасная беда: возле самого берега на его пути стояла женщина, с ног до головы облаченная во все черное...

Завбиб вовсе не был мистиком, но появление «женщины в черном» пробудило в его голове воспоминания о великом множестве литературных precedентов. Женщины в черном бродили вдоль и поперек объемистых романов г-жи Радклиф и ее последователей, эпизодически, но весьма эффектно выступали на страницах повестей Киплинга и целыми толпами шныряли по новеллам, трагедиям и балладам декадентов всех толков. И в каждом случае появление этих особ предвещало гадость! Повстречавший женщину в черном в самом лучшем случае отделялся приступом меланхолии или недельным запоем...

Обилие литературных precedентов слегка беспокоило завбиба, тем более что на светлом фоне реки видение выглядело внушительно. В то же время в нем заговорил присущий ему дух любопытства — этого извечного

врага всякой мистики. После короткой внутренней борьбы завбиб начал, хотя и не очень быстро, приближаться к черному видению.

Между тем и черная женщина, видимо устав от долгой неподвижности, начала двигаться сама. Завбиб был уже достаточно близко, чтобы рассмотреть ее движения. Поступки ее были необъяснимы, поэтому таинственны. Нагнувшись, она подняла увесистый комок сухой глины, потом, отступив назад правой ногой (ровно настолько, насколько это позволял покрой длинного одеяния), круто развернулась назад правым плечом и, энергично размахнувшись, метнула свой снаряд в направлении левого берега.

Бывая у воды, сам завбиб любил от нечего делать заниматься метанием в воду подручных неодушевленных предметов, но женщина в черном оказалась непревзойденным в этом деле мастаком! Запустить комок глины за сорок метров он, завбиб, никогда не смог бы. И уж, конечно, такого броска никогда бы не сделала ни одна женщина в белом, голубом, розовом или пестром!

Совершив непосильный для обыкновенных, несверхъестественных женщин подвиг, женщина в черном нагнулась за новым метательным снарядом, причем ей пришлось вполоборота повернуть свое лицо в сторону завбиба, и... и над берегом одновременно прозвучали два возгласа:

— Завбиб!..

— Ванька!!!

Уволим читателя от описания объятий и поцелуев, которыми обменялись наши герои. Упомянем только, что эта трогательная сцена происходила на глазах двух или трех конюхов хозкоманды... Не отсюда ли пошла нелепая, вздорная, возмутительная легенда о том, будто завбиб перед отъездом из Архангельска всю ночь напролет до безобразия нежно прощался с какой-то монашкой? Классический пример того, как неправильно или недобросовестно истолкованный факт может стать поводом для злословия!

В сущности, на этом месте и можно было бы закончить затянувшееся описание событий достопамятной белой ночи, но автор хорошо знает, что обязательно найдутся читатели, избалованные приключенческими повестями, желающие узнать, что же все-таки произошло с Ванькой на купеческом дворе, как он оттуда удрал и каким образом перевоплотился в зловещую «женщину в черном».

Все произошло чрезвычайно просто...

Но прошу несколько минут внимания, товарищ читатель! В этом месте автору представляется нетрудная возможность, шутя и играя, написать

объемистую приключенческую главу, озаглавленную, скажем, так: «В цитадели классового врага», «Логово изувера», «На миллиметр от смерти» или как-нибудь еще забористее, но, видит бог, ни дарованиям приключенческих писателей, ни листажам, ни тиражам их книг автор никогда не завидовал.

Вопреки канонам приключенческого жанра, он не намерен насаживать свое повествование на стержень заранее запланированного сюжета и прикручивать героев к этому стержню тугими витками фабулы.

Автор твердо придерживается мнения, что, раз создав и «увидев» своих героев, писатель не только вправе, но и обязан предоставить им свободу мышления и действия в той мере, в какой обладают ею люди, облеченные в плоть и кровь. Мало того, автор убежден, что общепринятую в нашей стране заботу о людях нужно распространить на литературных героев. Только при этом условии они смогут показать свое настоящее «я». Конечно, писателю может быть неприятно, когда получивший самостоятельность персонаж, да еще возлюбленный автором герой счудит или даже наерундит, но что с ним поделаешь? Кто из живых не ошибается? Характер есть характер!

После такого разъяснения читателю должно стать ясно, что за все происшедшее на купеческом дворе отвечает не автор, а Ванька...

Итак, все произошло очень просто...

Гуляя по двору под наблюдением подслеповатой Тосиной тетки, Ванька вначале не очень тяготился своим положением. Ему было нужно дать Тосе время добраться до безопасного убежища в полковой библиотеке, а заодно как следует обдумать план собственного спасения. К тому же обстоятельства заставляли его очень вдумчиво и старательно играть невыносимо трудную и скучную роль степенно прогуливающейся благонравной девицы.

Двор был большой, со множеством пустующих хозяйственных строений: баней, конюшней, каретным сараем, коровником, погребам, амбарами, собачьими будками, но все они предусмотрительно были поставлены поодаль от забора. Воздвигая свою крепость, хозяин предвидел не только возможность проникновения противника извне, но и попытку бегства кого-нибудь из ее обитателей.

Из всей живности, населявшей когда-то усадьбу, сохранилась одна рослая черно-пегая корова, уныло пасшаяся по зарослям малосъедобного жесткого бурьяна. Лишь в одном месте виднелся небольшой, обнесенный решетчатой изгородью огород с двумя грядками лука и моркови. Третья грядка обработана не была и густо поросла сорняками, среди которых

заметно выделялась нежная зелень зацветающей каши ⁴.

Эта-то зелень и привлекала внимание Ваньки. Проникнув за ограду через узкую калитку, он сорвал пучок каши и направился к корове, повеселевшей при одном виде лакомства. Получив его, она увязалась за Ванькой.

Поступок племянницы (настоящая Тося боялась коровы) несколько удивил тетку, но, поскольку ничего предосудительного и, тем более, зазорного в нем не было, она оставила его без внимания. Повторив опыт с прикармливанием несколько раз, Ванька установил с коровой доброприятельские отношения. Однако, заготовив последнюю, самую большую охапку каши, он не стал торопиться с угощением.

Между тем начинало вечереть. Когда неумное солнце, по мнению тетки, скатилось достаточно низко, она поднялась со скамейки и тоном, не допускающим пререкания, скомандовала:

— Хватит, Таисия! Пошли наверх!

Племянница, стоявшая сажень в десяти от нее, предпочла не расслышать приказания.

— Кому сказано?! — повысив голос, сказала тетка.

Здесь произошло небывалое: племянница пренебрежительно отмахнулась от тетки рукой.

— Вот поначалу тебя как следует за косы, будешь знать, как рукой махать!

Но угроза, безотказно действовавшая раньше, на этот раз не сработала. И понятно: то, что тетка называла косами, было скрученным полотенцем, прикрепленным к стриженной Ванькиной голове туго завязанным платком. Свободный конец полотенца был скрыт белой сорочкой и черным сарафаном. Так поступала Тося со своими косами, когда их красота не была нужна.

Тетка глазам своим не поверила, когда в ответ на угрозу взбунтовавшаяся племянница показала кулак! Только когда кулак был показан трижды, она осознала тяжесть нанесенного оскорбления и ринулась в стремительную атаку. Тут-то и выяснилось, что она была не только жилистой, но и весьма проворной. Однако сейчас же оказалось, что начатая в бурном темпе игра в «кошки-мышки» складывается не в ее пользу. «Мышка» увертывалась самыми неожиданными, подчас невероятными способами. Иногда она подпускала преследовательницу совсем близко, но в последнюю минуту отскакивала в сторону или, пригнувшись, проскальзывала у нее под рукой, иногда же начинала кружиться вокруг какого-нибудь амбара.

Один раз Ванька явно вышел из роли, ошеломив тетку прыжком через собачью будку. Но этот фокус только подлил масла в огонь.

— Ах ты, соромница! Вот придет отец, будет тебе за это!..

Игра закончилась тем, что запыхавшаяся «кошка» вернулась на исходную позицию и в полном изнеможении опустилась на скамейку возле крыльца.

Ванька же, вконец измотав противника, безотлагательно приступил к выполнению задуманного плана. Забрав заготовленную охапку лакомой каши, он отнес ее в самый угол двора, выходивший сразу на две улицы, и положил ее там на землю. Убедившись, что корова незамедлительно проследовала туда же, он неторопливо направился к крыльцу. Походило на то, что дерзкая мышь добровольно лезла в мышеловку. На лице тетки в эту минуту нетрудно было прочесть злорадную мысль: «Иди, иди, голубушка, уж теперь-то я тебя...»

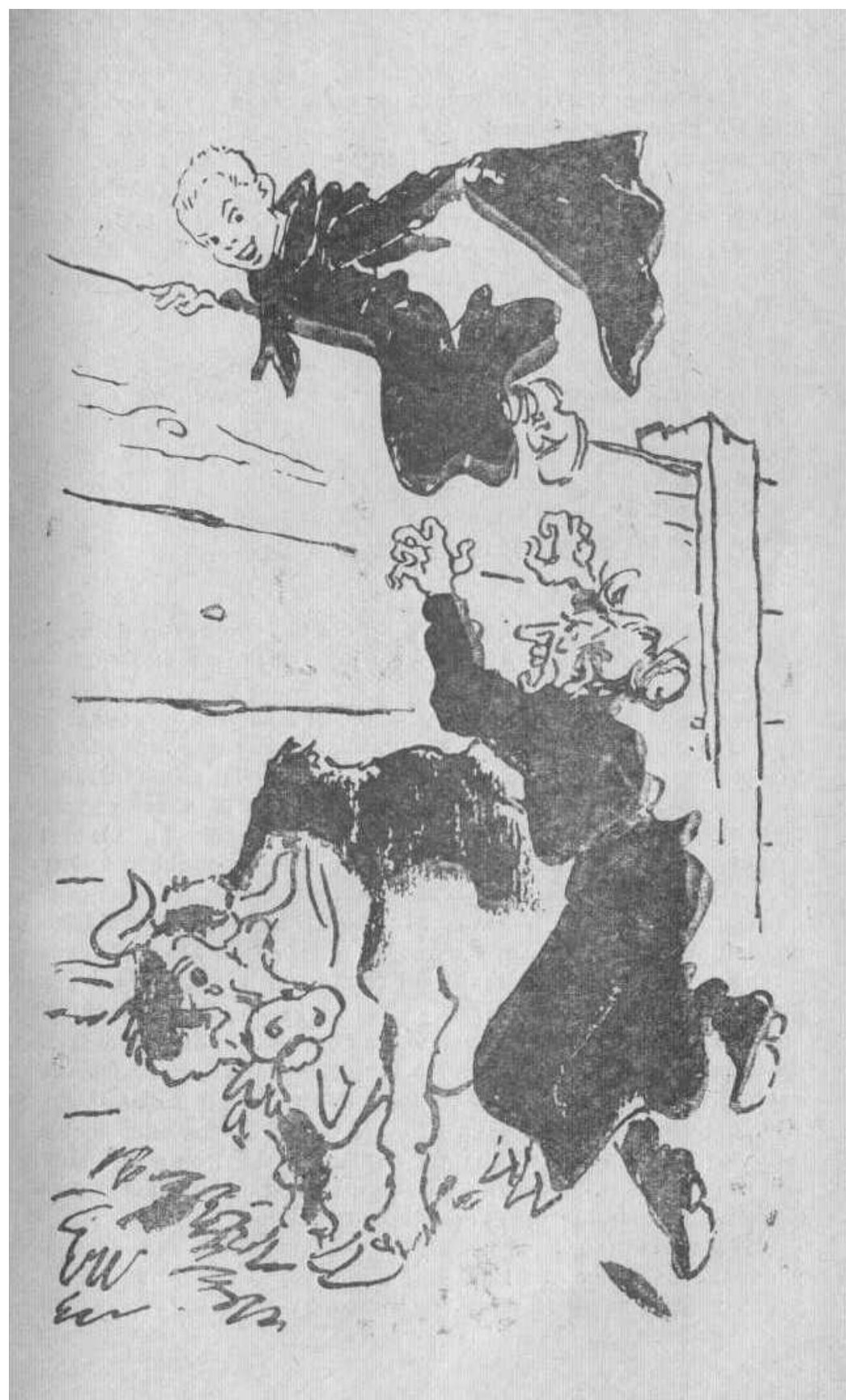
Но она так и не успела додумать, что сделает со строптивой ослушницей. В следующую минуту Ванька подскочил к ней сбоку и, прежде чем она успела ахнуть, сорвал с ее головы большой черный плат вместе с белым платком-наволосником.

Овладев этими трофеями, Ванька приподнял подол сарафана и во всю прыть помчался в угол, где пегая сладкоежка самозабвенно предавалась греху чревоугодия.

Нужно отдать ей должное: ошарашенная тетка сразу же обрела утраченную было силу и быстроту и ринулась за похитителем.

Но было поздно! Вспрыгнув на спину корове и используя ее как трамплин для следующего молниеносного прыжка, Ванька сидел верхом на заборе. Задержавшись на секунду на этой позиции, он вознаградил себя за два часа упорного молчания, крикнув бесновавшейся старухе всего два слова:

— Ух, ты ведьма простоволосая!



Эти слова прозвучали как заклятие! Осознав, в чем дело, преследовательница застонала и повалилась на землю. Она была опростоволошена! Утратив обязательный для вдовы головной убор, она безнадежно выбыла из строя, перестала существовать как боевая единица! Ни о погоне, ни о криках о помощи теперь не могло быть и речи: она не могла показаться на глаза людям.

Глава была бы неполной, если бы наутро автор не пригласил читателя заглянуть в уже погруженный библиотечный вагон, точнее, в дальний его закоулок, скрытый за роялем, стеллажами и тюками. Даже сам военком не догадался бы о существовании этого тайника, где завбиб укрыл виновницу бесчисленных вечерних и ночных треволнений!

Конечно, Тося была выбита из колеи и взволнована необычайностью обстановки, но было бы ошибкой полагать, что она уж очень сильно переживала потерю родного крова и разлуку с близкими родственниками. Судя по командировкам, которые то и дело давались Ваньке, ее гораздо больше интересовало, что делается в штабном вагоне. Адъютант Потапенко был занят по горло, но в записках и гостинцах от него недостатка не было. Изредка Тося осмеливалась даже, взгромоздившись на стеллажи, выглядывать из высокого окна вагона, но в таких случаях осторожный завбиб безжалостно пугал ее военкомом. Тот и в самом деле частенько прохаживался вдоль длинного эшелона, но на библиотечный вагон внимания обращал мало: он с неусыпной бдительностью следил за общим порядком и поведением своих многочисленных подчиненных.

Что доставило Тосе искреннее, не лишенное злорадства удовольствие, так это Ванькин подарок. Увидев в своих руках теткин двойной плат (он-то и был главным одеянием «женщины в черном»), она даже ахнула от удивления. Когда же узнала способ, каким он был добыт, пришла в неопикуемый восторг.

— Ты... ты ее опростоволосил?! Ванечка, миленький, дай, голубчик, я тебя за это расцелую! Так ей и надо! Ты поверить не можешь, как она надо мной издевалась!.. И по два часа молитвами мучила, и начала по-всякому... Раньше, когда я маленькой была, колотила, а потом за волосы таскала. Последнее время новую манеру взяла — щипаться... И ты ее опростоволосил!.. Вот потеха будет, когда узнают в Шенкурске!

При одной мысли о предстоящей в Шенкурске потехе Тося не удержалась от звонкого хохота.

— Кажется, военком сюда идет! — предупредил завбиб.

Тося приложила пальчик к губам и сжалась в комочек. Военком

представлялся ей в образе страшного бородатого буки, не брезгавшего человеческим мясом...

Но приходит конец всему, даже нудному ожиданию отправления поезда! По одному из путей, непрерывно свистя, проследовал длинный, приземистый паровоз «Щука». Судя по бесшумному ходу, он был отремонтирован на совесть, но внешне выглядел не очень-то презентабельно, очевидно, в мастерской, выпустившей его, не хватило кражи, и он был выкрашен местами в светло-зеленый, местами в черный цвет. Что касается тендера, то он не был выкрашен совсем. По многочисленным пробоинам в его ржавых боках можно было догадаться, что ему пришлось побывать не в одном бою.

Но не в красоте тендера дело, а в исправности двигателя и движителей! По силе, с которой пегий паровоз толкнул ожидавший его состав, стало понятно, что он в полной исправности. Из конца в конец эшелона пробежал лязг буферов.

После команды: «По вагонам!» пространство вокруг поезда сразу обезлюдело, а через полчаса после сигнала дежурного по станции паровоз протяжно свистнул, запыхтел и, затарахтев ведущими колесами, первым же рывком сдвинул с места тяжелый состав...

Теперь Тосю невозможно было оторвать от окна. Сверхалось то, что две недели назад казалось ей несбыточным.⁵

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

СУЩЕСТВУЕТ ЛИ НАСТОЯЩИЙ ЮГ? ВОЕНКОМ СИДОРОВ НА КОРОТКОЕ ВРЕМЯ ПОПАДАЕТ ВПРОСАК ТОСЯ СОГЛАШАЕТСЯ СТАТЬ КОРОЛЕВОЙ. НЕОБЫКНОВЕННЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ПРОБЫ ВОЛШЕБНОГО СВИСТКА

1.

«Щука»-паровоз по мудрому правилу «тише едешь, дальше будешь» неторопливо, но почти безостановочно тащит эшелон на юг.

На юг!.. На юг!.. — выстукивают на стыках изношенных рельсов старенькие двухоски. Вечные путешественницы, они прямо-таки захлебываются в восторге от того, что едут на юг, а не в другом каком-либо направлении.

Но что такое «юг», товарищи читатели? Автор склонен расценивать юг как весьма относительное, даже спорное понятие. Вот я, автор, сижу на своем рабочем месте. Письменный стол стоит севернее моего стула. Для того, чтобы взять ручку, я протягиваю руку в сторону острова Шпицберген.

За телефонной трубкой мне приходится тянуться на северо-восток. Протянув руку несколько дальше, я мог бы ухватиться за мыс Святой Нос. И если я воздерживаюсь от соблазнительной возможности сделать это, то отнюдь не из уважения к его святости, а потому, что у меня руки короткие. Сзади моего стула аппетитно плещется Черное море, но для водных процедур я пользуюсь более скромным водоемом — ванной. Не то чтобы я пренебрегал солнечным Черноморьем, но уж очень велика разница между семью метрами и семьюстами километрами пути!

Но что говорить об авторе, который бережно донашивает шестую по счету пару железных ботинок, отпущенных ему скупердядькой-судьбой. Гораздо интереснее узнать, как представляют себе юг три пассажира библиотечного вагона.

У Тоси было свое собственное оригинальное, но совершенно определенное представление о юге. По ее глубокому убеждению, он весь целиком вместе со всей его романтикой умещался в штабном вагоне, двигавшемся впереди нее. С каждой секундой она приближалась к нему, но противный юг удирал с точно такой же скоростью! Это было так обидно, что в конце длинного перегона до Холмогор она не утерпела и немножко поплакала.

Ванька, человек образованный, начитанный, к тому же не ослепленный любовью, имел о юге более солидные представления. Года полтора назад, добираясь до Архангельска, он уже побывал на юге — в Тюмени. Перми, Вятке и Вологде, но ему в то время было не до географии, и он не успел рассмотреть эти тропики. Теперь же, когда стояла великолепная июньская погода и в его распоряжении была широко раскрытая вагонная дверь, он ни на минуту не отходил от нее, боясь прозевать какую-нибудь характерную приметку юга.

Увы, вокруг вагона в дружном хороводе кружились давнишние его приятельницы — березки, елки и осинки. До Холмогор с этим еще можно было мириться, но когда выяснилось, что березово-елочный хоровод намерен сопровождать его и дальше. Ванька был разочарован. Начинало смеркаться (настоящей южной ночи не было и здесь!), а он так и не обнаружил ни баобабов, ни пальмовых рощ, ни караванов верблюдов. В сумерках, когда даже Ванькины глаза стали утрачивать зоркость, ему показалось, что на одной из сосен шевелится что-то живое, похожее на обезьяну, но, приблизившись, обезьяна уменьшилась в росте и превратилась в обыкновенную белку. Пара замеченных попугаев в какую-нибудь секунду обернулась в двух нахальных длиннохвостых сорок. Юг упрямо не хотел начинаться!

Кончилось тем, что за разъяснением этой аномалии Ванька обратился к завбибу. Было странно, но вопрос «где начинается юг?» заставил того задуматься. Тем не менее, его ответ своей неопределенностью Ваньку удовлетворить не мог.

Завбиб объяснил:

— Видишь ли, Ваня, Москва много южнее Архангельска и даже Вологды, но и она не совсем еще юг. Юг южнее...

— Я и без тебя знаю, что юг на юге! —сердито ответил Ванька. — Но где?

Хотя завбиб и сражался на Южном фронте, но из всех особенностей юга ему запомнились только белые мазанки да мягкий певучий говор украинцев. Не мудрено, что трудный вопрос о северной границе юга он разрешил с точки зрения москвича, никогда не бывавшего южнее Даниловского монастыря.

— Юг начинается примерно на линии Малоярославец Серпухов— Коломна.

Такой ответ, сдобренный ссылкой на определенные географические пункты, возможно, на время успокоил бы Ваньку, но сам завбиб очень скоро осознал его порочность и имел мужество тут же опровергнуть самого себя. Из нового, на этот раз длинного объяснения вытекало, что «настоящего юга» не существовало совершенно! Двигаясь на юг, ничего не стоило пересечь любую параллель, будь то северный тропик, сам экватор или южный полярный круг. Для того, чтобы побывать на «настоящем юге», казалось бы, нужно было добраться до южного полюса, где в одной точке сходятся все меридианы, но... не тут-то было! Так как меридианы не что иное, как воображаемые линии, сам полюс является воображаемой, реально не существующей точкой. Даже ухитрившись на нее сесть, нельзя было сказать: «Вот теперь я на юге, южнее уже некуда», так как каждая клетка тела сидящего обязательно была бы расположена к северу от полюса...

У завбиба не было под руками такого необходимого пособия, как глобус, но Ванька прекрасно помнил карту земных полушарий, заключенных в тюремную (к счастью для человечества, лишь воображаемую) решетку меридианов и параллелей. Поэтому после двух-трех дополнительных вопросов он смекнул, в чем дело.

— Если настоящего юга нет, то и настоящего севера то-же нет!.. Хорошо, завбиб, что мы в тот раз не стали на «Геorgia Седова» проситься! На хрен нам нужна воображаемая точка?

Хотя Тося слышала весь этот разговор, но никакого интереса к нему не

проявила. Она незыблемо верила в существование настоящего юга. Это была не какая-то воображаемая точка, а чернобрый добрый молодец, ехавший впереди нее в штабном вагоне!

Оживилась она только тогда, когда Ванька завел небезынтересный для нее разговор о ближайших планах клубной работы. Режиссер драмкружка был вдохновлен мыслью озаглавить новоселье полка постановкой «Великого коммунара», причем Ванька всеми способами отбрыкивался от выпавшей на его долю голубоватой роли молодой королевы. Свой отказ от участия в спектакле он прикрывал хитроумным политическим доводом, что ему, комсомольцу, не подобает «изображать монархию». Настоящая же причина была другая: внешне выигрышная роль требовала показного добронравия, а таковое после трудных ролей степенной купеческой дочери и медлительно-таинственной «женщины в черном» стало для него невыносимо. Если бы автор пьесы разрешил королеве хоть раз перепрыгнуть через собачью будку, тогда, конечно, дело иное... Как бы то ни было, Ванька вслух заявил, что охотно уступил бы эту прекрасную роль Тосе. Ссылаясь на свою неопытность, Тося протестовала, но тогда в разговор вмешался завбиб, авторитетно определивший, что из Тоси с ее волосами, увенчанными короной, должна получиться весьма импозантная молодая королева.

Спорить сразу с двумя Тося, конечно, долго не могла и изъявила согласие «попробовать», хотя она и «уверена, что ничего не получится».

После того как соглашение было достигнуто, по просьбе завбиба Тося спела (вполголоса, чтобы не привлечь внимание военкома) несколько песен и даже один романс. При этом ни сама исполнительница, ни очарованные пением слушатели не заметили, как она скользит по шкале «крещендо», добралась до «форте», как того, по ее мнению, требовала лирическая концовка романса.

2.

За порядок в эшелоне отвечал его начальник, но это, конечно, вовсе не означало, что дело обходится без активного вмешательства военкома.

Ветераны гражданской войны хорошо помнят, какое количество чрезвычайных происшествий было разбросано на путях следования частей молодой Красной Армии. Еще в самом Архангельске от эшелона отстали два молодых* только что мобилизованных бойца седьмой роты. В Холмогорах на небольшом пристанционном базаре патруль задержал штабного писаря, менявшего казенные ватные штаны на два стакана меда. На перегоне едва не свалился со ступенек вагона лекпом околотка,

сумевший найти доступ к бутылки со спиртом.

Когда подоспевший на великий шум военком попробовал досконально с ним потолковать, лекпом озадачил его удивительнейшим признанием:

— Я, товарищ военный комиссар, вас вполне понимаю, а вы меня не понимаете... Вы думаете, я лекпом, но я не лекпом, а зеленый змий... Вы спросите, отчего я зеленый?.. Отвечаю на ваш вопрос так: я зеленый оттого, что во мне содержится вещество хлорофилл... Это мне завбиб объяснил, когда я был бойцом Оськиным...

— Уложите его спать! — распорядился рассерженный военком. — Пусть хлорофилл выдохнется, а я к тому времени для него казнь придумаю.

Но такие происшествия погоды не делали. В двигавшихся на юг теплушках царили бодрый дух и веселье. Отовсюду неслись звуки гармошек, песни и удалой топот пляски.

3.

После хлопотливого дня военкому следовало хорошенько отдохнуть, и он уже было прилег на скамейке вагона. Но не тут-то было!

То, что он услышал сквозь дремоту, показалось ему сначала звуковой галлюцинацией, но, приподняв голову, он понял, что имеет дело с реальной действительностью, и кинулся к открытому окну. И успел как раз вовремя для того, чтобы расслышать, как не лишенный приятности женский голос вопрошал:

Кто-то мне судьбу предскажет?..

Кто-то завтра, милый мой,

На груди моей развяжет

Узел, стянутый тобой?..

Впереди штабного вагона шел вагон третьего класса, в котором ехали жены нескольких командиров. Военком знал их наперечет, но, по его убеждению, ни одна из них не обладала сколько-нибудь примечательными вокальными способностями. К тому же голос доносился откуда-то с хвостового конца состава, где не должно, а следовательно, и не могло быть ни одного существа женского пола. Возбуждал некоторую тревогу и смысл пропетого куплета: завязывание и развязывание узлов на чьей-то груди ни в какой мере не могло способствовать повышению боевой подготовки и политической сознательности личного состава краснознаменной воинской части.

Все же, рассудив, что под категорию ЧП пение романса не подходило,

военком решил отложить следствие до близкого уже утра.

Но что такое ночь и утро? Не было и половины третьего, когда из-за горизонта показался краешек солнца, а еще через двадцать минут вагоны загревели на стрелках, выбираясь на запасной путь большой станции Няндомы. Думать об отдыхе военкому не приходилось.

Большинство бойцов, утомленных предыдущей бессонной ночью и впечатлениями первого дня путешествия, сладко спали. Бодрствовали только дневальные и дежурные. Поэтому на остановке из вагонов вышло мало народа.

Спрыгнув с подножки, военком потолковал с начальником эшелона и дежурным по станции. Стоянка обещала затянуться, и он решил размять ноги, прогулявшись по деревянному перрону.

Здесь-то и подстерегло его очередное происшествие!

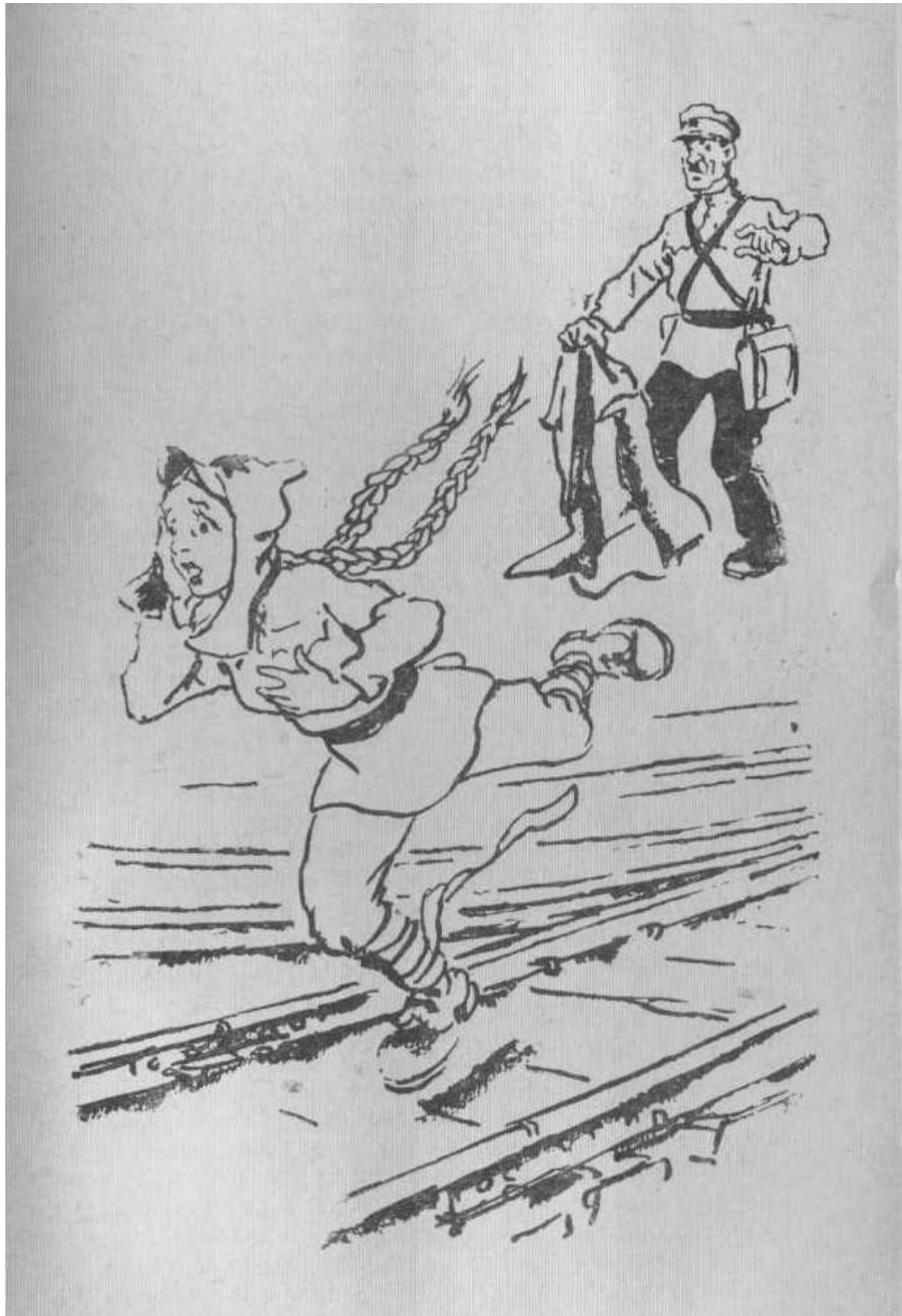
Глазастый военком издали, метров за пятьдесят, рассмотрел Ваньку, вылезавшего из библиотечного вагона. В появлении Ваньки, собственно, ничего странного не было (военком даже хотел подозвать его и спросить — не слышал ли он ночью какого-нибудь пения), но уж очень его поразило несуразное Ванькино одеяние и его манера держаться. Парень, безбоязненно переплывавший Двину накануне самого ледостава, в разгар ведренного июньского утра напялил на себя опущенный зимний шлем и накинул на плечи шинель с расстегнутым хлястиком! Но еще более удивительным казалось его поведение. Боязливо оглядываясь, он перебежал свободный первый путь и, прошмыгнув вдоль забора, проскользнул за тесовую стену, на которой черным по желтому было написано: «Для женщин».

Долгое время ведя воспитательную работу, военком успел изучить все виды преступлений, проступков, проявлений безнравственности и человеческих слабостей. По его классификации, учиненное Ванькой бесчинство следовало рассматривать как «охальство», подлежащее немедленному искоренению.

Скидок на безграмотность и несознательность Ваньке не полагалось, и церемониться с ним военком не собирался. Поэтому, продолжая прогуливаться, но постепенно скрадывая расстояние, он приблизился к убежищу охальника и занял удобную позицию в пяти метрах от него.

Ничего не подозревавший Ванька попал в засаду самым жалким образом! Военком ухватил его за ворот шинели в ту секунду, когда он собирался слезть с перрона. Но тут-то и произошло нечто непредвиденное. Только собрался военком окунуть Ваньку в перекись водорода, тот взвизгнул девичьим визгом и, оставив в руках преследователя шинель,

кинулся к вагону. Ослепленный красотой и блеском русских кос, военком был не только ошеломлен, но и испуган.



Догадливый читатель, конечно, сразу понял, что произошло... Но крайнее замешательство и испуг военкома требуют специального разъяснения. Этот сообразительный, находчивый и решительный человек при встречах с представительницами другого пола утрачивал больше половины перечисленных качеств! Наиболее хитрые и нахрапистые из жен командиров не без выгоды для себя использовали такую его слабость. Сам он объяснял ее боязнью допустить в разговоре какое-нибудь «правофланговое выражение», но автор склонен думать, что дело обстояло не так просто. Шумоватая ругливость военкома служила ему как бы щитом, маскировавшим его врожденную доброту. Но если этот бутафорский щит в какой-то мере мог оборонять его от не слишком проницательных лиц одного с ним пола, то перед женщинами он бывал беззащитен. Джентльмен и рыцарь по натуре, он, кажется, больше всего боялся обидеть одно из этих хрупких и нежных созданий. И вот...

Сознание содеянного им зла, однако, не помешало военкому, сопоставив факты, довольно правильно оценить создавшуюся ситуацию. Всему виной был, конечно, несознательный культпросвет — завбиб, сманивший в Архангельске девчонку и спрятавший ее в своем вагоне. В свете такого открытия ночное пение перестало быть таинственной загадкой. Что касается Ваньки, то вещественные доказательства в виде шинели и шлема полностью изобличали его как соучастника предосудительного поступка завбиба.

Но одно дело уяснить обстоятельства, другое — определить, как действовать дальше... В то же время, стоять на перроне с Ванькиной шинелью в руках до бесконечности было невозможно, и военком решил начать действовать без заранее намеченного плана, полагаясь на совесть — вечного своего спутника, друга и мучителя.

Еще подходя к библиотечному вагону, он расслышал тихие, тщательно, но тщетно сдерживаемые рыдания, заглушавшие полушепот завбиба. Поэтому он предварил свое появление покашливанием. Рыдания и полушепот сразу стихли, и в двери показалась стриженная голова настоящего

Ваньки, глядевшего на военкома почтительно, но не без лукавства. Было ясно, что он со своего поста прекрасно видел все происходившее на перроне и теперь с интересом ожидал, как будет выходить из создавшегося положения промахнувшийся военком.

Военкому в эту минуту очень хотелось высказаться досконально, но обстоятельства начисто исключали такую возможность. Он даже не

решился влезть в вагон. И вообще повел себя так, будто перед тем ничего особенного не произошло: бросил Ваньке его шинель и сказал:

— Не разбрасывай казенное имущество где попало... Завбиб спит еще?

По тону самого вопроса Ванька догадался, что ему надлежит соврать, что он и сделал с величайшей готовностью:

— Спит еще, товарищ военком!

— Пусть спит. Передай ему, чтобы на следующей стоянке он зашел ко мне... В вагоне все в порядке?

— Так точно, товарищ военком, полный порядок!

Здесь уже военком Сидоров не выдержал! Сделал свирепое лицо и в высшей степени сердито погрозил Ваньке указательным пальцем.

Нельзя сказать, чтобы, отходя от библиотечного вагона, он был очень доволен самим собой: из-за его попустительства узаконивалось беззаконие. Оставалось утешаться тем, что после разговора с вконец распутившимся завбибом он, военком, примет беспрецедентное по своей суровости решение...

Пока военком оттачивал меч правосудия, в библиотечном вагоне, разумеется, не дремали. Получив от завбиба соответствующие инструкции, Ванька проскользнул под вагон и, оказавшись на другой стороне пути, помчался к штабному вагону со скоростью, которой позавидовал бы сам электрический чертомет. Через какие-нибудь пять минут адъютант Потапенко был уже в курсе всех событий. Больше всего взволновал его, однако, не Ванькин рассказ, а крошечный, не больше тополевого листочка, клочок бумаги, на котором трепетной рукой было начертано:

«Вася! Я погибла».

Еще через три минуты Ванька несся в обратном направлении, а через четыре Тося... улыбалась! В ее руке был ордер на счастье. Да, да, именно ордер! Ибо как иначе можно назвать документ, гласивший:

«Дорогая Тая! Клянусь тебе, что все будет в полном порядке! Всегда твой В. Потапенко».

На что рассчитывал адъютант Потапенко, выдавая этот ордер, откуда почерпнул он уверенность, что «все будет в полном порядке?»

К его чести нужно сказать, что, получив сигнал бедствия из библиотечного вагона, он твердо решил подставить под первый удар карающего военкомовского меча свою собственную голову. При этом послужить ему щитом могла одна только полная и честная откровенность. По расчетам Потапенко (в оружии он прекрасно разбирался и знал характер военкома), ударившись о такой щит, меч должен был со звоном отскочить и

отправиться восвояси в ножны...

То, что, подходя к штабному вагону, раздосадованный военком встретил первым не кого-либо, а адъютанта Потапенко, отнюдь не было случайностью. Не покажется читателю странным и то, что военком Сидоров воспользовался этой встречей (читатель, конечно, помнит, как он прибегал к советам полкового адъютанта) для того, чтобы поделиться своим гневом на беспутного завбиба.

— Знаешь, что отчубучил этот тихоня — завбиб, окунуть его с головой в йод, бром и касторку?! Сманил в Архангельске какую-то девчонку и везет ее в своем вагоне... Вот возьму его за чуб, а ее за ко...

Добраться до неприкосновенных Тосиных кос военкому не удалось.

— Разрешите доложить, товарищ военком полка! Мне об этом известно!—отчеканивая каждое слово, сказал Потапенко.— Девушка, которая едет в библиотечном вагоне,— моя невеста. Ответственность за проступок завбиба целиком лежит на мне, так как он действовал, выполняя мою товарищескую просьбу!

Случилось то, что можно было предвидеть: меч отскочил от щита. При этом очень трудно было определить, что больше подействовало — само сообщение или не частое в военном обиходе слово «невеста». Кто как, а автор слышит в этом ласковом и светлом слове нежный шелест листьев молодой березки, колеблемых весенним ветром... Поставить такое слово в одной строчке с йодом и касторкой не решился бы не один циник!

— Невеста? - переспросил военком. - Невеста... Так, значит, она - твоя невеста?

При каждом повторении слова голос его все более смягчался. В конце концов в том, что у молодого полкового адъютанта оказалась невеста, ничего удивительного не было. Такое могло случиться со всяким.

— Гм... Отчего же ты с ней не расписался в Архангельске?

— По недостатку времени и ее семейным обстоятельствам. Ей пришлось бежать из дому.

Опустим полностью рассказ адъютанта Потапенко, отметив только его полную правдивость. Услышав о социальном положении Тосино отца (Потапенко без обиняков назвал будущего тестя классовым врагом и заядлым контрреволюционером), военком было нахмурился, но ненадолго. Из дальнейшего явствовало, что порвавшая с домом несовершеннолетняя девушка не могла отвечать за отца... Ее» скорее всего, следовало считать вырванным из вражеских рук трофеем, а еще точнее —освобожденной пленницей...

На этом месте карающий меч правосудия, не отведав ничьей крови,

возвратился домой, в свои ножны, а военком Сидоров вновь обрел утраченные на время находчивость и решительность.

— Тогда я вот чего скажу: здесь не Архангельск и маскарад пора кончать. Есть у нее во что одеться?

Все приданое Тоси заключалось в черном сарафане и знаменитой трофейной шали. Такой траур явно не подходил к случаю, и военком решил:

— Пусть возьмет Ванькины туалеты и приоденется. Дойди туда сам и объясни, что, мол, давеча недоразумение получилось и военком-де очень о том сожалеет... А я... Эшелон еще часа полтора простоит, так я в семейный вагон загляну, местечко для нее присмотрю и заодно агитацию среди жен проведу, чтобы они по-хорошему новую пассажирку встретили.

3.

В конце долгой стоянки на станции Няндомы пассажиры эшелона стали свидетелями красочной процессии, проследовавшей вдоль почти всего состава. Впереди шла Тося.

Одетая в нарядное платье (оно очень к ней шло, хотя и было широко в плечах). Сопровождали ее адъютант Потапенко, завбиб и Ванька, без всякого труда тащивший в одной руке все Тосино приданое.

Возле штабного вагона процессия встретила военкома Сидорова. Кто был больше смущен при состоявшемся знакомстве — он или Тося, определить трудно. Однако первой оправилась от смущения Тося, сказавшая:

— Я почему-то думала, что вы бородатый и очень страшный, а вы не такой уж страшный.

Проведенная военкомом в семейном вагоне агитационная работа сделала свое дело. Двенадцать командирских жен буквально сгорали от нетерпения увидеть невесту полкового адъютанта (он слыл в полку первым женихом, в то время как завбибу был присвоен незавидный четырнадцатый номер!). Когда она пришла, точнее, прибыла в окружении всей своей свиты, в вагоне начался целый переполох.

Что касается первого впечатления, которое произвела Тося на своих будущих подруг, то непринужденнее и откровеннее всех высказала его самая молодая и самая красивая:

— Слава тебе господи! — воскликнула она, хватая Тосю в объятия. — Теперь нас этот Рыжий Сор перестанет мучить!

Такая странная на первый взгляд похвала станет понятной, если мы поясним, что под Рыжим Сором подразумевался не кто иной, как режиссер

клубного драмкружка, который и впрямь был рыжеват. Таким образом, похвала Тосиной наружности сочеталась с личными интересами и чаяниями хвалившей. В ее искренности сомневаться не приходилось.

И в самом деле, только одна из пассажирок семейного вагона (старшая из всех) посмела вполголоса высказать мысль, что полковой адъютант мог выбрать кого-нибудь получше. Однако ее мнение во внимание принято не было. И уж совершенно не было замечено отсутствие у Тоси багажа, наводившего на мысль о богатом приданом. Великая бедность была общим уделом всех командирских жен и не считалась несчастьем. Трудно сказать, сколько лишений и горя перенесли эти женщины, шедшие рядом с мужьями по трудным и опасным дорогам гражданской войны. Только любовь, только дружба и взаимная помощь скрашивали их тяжёлую, подчас ненадежную жизнь. Тося сразу и безоговорочно была принята в их семью. Дружба распространилась и на нее. Ощупав швы ее платья на плечах и груди, одна из женщин предложила:

— Вечером, когда ложиться будешь, платьишко-то мне отдай, у него плечики ушить надобно, а в груди отпустить маленько. Сейчас солнце долгое, я с этим делом до побудки управлюсь.

— На юг, на юг, на юг!.. — тархтят по изношенным рельсам старушки-двухоски. Тосе же теперь юг вовсе не нужен: ее сердце рвалось на юг, когда она в хвосте поезда ехала, а перешла в голову, и сразу сердце к северу потянулось: должно быть, прав был завбиб, утверждавший, что настоящего юга нигде нет!

Уже изрядно стемнело, когда поезд ни с того, ни с сего остановился на перегоне между двумя станциями. Глянула Тося в левое окно — один лес еловый чернеет, глянула в окно направо — такой же лес и никого на полотне не видно. Только успокоилась и села на место, как одна из командирских жен тревогу подняла:

— Глядите, бабоньки, никак Рыжий Сор бежит.. Ей-богу, он! Уже пронюхал, чертяка: ведь это он по твою душу торопится, Тайка!

— Давайте дверь припрем!

Взяли и перед носом режиссера дверь на площадку закрыли и скопом на нее навалились.

— Спой сначала, может и пустим!..

Чего ради искусства не сделаешь? Из-за двери донеслось:

— Красны девицы вы, красавицы,

Отопритесь, отомкните!..

— Непорато поешь!

Поглумились, поизгилялись над жрецом Мельпомены, потом, конечно,

впустили.

— Где у вас тут новенькая?

Тося стоит перед ним ни жива ни мертва, раздумянилась вся, глаза долу опустила: шутка ли — о том идет речь годится ли она в королевы.

Правду говоря, походила она в ту минуту не на королеву, а на юную царевну из старой русской сказки, но, спрашивается, какой дурак король отказался бы жениться на русской царевне?

Режиссер долго раздумывать не стал и не без торжественности приступил к делу.

— От имени драмкружка и с разрешения военкома я пришел просить вас принять участие...

Каково же было изумление, даже ужас Тосиных спутниц, когда она негромко, но довольно твердо заявила:

— Я попробую... Правда, я никогда не играла и не знаю, получится ли, но я постараюсь...

На обратном пути режиссер заглянул, по меньшей мере, в двадцать вагонов, выклянчивая у кого-нибудь пустую "золотую" банку из-под трофейных американских консервов. В Архангельске это добро можно было добыть без всякого труда, а тут ни у кого нет. Найдя и конфисковав искомое сокровище в двадцать первом вагоне, неутомимый режиссер отнес его знакомому слесарю-оружейнику. Гот даже рот разинул от удивления, получив заказ на изготовление скромной, но элегантной короны для королевы!

Если Тосино переселение вызвало веселый переполох в скучноватом дорожном быту командирских жен, то в библиотечном вагоне сразу потоскливело. Она унесла с собой добрую половину романтики путешествия. Правда, Ванька в какой-то мере утешался и развлекался созерцанием новых мест, но завбиб загрустил не на шутку. Конечно, он ни за что не сознался бы в этом, но в одном из сокровенных уголков его души, подобно мыши, начало скрестись поганенькое, серенькое чувствишко, похожее на зависть к удачливому адъютанту Потапенко. Товарищество оставалось товариществом, но... как хорошо было бы, если бы в мире существовала вторая Тося! Уж тогда-то завбиб н; преминул бы повторить опыт счастливец... Увы, мечтая о второй Тосе, поэт упускал из виду простую истину: то, что легко удастся первономерным женихам, для женихов с двузначным номером не всегда достижимо! К счастью для себя, завбиб не знал своего номера...

На одной из стоянок, чуть ли не в Данилове, приходил в гости военком Сидоров. Влез, сел на ящик с книгами и завел деловой разговор о работе

передвижек. После о том, о сем потолковали. Но под конец военком не выдержал, помянул-таки старое.

— Следовало бы мне вас обоих за одно дело пропесочить, но уж так и быть, на первый раз прощаю...

Ванька, стоявший рядом с военкомом, успел подмигнуть завбибу и, возможно, тем самым подстрекнул его на возражение.

— Я считаю, товарищ военком, что нам прощать нечего. Если проанализировать все как следует, мы ни в чем не виноваты...

— Ишь ты, какой аналитик выискался!.. Анализировать, знаешь, где хорошо? Сидючи на гауптвахте — вот где! Сиди и на досуге разбирайся, какого ты дурака сваял... Я, например, считаю, что вы в партизанщине виноваты!

При слове «партизанщина» военком недвусмысленно кивнул в сторону Ваньки и тут же развил мысль, что хотя Ванька и является закоперщиком и главным действующим лицом событий последней архангельской ночи, но отвечать за все ее последствия должны были бы старшие по возрасту и служебному положению. Это было справедливо, но зав-биб считал, что рискованное предприятие если не полностью, то на три четверти оправдывалось пламенной любовью двух его участников и обстановкой, требовавшей немедленного действия. Свои аргументы завбиб облек в изящную, почти поэтическую форму, что и возмутило военкома.

— Ты мне канарейкой не пой, а скажи коротко и ясно, что один из твоих приятелей от любви опупел, а второй — сорвиголова партизанского воспитания. А ты, умный человек, о чем в ту пору сам думал?

— Я думал о том, чтобы помочь товарищу. Кроме того, я исходил из гуманных соображений. Нужно было постараться освободить девушку от цепей старорежимного семейного быта.

— Час от часу не легче! То стихи пел, теперь в философию ударился: «проанализировать», «гуманные соображения»... Ты мне баки не забивай, я сейчас с тобой не доскональный разговор веду, а по душам беседую. Врешь ведь ты, что о старорежимных цепях думал. Ты в ту пору одного боялся — как бы я про ваш маскарад не пронюхал... Чего молчишь? Крыть нечем?..

Что можно было противопоставить такой проницательности?

Только откровенность! Завбиб так и сделал.

— Верно. Вначале так и было...

— А о том, зачем военком к полку приставлен, небось не подумал... Военком приставлен для того, чтобы всех вместе и каждого в отдельности воспитывать, обо всех заботиться, для каждого советчиком быть. То, что ты ко мне не обратился, двумя причинами объяснить возможно: или ты

недодумал, либо я плохой военком, доверия не заслуживаю и в гуманных соображениях не разбираюсь.

— Это уж неверно! — горячо запротестовал завбиб.— Ничего подобного я никогда не думал и, сами знаете, с вашими советами всегда считаюсь! И, если хотите знать, после вашего ухода я очень жалел, что ничего вам не рассказал. Даже искал вас, только от библиотеки далеко мне уходить нельзя было, потому что подводы должны были приехать...

— Значит, тебе военком в пустой след понадобился! — констатировал военком.

Все же объяснения завбиба, по-видимому, были приняты во внимание, так как военком сейчас же переключился на Ваньку.

— Ну, а ты, закоперщик, о чем думал, когда на рожон лез?

— Я, товарищ военком, наперед знал, что все хорошо будет! — отчеканил Ванька.

— Смотри, какой прорицатель выискался! А если б тебя купец заграбастал?

— Я бы его в самую крайнюю минуту, когда он в ворота входил, с ног сбил бы... Еще у меня в кармане свисток был.

— Какой свисток?

— Наградной. Его по Ерпанову заказу один татарин из конца Мамонтова рога выточил, а Ерпан мне подарил зато, что я лодку у беляков угнал.

— Что бы ты с тем свистком сделал? — пренебрежительно спросил военком.

— Что Иван Крестьянский сын делал с рожком, когда Царь-девицу выручал?.. Как он задудит в него, перед ним целое войско появилось. Такое войско, что любую крепость взять может... Сзади купеческого дома лестница на крышу была, влез бы я на крышу и засвистел...

— И что получилось бы?

— Не то что сторожа и милиция, сама губчека прискакала бы!

Из всех видов доказательств военком Сидоров больше всего ценил, за их наглядность, доказательства делом.

— Давай-ка свой свисток сюда, испробуем его волшебство.

— А стоит это делать, товарищ военком? Он ведь на тайгу рассчитан...

— Ага, на попятный двор пошел?!

Такого упрека Ванька вынести не мог, полез в потайной карман штанов и достал волшебный свисток.

Как уже говорилось, дело происходило на большой станции, и военком полагал, что Ванькин свист будет немедленно заглушен паровозными

гудками, дудками стрелочников, звоном станционного колокола, лязгом буферов и стуком колес, но при этом он недооценивал по меньшей мере трех обстоятельств: искусства мастера-костореза, силы Ванькиных легких и крепости мамонтовой кости.

— Чего станем войску командовать, когда оно появится?— с сомнением спросил Ванька, поднося свисток к губам.

— Это уж моя забота! — самонадеянно ответил военком.

В следующую секунду ему и завбибу пришлось затыкать уши. Тщетно пытался военком остановить Ваньку криком. Свист продолжался до тех пор, пока через пищик не прошел последний кубик заготовленного Ванькой воздуха.

Результат опыта не замедлил сказаться. На станции воцарилась тревожная тишина. Конфузливо замолчали посрамленные маневровые паровозы, попадали из рук пораженных стрелочников слабые дудки. Не меньше двух минут понадобилось дежурному по станции, диспетчерам и их подчиненным — движенцам и путейцам, чтобы восстановить ритм работы.

Между тем вокруг библиотечного вагона начало собираться обещанное Ванькой войско. К месту происшествия устремилось все свободное от дежурств и нарядов население теплушек с самим начальником эшелона во главе.



Другого неожиданный результат пробы Ванькиного наградного свистка мог бы застать врасплох, но не таков был военком Сидоров! Он усмотрел в появлении войска не Ванькину победу в споре, а прекрасный повод для беседы с бойцами. За выбором темы дело не стало, ее подсказало само содержимое вагона.

Сказанная экспромтом речь военкома, на взгляд автора, вполне заслуживает благосклонного внимания читателей.

— Товарищи бойцы и командиры! Пригласил я вас для беседы по серьезному и неотложному вопросу: идет воинский эшелон, а в том эшелоне три вагона едут: один со жратвой, второй с обмундированием, третий по самую крышу книгами загружен, и требуется нам с вами решить задачу: какой из тех вагонов всего для нас важнее?.. О жратве и одежде говорить много нечего, всякий дурак понимает, что без них долго не проживешь — либо с голоду окочуришься, либо от первого зимнего мороза околеешь, а вот о культурном богатстве правильного понятия многим не хватает. Я же по этому поводу скажу так: если мы свою рабоче-крестьянскую власть утвердили и хозяевами своей жизни стали, то для нас культура в одну строку с хлебом и штанами стала. Если мы сейчас взамен буржуазной культуры своей пролетарской культуры не создадим, мировая буржуазия нас всех за один присест со всеми потрохами слопаёт и не подавится. Вот, товарищи, и выбирайте, что лучше: от голода распухнуть, от мороза простуду схватить или вовсе бесславно в вонючей буржуйской утробе погибнуть ?!

Для того, чтобы собравшиеся осознали весь ужас и позор такой гибели, военком Сидоров сделал небольшую, но прочувствованную паузу. И он достиг цели: слушающие застыли в позах напряженного внимания.

— Орлов из хозкоманды знаете?—негромко, с видимым добродушием спросил он.

Странное дело! Невинный вопрос вызвал в толпе бойцов заметное оживление. Причастные к хозкоманде «орлы» торопились исчезнуть в задних рядах за спинами товарищей.

— До чего скромный народ пошел! —пояснил это движение военком. — Только надумаешь кого похвалить, он в кусты прячется... Я ведь всерьез хотел их похвалить. Посмотришь на них, когда они с увольнительными записками в город идут, сердце радуется: все побритые, у всех подворотнички подшиты. Шаровары им новые выдали, так они их за три дня на галифе перешили...

Чем больше военком расхваливал «орлов», тем старательнее они

прятались.

— А в карманах тех галифе кисеты с махоркой лежат и, понятно, бумага раскурочная, и не обыкновенная, а особая - из библиотечных книг вырванная. И, получается, что орлы эти (окунуть их в огуречный рассол и ализированные чернила!), вовсе не орлы, а дикие, некультурные крысы!

— Доверили им передвижку, а они ее на раскур пустили. От «Ледяного дома» Лажечникова один переплет с корешком оставили, "Сороку-воровку" целиком растащили и еще пол-Джека Лондона выкурили и четыре странички из букваря... А букварь не простая книга, а ключ ко всякой культуре!

Тяжелый случай с букварем и дал военному возможность перейти к основной, и нужно сказать, очень важной теме беседы - к ликвидации безграмотности и малограмотности: по спискам личного состава значилось в полку, при далеко не полном его составе, сто двадцать человек неграмотных и около четырехсот малограмотных.

Впрочем, последнюю цифру военком брал под сомнение.

— Есть у нас и такие, которые по складам читать умеют и на этом основании считают себя дюже образованными, а сами не знают, каким концом ручку в чернильницу кунать. Другой пишет себя грамотным потому, что расписываться кое-как научился, а попроси его «мама» написать, он не осилит. Хуже всего, что такие грамотеи своей неграмотности стыдятся, как глупые больные дурной болезни. Заявляю со всей ответственностью, что ни в болезнях, ни в безграмотности нашей никакого позора нет, позор за наши болезни и невежество на царском режиме лежит! И наша сегодняшняя задача — от этого царского наследства как можно скорее избавиться.

Сейчас по всей стране ликбез полным ходом идет, и тем, кто в этом деле отстанет, потом пожалеть придется... Ребята вы молодые, здоровые, как на подбор. Многих из вас жены и невесты ждут, и очень возможно, что они, не теряя времени на раскуры и перекуры, на ликбез налегают. И как бы кое с кем из вас не случилось неприятности. Приедет жених домой, а невеста потолкует с ним пяток минут да и скажет: «На что ты мне такой сиволдай и несознательный невежда сдался!» Мало того, что так скажет, а еще плюнет наземь и ногой разотрет!.. Вот какая срамота получиться может! Поэтому, товарищи, я призываю вас всех немедленно вступить в ряды ликбеза... Кто желает грамотность приобрести или повысить, может записаться в этом самом вагоне у завбиба.

Наделал Ванькин волшебный свисток завбибу хлопот полон рот!

А эшелон, знай одно, в южном направлении идет... То не больно торопился, а от Ярославля скорость набирать начал. Думал завбиб в Москве с братом повидаться, но не вышло. Не довелось и Ваньке в тот раз посмотреть знаменитые столичные диковины. Приехали в Москву поздним вечером и, не доезжая Ярославского вокзала, через Окружную дорогу, выехали на Рязанскую и снова на юг покатали.

От такого разочарования и дорожного безделья у Ваньки настроение испортилось. Сначала он с завбибом поссорился, потом (подумать только!) автору досаждать начал...

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ
НЕВЕРОЯТНЫЙ ПОСТУПОК ВАНЬКИ ПЕРЕКРЕСТОВА.
ЧАС В ОБЩЕСТВЕ БОГИНЬ.
ТВОРЧЕСКАЯ КОМАНДИРОВКА В 1922 ГОД.
БЫВАЕТ ЛИ ГНЕВ ВЕСЕЛЫМ?

1.

Автора неоднократно упрекали за манеру вступать в фамильярный разговор с читателями. Он и сам хорошо понимает, что такой прием не совсем профессионален, но ничего не может поделать со своей разговорчивой натурой. В конце концов автор тоже человек. Допустим, что ему хочется пожаловаться на своего героя, а к кому с такой жалобой пойдешь, уж не к критикам ли?.. Нет! Если жаловаться, так высшему начальству — тебе, тысячеголовый Товарищ Читатель!

Дело в том, что Иван Перекрестов окончательно меня замучил: ходит повсюду за мной следом и требует:

— Даешь нагрузку!

— Какую тебе нагрузку дать, Иванушка?.. Чего бы ты сам хотел?

Всего хочу: учиться хочу, работать хочу, воевать с Кощеем хочу...

— По творческому моему плану ты должен сейчас, в 1922 году, находиться и сидеть в эшелоне, который идет на юг. О твоей учебе и работе станем толковать, когда на место назначения прибудешь, а Кощея Бессмертного совсем из головы выбрось: я свое повествование в реалистическом плане веду, даже хронологическую последовательность соблюдаю, и не смей меня в сторону сказочной символики и мифологии подталкивать, потому что на этом месте я очень легко без твоей помощи поскользнуться могу!.. Понимаешь?

— Очень хорошо все понимаю! А ты помнишь, что Антон Павлович насчет ружья говорил?

— Как же, Иванушка! Это ружье у многих литераторов поперек горла стоит.

— А оно не в горле стоять, а стрелять должно! Ты вот меня в железные ботинки нарядил, а они...

— Ноги жмут?

— Если б жали — полбеда, а то не стреляют!.. Ты, сочинитель, со мной не шути, а давай мне нагрузку.

Посмотрел я на Ивана Перекрестова и понял, что с таким парнем шутки плохи: давно ли шестнадцать лет стукнуло, а хватка у него — взрослому богатырю впору,

— Успокойся, Ванюша, найдутся для тебя дела немалые!

Десяти минут после разговора не прошло — Ванька тут как тут!

— Ничего не придумал еще?

Не дай бог никому с таким героем связаться!

Кончилось тем, что довел меня Ванька до злющей бессонницы. И, уж не знаю, от бессонницы или по другой причине, стала мне память изменять: многие пережитые годы, даже отдельные даты хорошо помню, но вот 1922 год в тумане утонул.

В один из поздних вечеров, после того как Иван Перекрестов особенно мне досадил, одолела меня тоска прямо-таки невыносимая.

— Эх, будь что будет! — решил я,—Утро вечера мудренее...

Взял принял сонного зелья, книгу, которую в руках держал, поставил перед собой, прислонив ее к спинке стула, и уже протянул было руку к выключателю, но тут снова появился передо мной Иван Перекрестов. И такой сердитый, каким я его ни разу не видывал!

— Будет мне нагрузка или нет?!

Подожди, Ванюша миленький, вот выплусь, может быть, тогда...

Я такие посулы каждый раз слышу. Говори сейчас же, что мне делать! А то я сам придумаю!

— По авторскому праву...— начал я, но сразу осекся. Вспомнил, что авторским правом случаи столкновений и тяжб между авторами и их персонажами никогда не предусматривались.

— На хрен мне такой автор сдался! Так, говоришь, в каком году я сейчас действовать должен?

— В тысяча девятьсот двадцать втором,— добросовестно ответил я, не подозревая, какую штуку он готовился выкинуть.

Мне даже неудобно рассказывать о том, что произошло дальше... Ванька взял и исчез...

В сущности исчезновение того или другого персонажа в литературе —

явление обыденное. «Проходные» или «служебные» персонажи научились так ловко смываться со страниц романов, повестей, даже рассказов, что ты, читатель, и не заметишь, на какой остановке тот или другой гражданин успел вылезти из вагона. Но Ванька... Ведь он прекрасно знал, что не относится к числу «служебных» или «проходных»!.. Вещи нужно называть своими именами: Ванькино исчезновение было крайне некорректным поступком, а принимая во внимание способ, которым он его осуществил,—самым настоящим свинством!

Посудите сами. Вместо того чтобы по-человечески уйти в дверь, он ушел, вернее, вошел в... стоявшую перед ним книгу!

Восстанавливая все в памяти, я решительно утверждаю, что его поступок был во всех деталях обдуман заранее. Ванька действовал удивительно последовательно и уверенно. Сначала (это происходило у меня на глазах) он уменьшился в росте до размера телефонной трубки, затем вспрыгнул на стул, распахнул, как дверь, крышку переплета и, перешагнув какой-то невидимый мне порог, исчез внутри книги, после чего крышка снова захлопнулась.

Все это было настолько нелепо, настолько противоречило законам физики и человеческого рассудка, что я заподозрил: уж не подвергся ли Ванька чьему-либо литературному влиянию? Если бы бывший завбиб Н-ского стрелкового полка (я состою с ним в дружбе более шестидесяти лет) клятвенно не заверил меня, что в его библиотеке никогда не было книг Э. Т. А. Гофмана, я несомненно взял бы под подозрение этого проказливого сумасброда. Но его влияние было исключено. Становилось очевидным, что до такого поступка Ванька дошел своим умом.

А что ум при сем присутствовал, я догадался, глянув на книгу. Это был не какой-нибудь легкомысленный сборник волшебных сказок, а фундаментальный том (642 страницы, не считая вкладок!), на строгой академической суперобложке которого значилось:

ВСЕМИРНАЯ
ИСТОРИЯ
ТОМ
VIII

Только теперь я осознал, что, собственно, произошло: мой шестнадцатилетний герой вошел в историю. Подчеркиваю: не «попал», а именно «вошел». И не просто в историю, а в историю всемирную!.. Тысячи опасностей поджидали его там! Водить компанию со всевозможными Навуходоносорами, Аменхетепами, Митридатами, Александрями

Македонскими, Ганнибалами, Юлиями Цезарями, Тамерланами и всякими Наполеонами, несомненно, было крайне рискованно. Зная Ванькин характер, можно было опасаться его столкновения с Торквемадой и другими инквизиторами. Ему грозило общество развратных женщин вроде Мессалины и Клеопатры. Наконец, он мог просто заблудиться в несметных толпищах Карлов, Генрихов, Людовиков, Фридрихов, Филиппов и прочих Капетингов, Габсбургов, Бурбонов, Рюриковичей и романовых... Буквально со всех сторон ему грозили сожжение, колесование, виселица, топор, отравы.

Ваньку нужно было выручать немедленно, любой ценой!..

2.

Сна как не бывало! Вскочив с постели, я торопливо оделся и стал ходить по комнате. Увы, появившаяся была надежда, что Ванька раскается и добровольно вернется, скоро исчезла. Тогда я решился на крайнюю меру — пошел сам его разыскивать. Стал на то место, где находился он до своего исчезновения, и дотронулся до переплета стоявшей передо мной книги. И... ее крышка сейчас же увеличилась до размеров большой двери. Повинуясь легкому моему усилию, она широко открылась. Ни форзаца, ни титульного листа — этих неизбежных принадлежностей любой книги — за ней не оказалось. Я увидел перед собой полого поднимающуюся лестницу, сложенную из мраморных плит. Убедившись, что Ванька неизбежно должен был воспользоваться услугами этой лестницы (ни направо, ни налево лазеек не было), я стал подниматься кверху и скоро оказался перед новой дверью, над которой виднелась высеченная на камне надпись. Очень возможно, что на ней было начертано: «Вход посторонним строго воспрещается», но, не зная древнегреческого языка, я этого не понял и постучался.

На мой стук ответа не последовало. Тогда я слегка нажал на дверь, и она открылась легко и бесшумно.

Переступив невысокий порог, я оказался в большом а очень высоком зале, своим убранством очень напомнившем мне пункт управления огромного, полностью автоматизированного предприятия. Вся противоположная стена зала была занята одним-единственным чудовищным по величине устройством, всем своим видом наводившим на мысль о всемогуществе кибернетики и электроники. Стена так и сверкала тысячами разноцветных сигнальных огоньков. Вся эта машина работала совершенно бесшумно. Очень тихий и, я бы сказал, мелодичный шелест, с самого начала привлекавший мое внимание, происходил от непрерывного,

стремительного движения спускавшейся откуда-то сверху белой ленты, имевшей в ширину не менее двух метров. Проскользнув змеей между множеством блестящих цилиндров, лента с такой же стремительностью исчезала в отверстии пола. По своей упругости и прочности она не могла быть бумажной. К тому же в воздухе не чувствовалось ни пыли, ни запаха типографской краски. То, что я видел, полиграфическим производством не было...

Движимый понятным любопытством, я сделал несколько шагов вперед, но сейчас же был остановлен чьим-то спокойным, но властным приказанием:

— Смертный! Не подходи близко к моему свитку!

Голос был женский, звучный и приятный по тембру, но, сознаюсь, услышав его, я удовольствия не получил. Он поражал своей нечеловеческой бесстрастностью. Да и обращение на «ты» не говорило об особой приветливости. А чего стоило словечко «смертный»! Напоминать пожилому человеку о его недолговечности было по меньшей мере невежливо. Даже самые молодые работники издательств не допустили бы подобной бестактности, а уж им-то отлично ведомо, кто смертен, кто бессмертен!

Пристально присмотревшись, я увидел черноволосую женщину в белом халате. Она сидела за небольшим столиком спиной ко мне и, не отводя глаз, следила за лентой, скользившей по самому большому из цилиндров. Не понимаю, что она могла рассмотреть: лента проносилась мимо нее со скоростью не менее двухсот метров в секунду... Но я давно уже перестал удивляться всевозможным чудесам. Больше всего меня, пожалуй, поразила корзина, стоявшая у ног женщины. Грубо сплетенная из ивовых прутьев, к тому же изрядно помятая и поломанная многими редакционными или канцелярскими бурями, она выглядела здесь безобразным, к тому же совершенно бессмысленным анахронизмом.

Но долго размышлять над значением корзины мне не пришлось. Раздался звук, подобный удару гонга, лента остановилась, и в помещении воцарилась полная тишина. В ту же минуту женщина поднялась, повернулась ко мне, и... я ошеломился от удивления, увидев античный профиль, а затем и овал ее лица, прекрасно знакомый по тысячам изображений древнегреческих изваяний, терракотовых статуэток и рисункам на вазах. То, что я принял вначале за прозаический халат, оказалось пеплосом, весьма простым, но элегантным по покрою.

Несомненно, это была одна из многочисленных богинь. Но кто именно?.. Такой вопрос отнюдь не был праздным. Эти прекрасные

создания были самолюбивы и ревнивы. Они дрались друг с другом из-за чайной ложки жертвенного оливкового масла. Достаточно было, обознавшись, спутать Геру с Геей или Артемиду с Афродитой, чтобы нажить миллион неприятностей, до встречи с какой-нибудь Эринией включительно. Как видит читатель, мои опасения имели вполне реальные основания...

Здесь-то и помог мне опыт журналистской работы, выучивший меня искусству сопоставлять факты. Надпись над входом, поражавший бесстрашием голос, обидное обращение «смертный», упоминание о «моем свитке» — все это уже вело к разгадке тайны, но... уж очень рискованно было сделать ошибку! К счастью, мой взгляд снова упал на корзину, и я убедился, что предо мной во всем своем величии стояла сама богиня истории — муза Клио!

И я очень неплохо вышел из затруднительного положения, сказав:

— Привет тебе, о мудрейшая из муз, Клио Зевсовна!

Я бил без промаха. Ни одна дева никогда не возразит, если ее назовут мудрейшей из девяти или даже большего количества сестер. Не мог ей быть неприятен и намек на высокопоставленного папашу-громовержца.

Цель моя была достигнута. Правда, улыбнуться моей собеседнице не позволило достоинство богини, но все же уголки ее губ благосклонно дрогнули.

— Смертный!—произнесла она изменившимся в лучшую сторону голосом.— Ты удивил меня своей эрудицией: очень мало кто узнает меня по первому взгляду и еще меньше людей, помнящих о моем происхождении. Я рада приветствовать тебя в моем храме.

Успех порождает смелость.

— Кстати, Клио Зевсовна. как здоровье твоего папаши и твоей мамы? Помнится, ты являешься дочерью Мнемозины, исходя ей из могущественного рода титанов?

Богиня вздохнула.

— Признаться, мне тяжело говорить о моем папе. Техническая революция застала его врасплох. Его консерватизм и пренебрежение к физике зашли так далеко, что он не признает существования атомной энергии и утверждает, что метание молний остается вершиной военного искусства и техники. Разумеется, с такими взглядами ему пришлось уйти с Олимпа, и сейчас он живет на пенсии. На амброзию ему, конечно, хватает, иногда остается и на нектар, но он очень скучает. Что касается мамы, то она под моим влиянием сумела перестроиться и перевоплотиться. Она в добром здравии, много работает и даже не помышляет об отдыхе. Сейчас

она здесь перед твоими глазами...

Я осмотрел внутренность храма и не обнаружил никого.

— Ты не узнаешь ее, смертный? Тебя смущает ее но-вый облик. Моя мама — вот...

И Клио с гордостью показала на махину, сверкавшую тысячами разноцветных сигналов. Я понял, что богиня памяти титанка Мнемозина перевоплотилась в титаническое запоминающее устройство, и почтительно ему поклонился.

— В своем новом облике Мнемозина, великая изобретательница слов и чисел, выглядит много величественнее, нежели раньше! —сказал я.

Мой комплимент был не только услышан, но и понят: Мнемозина ответила на него фейерверком красных и зеле-ных сигналов. Что они означают, я не уразумел, но истолковал как проявление милостивой доброжелательности.

Между тем Клио продолжала:

— За сутки мама обрабатывает миллиард поступающих информации (я забыла упомянуть, что она владеет четырьмя тысячами языков). Она просматривает все выходящие в мире печатные издания, выслушивает все радио- и телепередачи, незримо присутствует на всех конгрессах, съездах, конференциях, симпозиумах, защитах диссертаций, премьерах спектаклей, выставках, турнирах, матчах и судебных заседаниях... Запуск новых спутников, полеты космических кораблей, строительство новых сверхмощных пред-приятий... Я бессильна перечислить даже тысячную долю событий, которые регистрирует мама. Но это еще полдела. Из миллиарда информации она запоминает три миллиона наиболее значительных и значимых событий и вносит их в мой свиток. Ты представить себе не можешь, как это облег-чает работу: ведь отходы маминого производства составляют не менее четырех миллионов тонн в сутки!

Сознаюсь, эта цифра поразила меня больше всех предыдущих. Правда, я и раньше предполагал, что не все творимое и вытворяемое человечеством достойно страниц истории, но чтобы вес ее отходов измерялся миллионами тонн,— это было для меня новостью.

Заметив мое удивление, Клио пояснила:

— Каких-нибудь две с половиной тысячи лет назад я прекрасно обходилась вот этой своей корзиной, но сейчас я терплю ее около себя лишь для того, чтобы меня не путали с такими легкомысленными девчонками, как Талька и Терпсихорка. Весь бумажный мусор, осколки разбитых гипсовых монументов, картины и скульптуры абстракционистов,

нелепые конструкции непризнанных изобретателей, рукописи графоманов — все это мама автоматически выбрасывает в реку Стикс. Туда же летят лживые и подлые труды фальсификаторов...

При этом слове в голосе богини снова зазвучал металл.

— О смертный! — воскликнула она. — Скажи мне самое сильное ругательство, какое ты знаешь, и я применю его к этим людям!

Сознаюсь, получив такое приказание, я оторопел. Мои современники-соотечественники поймут неловкость моего положения: не мог же я вложить в прекрасные уста богини бог знает что!.. В то же время я понимал и разделял чувство Клио в отношении фальсификаторов истории. Но перед лицом разгневанной богини долго размышлять не приходилось.

— «Сукины дети!» — не очень уверенно подсказал я.

Вооружившись не хватавшим ей термином, муза гневно продолжала:

— Я делаю все, чтобы приблизить человечество к познанию Объективной Истины, а эти сукины дети всячески стараются увести его в сторону. Нет подлости, на которую они не были бы способны! Они выдергивают единичные факты и обходят молчанием самую сущность исторического процесса. Выхватывая цитаты из творений мудрецов, они либо обесмысливают их, либо топят в отвратительной жиже собственных гнусных вымыслов. Они, эти сукины дети, не брезгуют ни мистификациями, ни подлогами!.. Слушай, смертный, а ты не обманул меня?.. Помнится, воины твоего народа, бросаясь в атаку на фашистов, восклицали какие-то другие, более сильные слова... Я даже вспоминаю некоторые из них.

— Бессмертная! — в испуге закричал я. — Молю тебя, не оскверняй своих уст ужасными словами военного времени! В нашем языке есть слова, произнеся которые можно потерять пятнадцать суток жизни. Клянусь тебе священными волнами всех рек мрачного царства Аида и фуражкой ближайшего постового милиционера, что это не вымысел, а абсолютная объективная истина!

Моя искренняя горячность умилила богиню, и лицо ее снова осветилось подобием улыбки.

— Ты смел и находчив в беседе, смертный, и это мне нравится... Скажи мне, с какой просьбой ты пришел, и я постараюсь ее исполнить.

— Мудрейшая из богинь! Я осмеливаюсь просить тебя и твою великую мамашу о предоставлении мне срочной творческой командировки в...

— Безумец! — перебила меня муза. — Ты тратишь время на разговор со

мной, когда тебе нужно спешить на Беговую улицу.

— Ты посылаешь меня в Лнтфонд, бессмертная?.. Это почтенная и гуманная организация, но она бессильна мне помочь. Больше того, по своей заботливости она, приняв заявление, может направить меня в объятия врача-психи-атра, что вовсе нежелательно... Дело в том, что мне нужна командировка в 1922 год!

— Странно!—ответила богиня.— За полчаса до тебя приходил симпатичный и очень решительный юноша, требовавший, чтобы я посадила его в эшелон Н-ского стрелкового полка, шедший на юг в 1922 году.

— Вот этот-то юноша мне и нужен!

— Он уже там... Я не могла воспрепятствовать его желанию, потому что он лицо вымышленное и, как таковое, может по прихоти создавшего его автора путешествовать по всем направлениям времени и пространства, но вот пропустить в прошлое живого автора я затрудняюсь... Нет, это невозможно!

— Для богини нет невозможного!

— Это, конечно, так,— ответила польщенная муза.— Но...

— Мудрейшая из девяти сестер, учти, что в глубь прошлого меня влечет не праздное любопытство, не непоседливость туриста, а поиски истины.

— Ты мастер приводить доводы, и все-таки я не решаюсь... Ведь вы, советские писатели, считаете великой для себя заслугой активно вмешиваться в жизнь. Это очень хорошо, когда идет речь о современности, но, попав в прошлое, ты будешь лишен способности действовать, чем-либо себя проявлять. Тебе предстоит испытать чувство вымышленности.

— Чувство... вымышленности?!

— Да. Ты, конечно, много слышал о чувстве невесомости, которое доводится испытывать вашим космонавтам. Для них во время полета как бы отменяется один из основных законов физики — закон притяжения. Космонавты утверждают, что к ощущению невесомости можно если не привыкнуть, то приспособиться. Чувство вымышленности во много раз ужаснее. По сути дела, это — чувство своей нереальности. Я могу позволить тебе побывать в 1922 году только на правах вымышленного лица. Кстати, тебе, как писателю, будет небесполезно: ты на своем опыте узнаешь, каково приходится нам, богам, и плохо вымышленным персонажам произведений.

— Как?! —воскликнул я.—Разве ты не...

Поняв, что она проговорилась, Клио резко перебила меня:

— Соглашаешься ли ты на мои условия?

— Разумеется! — решительно ответил я.

— Мама, смертный решается посетить 1922 год! Координаты: РСФСР, Н-ский стрелковый полк, 2-й эшелон в момент следования на юг.

Разобраться в сигналах огромного электронного устройства я не мог, но следующая команда уже относилась ко мне:

— Смертный, приготовься!.. Эшелон на подходе к станции Грязи Юго-Восточной железной дороги. Закрой глаза! Сейчас перед тобой в обратном направлении за тысячную долю секунды пронесутся события сорока трех лет. Ты готов?

Мне очень хотелось в эту минуту закричать: «Не надо, я раздумал!» Но это значило бы подорвать свой авторитет в глазах двух трехтысячелетних старушек и, возможно, навсегда потерять Ваньку... Собрав все свое мужество, я сказал:

— Готов!

Что со мной произошло дальше, я так и не понял и вряд ли когда-либо пойму. Первое, что я почувствовал,— это свет и тепло яркого солнечного дня. Потом меня оглушили пронзительные свистки паровозов, разноголосое лошадиное ржание и шум большой человеческой толпы. Внезапно под самым моим ухом раздался озорной мальчишеский голос:

— А вот ыклеры — папиросы здесь, вот они!

Как бы удивил один этот возглас моего теперешнего сорокалетнего современника! Но я, открыв глаза, увидел именно то, что ожидал увидеть: в двух шагах от меня вертелся лохматый, босоногий, как черт, грязный мальчишка-папиросник, торговавший поштучно папиросами «Эклер». Даже ряшка его показалась мне малость знакомой. Уж не тот ли это шкет, который, продавая мне десяток «ыклеров», обсчитал меня на целых две тысячи рублей?

Сомнений быть не могло: я оказался в 1922 году. И не где-нибудь, а среди многолюдного базара, в двухстах метрах от двухэтажного, хорошо прокопченного здания большой узловой станции Грязи.

Муза Клио честно выполнила свое обещание...

3.

Не то в Кочетовке, не то в самом Козлове в библиотечный вагон подсел лекпом Оськин, тот самый, что при отъезде из Архангельска позеленел от хлорофилла. По старой памяти завбиб принял его суховато, но скоро оказалось, что Оськин большой весельчак, к тому же человек бывалый: служил в армии с 1908 года, а до того времени работал в эпидемических

отрядах, гасивших вспышки тифа, оспы, холеры, даже чумы. За шесть лет службы в заразных бараках он, к великому удивлению завбиба и Ванькиному удовольствию, нажил немалый запас всевозможных занимательных историй с самыми веселыми концовками. Грозные болезни фигурировали в его рассказах в качестве комических персонажей под своеобразными кличками и прозвищами: холера именовалась «тещей», оспа — «свекровью», дизентерия — «золовкой», чума — «кумой». Такое панибратство с врагами человеческого рода сначала не понравилось завбибу, но Оськин сумел его переубедить.

— Я не зря им прозвания дал, а по необходимости. Привезут, скажем, тебя в холерный барак вовсе квёлого, как я к тебе подойти должен?.. Тут очень многое от медсостава зависит. Иной подойдет да и брякнет: «Холера у тебя, браток, а холера на то и холера, что шутить не любит. С этой самой койки, на которую тебя положили, уже четверых ногами вперед вынесли». Оно, если разобраться, все правильно, но только от таких слов больной еще квёлее делается и оттого теряет всякую прочность. У меня подход вовсе другой: «Чем ты теще досадил, что она этак тебя скрутила?» Больной, натурально, в недоумение приходит: «Какая такая теща?» — «Да та самая, какая от сырой воды заводится»... И наговоришь ему два короба шуток-прибауток: мало ли их про тещ сложено! Смотришь, больной совсем разбираться перестал, чего ему делать: не то охать, не то смеяться... Великое дело, когда больной страх перед болезнью теряет!

Шутовское (по мнению завбиба) измывательство над болезнями, как оказалось, имело некоторый смысл.

Ванька же усмотрел в долгой и опасной работе Оськина нечто героическое, походившее на подвиг.

— Сам-то ты ни разу ничем не заразился?—осведомился он у лекпома.

— Наяву ни разу ничем, а во сне один раз «свояка» прихватил.

— Как «во сне»? —изумился завбиб.

— Наяву, особенно в работе, никакая зараза ко мне не пристанет, потому что я ни одной болезни не боюсь, а вот за свой сон никто поручиться не может. Довелось мне один раз в «дядькиной» палате работать. Больные, все как один, очень непрочные были, а товарищ мой, с которым я сменялся, приболел, и пришлось мне одному безотлучно четверо^ суток дежурить. До того я от усталости дошел, что хожу, а пол подо мной волнами ходит. На третьи, должно быть, сутки один из больных помер. Вынесли его... Ну, я и не удержался — прилег на пустую койку и, конечно, сразу заснул. Сплю, сам во сне понимаю, что спать нельзя, а дремота глаза так и застилает. И привиделось мне под конец, будто я

«свояка» подцепил... Так что же? Трех недель не прошло, я и свалился...

— Очевидная инфекция, нормальный инкубационный период! — со знанием дела определил завбиб.

— Как бы не так! Вовсе ничего нормального тут не было: с ног меня сбил «свояк», а спал-то я на дядькиной койке.

— Подожди... Кто такой «свояк» и кто «дядька»?

— Разве я тебе не все объяснил? «Свояк» — сыпной тиф, ну а «дядька» чином повыше: я так сап называю.

— Ты... спал на койке умершего от сапа?!—с дрожью в голосе спросил ошеломленный завбиб.

— Это неважно! — простодушно ответил Оськин.— Во сне-то я «свояка» видел и поэтому по всем правилам «свояком» заболел.

— А если бы тебе «дядька» приснился?

— Тогда не миновать «дядькой» хворать...

За занимательным разговором о страшных «родственниках» время летело незаметно. Рассказчик первый вспомнил о предстоящей долгой стоянке.

— Пеековатку давеча с ходу проехали, а сейчас, значит, мост через реку Матыру должен быть. Речка хоть и небольшая, но дельная: глубокая и рыбная... Я эти мес?а знаю. Как мост проедем, так и Грязи... Вон никак уж и элеватор показался. Здешний элеватор первейший на всю Россию!

И в самом деле. Выглянув по примеру Оськина из двери вагона, Ванька увидел огромное серое здание.

— Ух ты, какой здоровый! — подивился он.— И ни одного окна в нем нет! Чего же в нем по потемкам делают, в этом элеваторе?

Даже весьма обстоятельные объяснения завбиба и Оськина, что серая машина служит зерновым складом, не совсем убедили Ваньку, и он решил по приезде в Грязи удостовериться в том лично. Под таким предлогом и выпросил у завбиба отпуск.

4.

Увы, не каждое намерение претворяется в жизнь! Познакомиться с грязинским элеватором ближе Ваньке помешало роковое стечение обстоятельств: во-первых, эшелон остановился далеко от него, во-вторых, Ванькиным спутником по исследовательской экспедиции оказался всеведущий лекпом Оськин, заявивший, что около станции есть базар-«хитровка», где продается лучшая в мире махорка-самосад высоко ценимого знатоками сорта «Вырвиглаз». С благословения крайне заинтересованного завбиба Ванька и Оськин двинулись на поиски этого

деликатеса и через три минуты оказались в табачном ряду шумного базара, в обществе юного бизнесмена с «ыклерами» и... изнывающего в состоянии вымысленности автора.

Оказавшись в окружении табачных спекулянтов, Оськин чувствовал себя, как рыба в воде. Сначала прошел вдоль ряда мешков с махоркой, оценивая товар на глаз, потом приступил к дегустации. Выкурил сигарок шесть, пока добрался до настоящего «Вырвиглаза». Однако совершению торговой сделки помешало появление нового продавца, громовым басом оповестившего:

— Только для настоящих курильщиков! Листовой самосад — сам черт ему не рад! Смерть мухам, да здравствует чахотка!

Можно было ждать, что такая реклама разгонит покупателей, но настоящих курильщиков разве испугаешь! Кинулись к мешку, как мухи на мед. Оськин оказался в числе первых. Он же первым высказал авторитетное суждение о рыночной новинке:

— Табачок подходящий! Ежели к нему для нежности «Вырвиглаза» добавить — нормально будет...

Поняв, что его компаньон застрял в табачном ряду надолго, Ванька прошел в соседний ряд — «обжорку». Нигде и никогда не доводилось ему видеть такую сумятицу, обонять столько запахов и слышать одновременно такое количество криков, завываний, воплей и визга! С полсотни спекулянтков-ведьм всех мастей и возрастов, охваченных торговым азартом, надрывалось на все лады, выхваливая свою стряпню.

— Блинцы, блинцы!.. С пылу, с жару, по сотне за пару! Навались, у кого деньги завелись!..

— А вот каша пшенная, тушенная с маслом, сахаром!

— Сальников горячих, сальников!

— Соплюшки горяченькие! Сама бы ела, да денег нету! Соплюшки! Соплюшки!

— Печенка жареная, печенка!.. Осталец по дешевке отдам!

Кому-то такие яства по средствам, кому одним запахом довольствоваться приходится. Румяные, варенные на пост-ном масле соплюшки выглядели весьма аппетитно, но Ванька прошел мимо них с таким видом, точно перед тем у царя пообедал: экая, мол, невидаль! Однако по привычке все видеть и слышать ни одной диковины не упустил. Успел даже мимоходом пожалеть старенькую бабку, продававшую тощего жареного кролика. Где бы она со своим товаром ни примащивалась, горластые торговки беспощадно ее прогоняли.

— Пошла отсюда со своей стервятиной, старая хрычовка! Нечего

другим коммерцию перебивать!

Кончилось тем, что, переменив десяток мест, старуха примостилась у самого края обжорного ряда, куда ни один покупатель не заглядывал. Здесь-то с ней и случилась настоящая беда. Ванька, случайно оказавшийся поблизости, прекрасно рассмотрел и расслышал все происходившее.

Небрежной походкой вразвалку, взметая базарную пыль широченными раструбами штанов-клеш, к старухе подошел молодой парень в вельветовой бордового цвета кепке на голове и, выхватив у нее из рук кроличью тушку, спросил:

— Сколько, старая мумия, задохлого кота просишь?



Такой вопрос поразил бабу в самое сердце.

— Окстись, родимый!... Виданное ли дело кошатиной торговать? Ты на хвост глянь... Видишь, хвост-то трусиный...

— Отрубить коту хвост недолго! Я сейчас враз определяю— трус или кот... А ну, брысь отсюда!!!

Старуха от страха зажмурилась. Пока жмурилась, кролика след простыл! Быстрым, почти неуловимым движением пройдоха-клешеносец метнул тушку в сторону, где она и была кем-то подхвачена. В ту же минуту с разных сторон раздалось насмешливое мяуканье.

— Где он?.. Батюшки, да что ж это такое?.. Куда, милоч, моего труса дел?

— Твой кот на крышу залез. Позови «кис-кис», может быть, откликнется.

— Так ты же моего труса в руках держал?

Невдомек старой, что ее среди белого дня ограбили и над ней же теперь потешаются. Пуще всего ведьмы-обжорницы рады.

— Ай да Запуляла!

— Дай ей, Запуляла, леща по морде, чтобы больше сюда не ходила!

Тут только догадалась старуха, в чем дело. Залилась горячими слезами, согнулась в три погибели и, спотыкаясь, прочь пошла.

Между табачным рядом и «обжоркой» толкучка толчется. Ходят какие-то непонятные серые личности, боками друг о друга трутся и на ходу свои товары выхваляют. Больше всех один небритый, в рваной студенческой тужурке суетится, размахивая спорком ярко-красного сукна.

— Кому на гали генеральское сукнецо продам? Кому на гали?..

Два года назад отгремела гражданская война, вышли из моды лихие красные галифе, никому такой товар не нужен. Вот кремни для зажигалок и сахариновые таблетки бойко идут. У иного задрипанного спекулянта весь товар в жестяной банке из-под леденцов «Ландрин» уместается, а денег в карманах немалые миллионы... И никому не ведомо то, что через два года тот спекулянт в нэпманской поддевке на лихачах по большим городам станет разъезжать до той поры, пока Советская власть его не ссадит.

— Слезай, приехал! Теперь без тебя обойдемся!

А победитель Запуляла как ни в чем не бывало дальше шествует. Бордовую кепку на затылок сдвинул, чубом трясет, клешами пыль взметает. Руки в карманах, вроде гулять вышел. А сам вокруг глазами зиркает, к людскому говору прислушивается и воздух нюхает — ищет новую беззащитную жертву. И ведь вынюхал, сволочь! Чуть не за двадцать метров

учуял больничный запах карболки и креозота. Пошел на тот запах и увидел: стоит, опершись на палку, человек худобы неопишущей, в мятом пальто и фуражке с поломанным козырьком (видно, и то и другое не одну неделю в больничной кладовке хранилось) и в руках карманные часы вертит.

— Продаешь часики?

— Не хотел, да при... приходится... На дорогу день... деньги нужны...

— Дрянь небось!.. Дай посмотрю.

При покупке часы первым делом на слух проверяют. Запуляла так и поступил: зажал их в кулак и, кашлянув в лицо продавцу, коротким движением кисти запулил через плечо. Стоит перед продавцом, пустой кулак прижал к уху, слушает и нахально ухмыляется.

— Барахлят твои часы, отец. Их выбросить надо!

— Не... неправда... Часы хо... хорошие, моз... мозеровские. В шест... шестнадцатом году куплены и до сих пор жи... живут. Если бы не ну... нужда...

Что для Запулялы чья-то чужая нужда? Поняв из разговора, что перед ним человек вовсе слабый, он враз распоясался.

— Какие часы?.. Бредишь, что ли, черт заразный?.. Хватит тебе вонять! А ну, пошел отсюда, пока я тебя не пришиб!..

Деньги, хитрость и сила — только это и признает «хитровна». Такого товара, как совесть и честь, здесь никто не держит. Милицию звать? Так какой голос нужно иметь, чтобы базарный шум перекрыть? Да и не до «хитровки» транспортной милиции. Она и утечка едва успевают порядок в поездах и на самом вокзале поддерживать. Со всех четырех концов России-матушки днем и ночью веянии народ едет. Пойди разберись в этом человеческом потоке!

Нелегко больному, к тому же человеку преклонного возраста, весу в людей терять! Идет ограбленный продавец часов с «хитровки», не то от ветра, не то от слабости, не то от горя шатается.

Но только ста шагов не отошел, нагоняет его парнишка в военной гимнастерке, со стриженной головой.

— Дядя, на тебе твои часы. Да получше их спрячь! И больше с этой шпаной не связывайся.

Сказал так, сунул в руку часы и повернулся, чтобы обратно идти. —

— Обо... обождите, мол... молодой че... человек. Я хоч... хочу... побла...

— Мне, дядя, некогда!

— На по... поезд?

— Обратно на «хитровку» тороплюсь, Запулялу бить стану!

— Не... не... не... надо!

Ответ донесся издалека:

— Еще, ух ты, как надо-то!

До последней минуты Запуляла был убежден в успехе предприятия и мнил себя обладателем дорогостоящего мо-зеровского хронометра. Какова же была его ярость, когда оба его подручных сообщили ему, что «пуля», не долетев до них, была перехвачена в полете каким-то «шкетом в хаковой⁶ рубаше. Так как на «хитровке» никто никому никогда не верил, Запуляла первым делом заподозрил подчиненных в «заначке» добычи. В этом ничего невозможного конечно, не было, и он, не производя следствия, сразу же приступил к расправе. Избить в кровь двух четырнадцатилетних мальчишек ему было нетрудно (он был примерно на четыре года старше их), но цели своей — возврата «заначенного» — он, разумеется, не достиг. Мало того, избив подчиненных, сделал три ошибки сразу: зря потратил время и силы и, как выяснилось через десять минут, безвозвратно потерял двух, если не очень сильных, то ловких и проворных союзников.

Запуляла дураком не был и понял это довольно скоро. Понял и вспылал лютой злобой к истинному виновнику своей неудачи. Найти его, этого виновника, оказалось легче легкого! «Шкет в хаковой рубаше» (проницательный читатель, конечно, догадался, кто это был!) и не думал прятаться. Более того, он направлялся прямо к Запу-ляле.

5.

Бордовая кепка Запулялы и Ванькина стриженная голова медленно и грозно шли на сближение...

Воображаешь, читатель, положение автора, пребывающего в беспомощном состоянии вымышленного персонажа?

О трижды священное право активного вмешательства в жизнь!!! Если бы дело происходило в наши дни, автор прекрасно знал бы, что надлежит ему делать. Этому научили его многочисленные статьи, очерки и рассказы на моральные темы. Один язык этих статей и рассказов способен в два счета перевоспитать, даже переродить человека!

Я нежно взял бы Запулялу под руку (это почти то же, что «взять на поруки») и, отойдя в сторонку, разъяснил бы ему позор и вред тунеядства (слов «дармоед» и «дармоедство» в таких случаях употреблять нельзя: они невыносимо грубы!). Я мягко пожурил бы его за то, что он в течение часа сделал два «проступка», сначала «споткнулся», потом «оступился» (упаси вас боже от архаических вульгаризмов вроде «воровства», «кражи» и «грабежа»! Они допустимы только изредка в описаниях подвигов милиционеров и дружинников). С большим тактом я намекнул бы ему на

возможность «понесения заслуженного наказания» (элемент иронии в слове «заслуженное» недопустим! Совершенно неуместно было бы упоминание о «тюрьме», ибо оно может травмировать собеседника). Имея в виду бордовую кепку и штаны-клеш, я с беззлобным юмором (только незлобивость смягчает душу!) отозвался бы о «стиляжничестве» (такие слова, как «фатовство», «франтовство», «франт», «фат», «ферт» отвратительны даже фонически!). Наконец, я провел бы с Запулялой душевную беседу о «кодексе» (не упоминая прилагательного «уголовный»), и тогда — конец, всему делу венец! — Запуляла повернул бы свой жизненный курс на сто восемьдесят градусов!

Увы, я не мог взять Запулялу под руку, ибо был временным и бесправным гостем далекого тысяча девятьсот двадцать второго года...

Запуляла направлялся к Ваньке с самыми жестокими, может быть, даже кровавыми намерениями. Им руководила злоба.

Ванька шел навстречу Запуляле тоже с кое-какими далеко идущими намерениями. Им руководил гнев.

Злоба и Гнев! Однажды, раскрыв некий словарь синонимов, автор увидел эти слова загнанными в одну строку и глубоко возмутился. На его взгляд, сблизать эти понятия так же неправильно, как сажать в одну клетку обыкновенного серого волка с сумчатым волком — мешкопсом. Оба они хищники, оба называются волками, но звери они совсем разные. Хотя охотники, животноводы, даже склонные к некоторой сентиментальности защитники природы не велят любить волков, из двух этих зубастых бестий я выбрал бы нашего серого забияку и разбойника. Сделал бы так не из чувства патриотизма, а потому, что он, наш канис люпус, принадлежит к подклассу высших млекопитающих — плацентарных, в то время как его тезка — мешкопес — относится к подклассу более примитивно организованных — сумчатых.

Точно так же сходство злобы и гнева не идет дальше совпадения некоторых внешних их проявлений. Природа же их совершенно различна. Злоба, злость — это постоянная и, надо сказать, очень противная черта характера. Как качество характера, она не остается совсем неизменной: из тайного ненавистничества она может активизироваться и разрастись до необузданной жестокости. Гнев — не постоянное качество, а временное, чаще всего весьма кратковременное состояние человека. Не будучи чертой характерами крайне редко вспыхивает без причины. Пересчитав своих друзей-приятелей, каждый из нас обязательно вспомнит о каком-либо шумовитом, вспыльчивом добряке. Впрочем, по причине достаточно уважительной могут гневаться самые уравновешенные люди.

Имел ли повод для гнева Иван Перекрестов, пусть судит читатель...

Когда противники сошлись с глазу на глаз, выяснилось, что Запуляла на полголовы выше и по крайней мере на пуд тяжелее Ваньки. Сам Ванька не обратил на это внимания. Его поразило другое: смазливое лицо Запулялы очень напоминало ангельскую маску, которой плакатный Кощей-буржуй прикрывал свою клыкастую морду. Сходство Запулялы с фальшивым ангелом мира не только не уменьшило, но утроило Ванькин гнев. И почувствовал он от этого гнева такую силу, такую непоколебимую твердость в ногах, что сам удивился:

«Ух ты, а ведь, похоже, у меня на ногах железные ботинки!»

Однако смотреть на свои ноги у Ваньки времени не было. Пробежал по всем его жилам и косточкам веселый боевой задор. Едва успел по сердобольному русскому обычаю со своим противоборцем несколькими теплыми словами обменяться:

— Чего, Запуляла, хочешь: живота или смерти?

— Сейчас я из тебя телячью отбивную котлету состряпаю! — свирепым басом пообещал Запуляла.

— Тогда держись, язви тебя в корень, Кощеево отродье!

Закончив на том разговор, Ванька немедленно приступил к делу.

Ужасных подробностей сражения автор описывать не будет. Что касается его исхода, то он был предрешен стремительностью Ванькиного нападения. Применяв тактику молниеносных, коротких, но частых ударов, он в первую же минуту вынудил противника перейти к пассивной обороне. Несомненно, Запуляла был сильнее Ваньки, но уж слишком долго он вел легкую праздную жизнь, слишком часто и обильно лакомился блинцами и соплюшками! Большая часть его силы уходила на преодоление собственной тяжести и рыхлости. Зато Ванькины руки, натренированные колкой дров, работали в полную силу, а кулаки его по своей тяжести и твердости не уступали булыжникам. Вдобавок ко всему Запуляла оказался большим неженкой. Он, бессовестно истязавший других, очень боялся боли... Когда Ванька метким, отнюдь не случайным ударом сокрушил ему несколько передних зубов, он взвыл предсмертным волчьим воем и бросился наутек. И убежал бы, если б не брюки-клеш! Запутался в них и упал... Лежит, скулит, а встать — Ваньки боится.

«Лежачего не бьют!» — отступился Ванька от Запулялы и заторопился на поезд. Торопиться его заставили два обстоятельства: то, что поблизости никого из полковых не было (даже Оськин исчез) и то еще, что уж очень подлым местом «хитровка» оказалась: сначала горой за Запулялу стояла, а когда Ванька одолевать начал, на его сторону переметнулась. Спекулянтки-

обжорницы от крика охрипли:

— Эй ты, стриженный, наподдай ему еще раз!

— По сусалам его, по сусалам!

— Не верь ему, это он по-нарошному свалился! Дай ему носком под ребра!

От таких сволочных советов у Ваньки всякий аппетит к драке пропал, и железные ботинки с ног соскочили.

Но уйти ему сразу не пришлось. Задержали пацаны — бывшие Запуляловы подручные. Преподнесли ему трофей — бордовую вельветовую кепку.

Осердясь за подношение, Ванька его на землю кинул и ногой в пыль затоптал. Но от разговора с ребятами отказаться не мог. Как-никак подошли они по-хорошему, к тому же с советом:

— Плитуй отсюда, а то здесь тебя враз пришьют!

С блатной тарабарщиной Ваньке познакомиться было неоткуда. Несколько минут толковал с ребятами, пока понял, что был Запуляла участником шайки грабителей-на-летчиков и что «отцы» — взрослые ее руководители — обязательно за него мстить станут.

Разговор прервался неожиданно.

— Вон они идут уже...

— С разных сторон: два отсюда, три оттуда, а два на стреме стали...

— Пропадать теперь тебе, Стриженный!

Предупредив Ваньку, оба пацана исчезли.

Оценив обстановку, Ванька понял, что дела его плохи. Он был окружен врагами, которых не знал в лицо, он же со своей стриженной головой был примечен многими. Все же здравый смысл подсказал ему, что следовало попытаться затеряться в самой гуще толпы, притом как можно дальше от «обжорки». Глазастые и горластые ведьмы незамедлительно его предали бы. Лучшим временным убежищем был табачный ряд. Из всех посетителей «хитровки» торговцы «вырвиглазом» и «мушиной смертью» выглядели наиболее солидным и заслуживающим доверия элементом.

Не желая привлекать к себе внимание излишней суетливостью, Ванька степенно, как подобает денежному покупателю, пересек опасную толкучку и в конце концов добрался до мешков с махоркой. Выбрав самого добродушного на вид торговца, он присел на корточки перед его мешком.

— Можно, я, дедушка, у тебя закурю?

Свернул «козью ножку», для вида закурил и разговор со стариком затеял. Задаёт вопросы о том, о сем, а сам соображает, что дальше делать. От табачного ряда до станции рукой подать, но стоят на дороге верзилы-

стремщики. Даже не скрывают, зачем стоят: крутят головами, к каждому прохожему приглядываются. Можно было бы, конечно, пойти на прорыв: захватить из мешка горсть махорки, напасть на одного из стремщиков и, запорошив ему глаза табачной пылью, проскочить на станцию. При Ванькиной ловкости такой план был осуществим, но он сам сейчас же забраковал его, найдя неприемлемым по подлости и низкому коварству.

Но время передышки истекало. В конце табачного ряда возникло какое-то подозрительное движение: походило на то, что кто-то кого-то искал. И Ванька решил, что пришла пора действовать.

— Дедушка,—сказал он продавцу махорки,— я сейчас свистеть буду, так ты, пожалуйста, не беспокойся!

Вежливое предупреждение пропало втуне! При первой трели волшебного свистка старик закачался и бессильно опустился на мешок с товаром.

Берясь за волшебный свисток, Ванька мыслил надвое: если бы затребованное им войско (появление его было крайне желательно!) почему-либо не явилось, то переполох на «хитровке» возник бы неминуемо. Сумятица и бестолочь спутали бы планы преследователей и открыли бы перед Ванькой безопасный путь для отступления...

Последующее подтвердило правильность расчета.

Только такой кутерьмы, какая поднялась, Ванька все-таки не ожидал! По сигналу тревоги сразу выяснилось, сколь мало было на «хитровке» людей со спокойной, чистой совестью. Как угорелые заматались застигнутые врасплох спекулянты, воры, воришки и неопределенного вида личности, не надеявшиеся на исправность своих документов. В обжорном ряду царил настоящая паника: каждая из тамошних ведьм находилась в состоянии затяжного, непримиримого конфликта с саннадзором и милицией. Именно оттуда и донесся истошный, полный ужаса вопль:

— Светы родные, облава!!!

Здесь и пришло Ванькино время! Избегая особой поспешности (совесть у него была чище, чем у кого-либо другого), он направился своей дорогой. Однако выбраться с «хитровки» оказалось не просто, она... была окружена цепью вооруженных людей!..

Среди приспевшего по Ванькиному сигналу войска мелькали знакомые ему лица однополчан — коммунистов и комсомольцев, но руководили делом какие-то незнакомые, очень серьезные люди с наганами и маузерами на боках, как Ванька догадался,— чекисты. В том, что в их группе оказался военком Сидоров, ничего особенного не было, но вот как затесался туда недавний Ванькин спутник лекпом Оськин, было уже

непонятно! Между тем было видно, что он являлся отнюдь не маловажным участником событий. Когда Ванька был пропущен через линию оцепления и попробовал к нему присоединиться, Оськин обдал его холодом:

— Ступай сейчас же в свой вагон! Здесь дело серьезное!

Приказания военкома Ванька, конечно, послушался бы... Побаиваясь, что и тот может сказать что-нибудь подобное, он поторопился (о возвращении в вагон не могло быть и речи!) до поры, до времени стушеваться на заднем плане.

Между тем операция, предпринятая против «хитровки», и впрямь была серьезным и неотложным делом. Предупрежденная секретным приказом по линии, УТЧК напала на след хорошо организованной шайки налетчиков. Но еще серьезнее выглядело переданное военкому Сидорову донесение Оськина. Покупая на «хитровке» табак, он успел опознать в одном из посетителей толкучки старого недоброго знакомого, командира бандитского отряда, напавшего в степях Украины на стоявший на одной из маленьких станций поезд.

— Были к тому поезду четыре наших санитарных теплушки прицеплены,— обстоятельно докладывал военкому Оськин.

— В трех раненые и серьезно помороженные, а в четвертой (она вроде изолятора была) «своячные»... тифозные, значит... Налетели бандиты на станцию, первым делом порубили телеграфиста и дежурного, потом за поезд взялись: машиниста, помощника, кочегара — всех трех расстреляли и пошли по теплушкам большевиков и красных командиров искать. Этот, который сейчас на «хитровке» скрывается, у них был за старшего, он и расстреливал... Сам, самолично видел, как он четыре раза наган перезаряжал... Мне не верите, у помкомроты-два товарища Исаева спросите. Он только случаем спасся, кедострелили его...

И не хотелось бы верить такому рассказу, но нельзя было не поверить! Тем более, что помкомроты Исаев его почти слово в слово подтвердил.

Ни минуты не медля, военком связался с УТЧК и транспортной милицией. После экстренного делового совещания и было принято оперативное решение основательно прочесать «хитровку». Помощь полковой парторганизации обеспечила предприятию полный успех: сквозь частую сеть не прорвалась рыба ни большая, ни маленькая. Вместе со старым знакомцем Оськина (он был схвачен за руки двумя ловкими чекистами, когда доставал из кармана гранату-лимонку) и налетчиками угодили в нее и Запуляловы подручные, и босоногий продавец «ыклеров».

Каждому почет по заслугам. Бандита и налетчиков (в последнюю минуту к этой компании добавили выловленного торговца кокаином)

повели под усиленным конвоем в особо надежное местечко, где бы их дождь не замочил. Ведьм с «обжорки» вместе с их товаром, криком и визгом перепоручили заботам поселковой милиции и саннадзора. Беспризорников, всех гамузом, под присмотром двух совсем юных милиционеров погнали в деткомиссию. К великому изумлению и негодованию Ваньки, в их гурьбе оказался Запуляла! Побитая, опухшая и окровавленная физиономия, свесившийся на глаза чуб и босые ноги (чтобы казаться меньше ростом, он снял ботинки и засучил по колени длинные расклешенные штаны),— он и впрямь выглядел жалким.

Однако Ваньку такая метаморфоза ничуть не умилила (он усмотрел в ней очередную хитрость Кощея). Поэтому он показал Запуляле кулак и во всеуслышание пообещал:

— Другой раз попадешься, ух ты, чего тебе будет!

Но долго раздумывать над будущей судьбой Запулялы не довелось. Ванькино внимание привлек разговор военкома Сидорова с Оськиным. Собственно, для его, Ванькиных, ушей он не предназначался, но... кому запретишь слышать то, что слышно и интересно?

— Придется тебе, товарищ Меркулов, вместе с Исаевым здесь остаться. Дело вашего знакомого Ревтрибуналом пахнет. Без ваших свидетельских показаний не обойтись. Жаль, очень жаль...

Можно было подумать, что военком сокрушается по поводу долгой предстоящей разлуки, но Оськин (к удивлению Ваньки оказавшийся Меркуловым) сразу сообразил, в чем дело.

— Это вы, товарищ военком, насчет хлорофилла и моей отсидки на гауптвахте беспокоитесь? Будьте благонадежны, товарищ военком, как прибуду, все пять суток под свечками отбарабаню. Я ведь понимаю, что иначе нельзя. Что получится, если каждый желающий в казенный спирт окунаться будет? Никак нельзя такое безобразие без строгого последствия оставить!

Сама горячность, с которой самокритиковался Оськин, наводила на некоторые сомнения в его искренности, но и военком оказался не простаком: взял да и поймал его на слове:

— Вот и хорошо, товарищ Меркулов, что ты такой сознательный, сам со мной согласился. Что решено, то и подписано!.. А вот за сегодняшний твой поступок я обязан тебе от имени партии и революции благодарность высказать и руку твою пожать!

Получив одновременно с рукопожатием революции пять суток гауптвахты, Оськин только за ухом почесал, а после ухода военкома весело сказал Ваньке:

— Видал, какой принципиальный? Ай да военком!..

Кое-кто из читателей, пожалуй, признает решение военкома Сидорова нелогичным, а потому и излишне суровым. Но так ли это?

Много всякого видел автор! Было время, когда одного опрометчивого, а то и просто сказанного от души резкого, но правдивого слова было достаточно, чтобы сразу забылись великие труды и подвиги человека. И другие времена бывали: скажет какой-нибудь краснобай красно-хитро сплетенное слово, и простятся ему все до единого прегре-

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

ЧИТАТЕЛЬ УЗНАЕТ НЕЧТО НОВОЕ О ПРАВАХ ЧЕРНОЗЕМСКИХ ПРОФЕССОРОВ.

СТОЛКНУВШИСЬ С ПРОЗОЙ, ЗАВБИБ ТЕРПИТ АВАРИЮ.
ЧТО НАДЕЛАЛИ СОЛОВЬИ?

1.

Всему приходит конец. Даже военные тайны и те в свое время раскрываются. Эшелон не отходил из Грязей, когда побежало, зашелестело по вагонам необычное для северного уха слово:

— Черноземск!

— Какой такой Черноземск?

— Город такой есть. Точка нашего назначения.

— Далеко до него?

— Железнодорожники рассказывают, совсем близко.

Бойцы в полку — одна молодежь. И ехали не скучали, но тут напало на всех такое веселое нетерпение, что впору из вагонов выпрыгивать и в пешем строю до Черноземска топать. Хуже всего, что никто не мог описать, как этот самый Черноземск выглядит. Правда, три или четыре командира успели побывать в нем осенью тысяча девятьсот девятнадцатого года, но они в ту пору гоняли генералов Мамонтова и Шкуро и осматривать города им было некогда. Наиболее любопытные и нетерпеливые побежали в библиотеку к завбибу, как наиболее энциклопедически образованному человеку, но у того почти ничем не поджились. Спрятав на дно ящиков энциклопедические словари Брокгауза и Граната, завбиб утратил девять десятых своей эрудиции. Сознаться в этом было не в его интересах, и он попытался выпутаться из положения своими силами.

— Город Черноземск, как видно из его названия, построен на черноземе, на берегу реки Черноземки и является центром Черноземской губернии... Он был основан в... Не могу сказать точно, когда, но только

утверждаю, что он был основан, иначе его не существовало бы и мы бы туда не ехали...

Здесь последовала многозначительная пауза. Завбиб сделал ее не от хорошей жизни: его привела в ужас собственная мудрость.

— Кроме того,— собравшись с мужеством, продолжал он,—история Черноземска тесно связана с деятельностью Петра Первого, который там строил и спускал на воду корабли. Самый большой корабль, им построенный, назывался «Предистинация»...

— Как? — ахнул кто-то из вопрошавших.

— Пре -дис-ти-на-ция!—отчетливо повторил завбиб.

Произошло чудо. Глыба учености, обрушенная на головы любопытных, отбила у них охоту продолжать беседу. Откуда завбиб выхватил это маловразумительное слово, он не помнил и сам, но пришлось оно кстати.

Кто проявил не фальшивую, а самую подлинную географическую эрудицию, так это военком Сидоров! Начав слушать его беседу с бойцами, завбиб очень скоро сам заслушался.

— Черноземск, товарищи, город замечательный! Эго нам счастье приперло, что нас туда передислоцировали. Я Архангельск хаять не хочу,— тоже знаменитый город,— но против Черноземска у него кишка слаба. А почему слаба?.. Потому, что в Черноземске университет есть! А университет —это вам, товарищи, не пень дубовый, не церковноприходская школа, а наивысшее учебное заведение... Преподают в нем не простые учителя, а ученые профессора, постигшие свою науку в совершенстве. Если профессор, скажем, хирург, то у него до того рука набита, что он тебе все что хочет отрежет и ты даже не почухаешься. Или возьмем профессора геологии, который земные породы изучает... Дашь ему какой-нибудь камешек, он на него только глянет, носом понюхает и враз определит, какие в нем элементы есть. По всем наукам профессора имеются: по химии, по физике, по ботанике, по зоологии, по математике, по истории... И каждый по своей специальности обязательно собаку съел.

И все эти профессора сидят на кафедрах не зря, а себе на смену молодых ученых готовят... И очень просто случиться может, что кто-нибудь из вас, кто большую охоту к учению имеет, возьмет экзамен выдержит и в университет поступит. Все вы, понятно, слышали про своего знаменитого земляка Михаила Ломоносова, про то, как он до высшей науки добирался. По сравнению с ним вам такое дело сделать — раз плюнуть, потому что власть сейчас у нас рабоче-крестьянская и мы полные хозяева своей жизни... Есть еще в Черноземске сельскохозяйственный институт, который

агрономов делает. В нем опять-таки на кафедрах профессора сидят.

Вы, товарищи, небось смотрите на меня и думаете: с какой, мол, стати полковой комиссар пустился о профессорах рассуждать? А смысл в этом очень большой, и я вам его досконально разъясню.

До Черноземска осталось три часа ходу, но только по занятости путей он наших двух эшелонов сегодня принять не может. Прибудем мы туда завтра рано утром и первым делом за разгрузку вагонов возьмемся: они государству для других целей требуются. Как только разгрузимся, строевым порядком, со знаменами и музыкой к месту нового расположения двинемся. Идти нам предстоит по самым главным улицам, а улицы в Черноземске не чета архангельским: дома все каменные, двухэтажные и трехэтажные, окна в них — что твои ворота! И размещается в тех дворцах не бывшая буржуазия, а всякие советские организации и культурные заведения, в первую очередь университет!

Военная музыка всех притягивает. Кинутся профессора и студенты к окнам и сразу увидят, что дважды краснознаменный полк идет. По этим-то высоким наградам о нас судить и будут... Конечно, в том, что на весь личный состав первосрочного обмундирования не хватает, виноваты не мы, а наша временная бедность, но насчет всего остального держи ухо востро! Я этих профессоров еще по Петрограду знаю, им пальца в рот не клади!.. Они не только на земле, на небе всякие беспорядки обнаруживают. Появилось, скажем, на солнце пятно — сейчас же на него протокол составляют. На луне гора обвалилась — протокол. На Марсе кто-то палки расшвырял — протокол. Комета с привязи сорвалась — протокол! Наши же непорядки они без телескопа в два счета рассмотрят!..

А посмотреть есть на что! Иду я как-то по Архангельску и вижу: два наших бойца гуляют. Оба при полном параде. Глядя на них, я даже порадовался. Только радости моей ненадолго хватило...

Понадобилось одному из них высморкаться, он взял и высморкался тем манером, какой у самых диких людей из обычая вышел- двумя пальцами...

Потлоковал я с ним: "Неужели, говорю, у тебя носового платка нет?"

— «Как же,-отвечает, -есть целых четыре вовсе новых, только я их экономлю». От такой сопливой экономии любой серьезный профессор со смеха помрет... И за другими примерами далеко ходить не надо. Отсюда видно, как по станции боец пятой роты товарищ Кадымов гуляет: пошел, значит, людей посмотреть и себя показать... А смотреть-то на него никто и не хочет потому что красноармеец без поясного ремня вида не имеет... Или товарища Крамсакова взять, который неподалеку от меня стоит: у него с

левой ноги обмотка сползла... Тоже красота невеликая!.. У товарища Пролешего по новой моде ширинка расстегнута...

Здесь военком Сидоров с досадой заметил, что сбился на нудный и скучный жанр мелочного «пропесочивания». Так как портить кому-либо настроение он не собирался, то и перебил самого себя:

— И между прочим, сам военком Сидоров третий день небритый ходит!.. И если мы завтра в таком виде мимо Черноземского университета пройдем, нам всем стыд и срам будет! Посмотрят профессура из окна и скажет: "Вот какие малосознательные моржееды в Чернозем приперлись!"

Концовка военкомовской речи, как догадывается читатель, никого в уныние не привела. Никогда еще грязинские железнодорожники не видели таких веселых воинских эшелонов!

И никогда в Черноземске не было такой прекрасной погоды. как в день прибытия Н-ского стрелкового полка!

Разгрузить вагоны успели еще по утреннему Отдохнули, почистились и напоследок, чтобы черноземских профессоров не насмешить, еще раз друг друга с ног до головы осмотрели. Тут и раздалась команда.

— По ротам стройсь!

Начали строиться, но двор товарной станции оказался тесен. Пришлось выходить на улицу, за ворота.

— Трам, та-ра, трам! Там-там, там-там!..

Загремел оркестр. Закачались впереди знамена. Зазвенела, зацокала под коваными каблуками каменная мостовая.

— Первый батальон, шагом марш!

— Рота!.. Шагом!.. Арш!

Ать... два... Левой!.. Шире шаг, тверже ногу!

Полк, даже не полностью укомплектованный — часть немалая: прошло минут пять, прежде чем колонна вытянулась во всю свою длину и каждое подразделение оказалось на своем месте. Нестроевики очутились в самом хвосте колонны, откуда ни знамен не видно, ни музыки за топотом не слышно. Одно барабанное уханье издали доносится. Очень хотелось Ваньке наперед забежать и посмотреть, как строевики идут, но приказом определено было место клубным работникам в рядах писарей, санитаров, оружейников. Только для одного завбиба исключение сделано. Дано ему разрешение находиться вне строя, чтобы мог он по личным своим наблюдениям особо торжественную статью для стенной газеты сочинить.

В строю говорить не полагается, но все-таки откуда-то слушок пришел: «Как свернем налево, так и университет будет». И верно.

Свернули налево и оказались перед длиннейшим трехэтажным каменным домом. Окна в нем были хотя и меньше ворот, но все же большие, из таких окон многое рассмотреть можно! Вздвигая и отделенные командиры по этому поводу строевого усердия наподдали:

— Ать, два, три!.. Соблюдай равнение в рядах! Выше голову, тверже шаг!

Говорят, молчание — знак согласия. Университет промолчал: очевидно, профессора остались довольны...

Когда музыканты устали дудеть, настал черед показать свое искусство для ротных певцов. В пении они поднаторели еще в Архангельске, когда ходили на портовые работы, Завбиб, сумевший дважды пропустить мимо себя весь полк, в своем очерке с большой похвалой отозвался о походных песнях, «под звуки которых шаг становился особенно чеканным». Не оспаривая этого отзыва об исполнительском мастерстве песенников, автор, справедливости ради, должен отметить некоторые странности репертуарного порядка.

Если запевалы второй роты выбирали песни самые воинственные, маршировавшая за ней третья рота упорно воспевала птиц всех семейств и видов.

— Все пушки, пушки грохотали, трещал наш пулемет...— грозно басыла вторая рота.— Вдоль да по речке, вдоль да по Казанке сизый селезень плывет!..—старательно отрубая слово от слова, выпевали тенора третьей.

— На квартиру к нам заехал комиссар, весь израненный, он жалобно стонал...— начинала вторая рота новую песню.

— Ты не вейся, черный ворон, над моею головой!.. — не задумываясь, отвечала третья.

Стоило второй роте пообещать:

— Мы смело в бой пойдем за власть Советов! — как третья рота ее подбадривала:

— Взвейтесь, соколы, орлами!..

— Разбили мы Деникина, разбили Колчака, московских спекулянтов посадим в Вечека! — сердито грохотали басы.

Но тенористые любители-орнитологи из третьей роты упорно гнули свою линию:

— Соловей, соловей-пташечка, канареечка жалобно поет!..

Нестроевая команда некоторое время шагала, молча завидуя спевшимся соседям, но в конце концов не выдержала. На ходу разыскали запевалу и на подмогу ему двух свистунов. Выбрали песню такую, чтобы

хором только один припев петь. После первого же куплета дело пошло на лад.

— Вышла Дунька за ворота,
А за нею солдат рота...
Эх, Дуня, Дуня я,
Дуня — ягодка моя!

По-видимому, Дуня действительно была сладкой ягодкой. Где бы она ни появлялась, что бы она ни делала, за вей обязательно кто-нибудь увязывался. Матросы, саперы, кашевары, студенты, доктора — никто не избег соблазна последовать за очаровательницей. Что она делала с толпищами покоренных ею мужчин, о том песня мудро умалчивала. И вообще это была очень покладистая песня: ее можно было начать с любого куплета и любым куплетом кончить. Пропетая сзади наперед, она не утрачивала ни одного из своих достоинств. Кроме того, настраивая исполнителей и слушателей на веселый лад, она отнюдь не обременяла их глубокими размышлениями и переживаниями. Это обстоятельство позволило Ваньке сделать множество интересных наблюдений и кое-что осмыслить.

3.

Получив от военкома задание написать статью о приезде полка в Черноземск, завбиб не был склонен рассматривать его как серьезное и трудное дело. Он даже предложил:

— Стихами можно, товарищ военком?

— Я серьезное дело на тебя возлагаю, а ты со стихами!.. Нужно все описать: как ехали, как приехали, как шли... Хозкоманду похвалить не забудь: здорово ребята поработали. Опять же про общее отличное настроение. И не «вообще» пиши, а с фактами, так, чтобы не скучно читать было.

В довершение всего военком озадачил завбиба и прикомандированного к редколлегии художника крайней срочностью выполнения задания.

— Чтобы завтра к вечеру газета висела!

Уже через четверть часа работы изрядно вспотевший завбиб раскаивался в былом пренебрежении к «презренной» прозе. Чтобы сказать коротко о многом, приходилось из уймы подвертывающихся слов выбирать слова наиболее меткие и ёмкие. О художественных отступлениях не могло быть и речи. Скажем только, что вводное предложение «под звуки которых

шаг становился особенно чеканным» было не единственным и (увы!) не самым худшим из стилистических оборотов, найденных завбибом. Но... пусть каждый журналист вспомнит свою первую встречу с трудным жанром «развернутого очерка»!

Во всяком случае сам завбиб на следующий день решительно отверг похвалу военкома, сказав:

— А я считаю, что плохо вышло: скучно очень... Не умею я прозой писать!

Так расстроила завбиба творческая неудача, что дальше некуда! Общеизвестно, что, будучи преимущественно поэтами, Пушкин и Лермонтов иногда снисходили до прозы, и это благополучно сходило им с рук. По крайней мере зав-бив никогда не читал о том, что, написав «Капитанскую дочку» или «Героя нашего времени», они мучились угрызениями совести. Сопоставляя себя с этими счастливыми, завбиб приходил к самым невеселым выводам. Сомневаться в силе собственного дарования доводилось ему и раньше, но не так... А тут еще близость университета с его заман-н. чивым филологическим факультетом...

На новом месте полковой клуб просторно расположился в только что отремонтированном здании бывшего офицерского собрания.

Для того, кто сильно устал, и газетная подшивка сойдет за перину... Наспех и без особого аппетита поужинав, завбиб и Ванька начали готовиться к ночлегу. Первым делом, чтобы выветрить запах сохнувшей штукатурки, окна открыли. Только открыли, на них так и пахнуло полынным ароматом недалекой степи.

Не отходя от окна, Ванька и сделал открытие, прогнавшее мысль о спокойном сне.

— Завбиб, посмотри, как в Черноземске солнце садится! Ух ты, как!

— Везде оно одинаково садится. — тоном глубоко разочарованного в жизни человека ответил завбиб.

— А вот и врешь, вовсе не одинаково!.. У нас в Сибири или в Архангельске оно медленно опускается. Совсем уже, кажется, к земле подходит, а потом от нее отскакивает, весь день по небу кружит. Как собака вертится, когда себе место выбирает, так и оно. Оттого, наверно, что елки и сосны кругом, а кому охота на колючего ежа напороться?.. А здесь солнце смело книзу идет, потому что садится на мягкое...

Смелые Ванькины метафоры поразили завбиба: он отроду не слышал, чтобы солнце сравнивали с собакой. Великой новостью было и то, что солнце в один из вечеров может по неосторожности на что-то наколоться...

Даже слова приготовил завбиб, чтобы отругать Ваньку за допущенные им вульгаризмы, но вспомнил об «особенно чеканном шаге» и... промолчал! Вместо того встал, подошел к окну и... засмотрелся. Красный солнечный шар с величавым спокойствием готовился к безопасной посадке на приготовленную для этой цели нежную зелень пригородных садов. Легкая предвечерняя прохлада обещала назавтра новый ведреный, переполненный хлопотами день...

И вдруг под самым окном:

— Прх... фь-фью... фью...

Да как раскатом раскатится, как засвистит, запленькает!

Ваньке такое впервой слышать.

— Кто это, завбиб?

— Соловей, Ваня.

— Ух ты!..

С соловьями Ванька был знаком только по басням да по песенному репертуару третьей роты. А тут настоящий, живой, черноземский соловей — сосед, друг-приятель, может быть, даже родственник курской знаменитости!.. Один под самым окном запел, другой из сада с противоположной стороны откликнулся, а потом еще один. И пошло, и пошло! То ли потому, что им вечер очень нравился, то ли старались они в честь окончания песенного сезона, но только дали соловьи концерт на славу, не ударили в грязь лицом перед приезжими!

4.

Стоят у окна завбиб и Ванька, смотрят, слушают и молчат. Не меньше часа промолчали, пока наконец Ванька потихоньку не спросил:

— О чем ты сейчас, завбиб, думаешь?

— О будущем, Ваня...

— И я о нем. Ты чего в жизни, хочешь?

— Писать хочу.

— Для себя или для людей?

Вопрос был задан непростой, но походило на то, что завбиб заранее его предвидел.

— Для людей и про людей. Чтобы они читали и лучше делались.

— Тогда так! И я этого хочу, чтобы люди лучше делались. И чтобы между всеми людьми мир и порядок были, а нечестности и жадности и в заводе нигде не оставалось. Если я сумею до Кощея добраться, ух ты, чего с ним сделаю! Хребет ему пополам переломаю...

— Тогда я о тебе поэму... нет, не поэму, а толстую книгу прозой напишу!

— Напиши... Только правду пиши и чтобы читать весело было... Знаешь чего, завбиб?.. Уж шибко ночь хороша! Давай маленько по двору погуляем?

Только вышли во двор, обступила их кругом ночь. Не такая, как на севере — белесая, а темная-претемная, из черно-синего бархата сшитая, золотыми и серебряными гвоздиками к небу приколоченная...

— Из-за темноты и не заметили сразу, что по двору еще кто-то гуляет.

— Это вы здесь, культпросветы, полуночничаете?

Можно было предполагать, что военком сейчас же обоих спать погонит, но случилось другое,— он к их компании присоединился и затеял разговор, никакого отношения к повседневным делам не имеющий.

— Соловьев слушаете и мечтаете?

— Так точно, товарищ военком, слушаем и мечтаем! — по простоте душевной отрапортовал Ванька.

Завбиб тоже сознался, что кое о чем подумывал, но какую-либо причинную связь между своей мечтательностью и соловьиным пением начисто отверг, так как почитал соловьев за тривиальнейший аксессуар второсортной лирики,

Пропустив мимо ушей мудреный антисоловьиный выпад, военком Сидоров проникновенно сказал:

— Отдохнуть нужно бы, но душевное состояние не позволяет, Хожу вот, слушаю и сам с собой досконально толкую... Это хорошо, завбиб, что я тебя встретил, может, ты мне что посоветуешь?.. Получил я из Петрограда письмо от друга своего, с которым еще в тысяча девятьсот семнадцатом году в Смольном подружился. Советует он мне, дня не откладывая, на учебу ехать. Дельно пишет: прошло, мол, время, когда от комиссаров один революционный пыл спрашивался... Оно и верно: какой, окунуть меня в кулеш и рассольник, я воспитатель, если за душой у меня три с половиной класса городского училища? Очень охота мне его совета послушаться!.. Ты не смотри, что я такой усатый, ведь я еще не совсем старый: тридцать два года мне... Вот я и хотел с тобой потолковать: очень трудно будет практическую математику и словесность изучить, если я на то, скажем, два года потрачу?

Мысль о том, что военком Сидоров может уехать из полка, опечалила завбиба, но он с горячностью встал на сторону его петроградского советчика.

— С вашей памятью вам вовсе нетрудно будет!

— Я и сам думаю попробовать... А там, что партия скажет... Буду у нее потом на производство проситься!

Пошли дальше втроем. Идут и каждый порознь, и все вместе об одном и том же — о будущем — мечтают. А звезды их разговоры слушают и в знак одобрения мигают:

— Так, мол, правильно!

Дошли до конца двора, назад повернули и остановились... Кажется, обо всем переговорили, а расставаться не хочется. Стоят потихоньку и слышат: кто-то мимо них идет и о Московской военной академии вслух мечтает.

— Закончить Военную академию — это значит боевой опыт на теорию помножить!

Голос не чей-нибудь, а самого адъютанта Потапенко. Идет он, про академию рассуждает, а сам за талию держит... не академию, а Тосю...

— А какой в Москве театр самый-самый лучший?

— Художественный.

— Ах!..

Может быть, и еще что-нибудь расслышали завбиб, военком и Ванька, но на этом месте разговор заглушили тривиальные аксессуары.

ОГЛАВЛЕНИЕ

ОХ, УЖ ЭТОТ ВАНЬКА!

Глава первая

Повествует об одном приятельском разговоре. Читатель знакомится с новостями Горелого логоста

Ванька по-и царевна

Глава вторая

Ванька в гостях у колдунов. Волшебная книга, ступает как человечество. Серебряный корабль Арихметка

Глава третья

20

Сказ об опрометчивом чиновнике, о том, как костромские и вологодские мужики разыскали рай и откуда взялась река Негожа

Глава четвертая

О чем твердили ходики? Киприан Иванович Перекрестов принимает важное решение

Глава пятая

Рассказывает о ночном переполохе, о том, как Ерпан застрелил звонаря, а Ванька обманул чересседельник

Глава шестая

Ванька становится хозяином планомона и обретает незаменимого товарища в лице Медвежьей Смерти. Беспремерный полет, не ставший достоянием истории. Если не считать порки, все складывается великолепно
.....

Глава седьмая

О том, как Ванька устраивал пресню, о том, как мимо него прошло купеческое счастье

Глава восьмая „ _

О чем разговаривали пароходы. У Петра Федоровича оказывается много учеников

Глава девятая

Ерпан возвращается злым. Ванька ищет и находит неизвестное

Глава десятая

Петр Федорович учится воевать. Как нужно писать сочинения? Ванькино горе

Глава одиннадцатая

Когда смеется тайга. Ванька, наверное, станет статистиком 134

39

67

85

99

107

117

ЭШЕЛОН ИДЕТ НА ЮГ

Глава первая

Военком и завбиб. Две музы одного стихотворца. Первый посетитель

.....

Глава вторая

Глава шестая

Золотой корабль исчезает, для того чтобы возникнуть вновь у берегов Ньюфаундленда. В библиотеке разгорается великий спор, в результате которого оказывается, что подвиги похожи на мамонтов!227

Глава седьмая

О том, как Ваньке подвернулся маленький подвиг. Белая ночь, полная треволнений Женщина в черном. Автор решительно отказывается отвечать

за Ванькины поступки . 239

Глава восьмая

Существует ли настоящий юг? Военком Сидоров на короткое время попадает впросак. Тося соглашается стать королевой. Необыкновенные последствия пробы волшебного свистка . 264

Глава девятая

Невероятный поступок Ваньки Перекрестова. Час в обществе богинь. Творческая командировка в 1922 год. Бывает ли гнев веселым? . . . 284

Глава десятая

Читатель узнает нечто новое о нравах черноземских профессоров. Столкнувшись с прозой, завбиб терпит аварию. Что наделали соловьи? 312

Алексей Иванович Шубин СЕМЬ ПАР ЖЕЛЕЗНЫХ БОТИНОК
ПОВЕСТИ

Редактор И. Е. Толстой Худож. редактор Г. Д. Попов. Техн. редактор Н. И. Орлова. Корректор С. А. Дубова.

Сдано в набор 12/X1 1965 г. Подписано в печать 28/1 1966 г.

Формат 84хЮ8Уз2' Физ. печ. л. 10,13. Уел. печ. л. 17,01. Уч.-изд. л. 18,07. ЛЕ01391. Тираж 50 000 экз. Цена 72 коп. Заказ № 14044.

Центрально черноземное книжное издательство, г. Воронеж, ул. Цюрупы, 34.

Воронеж, типогр. изд-ва «Коммуна», пр. Революции, 39.

Семь пар

ЖЕЛЕЗНЫХ

БОТИНОК

ПОВЕСТИ

ЦЕНТРАЛЬНОЧЕРНОЗЕМНОЕ КНИЖНОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
Воронеж — 1966

notes

1

Н е я с ы т ь— нснасыт ь—большая безухая сова, хотя и нечастая, но повсеместная обитательница больших северных лесов.

2

К л о к у н о к — мелкая утка из. породы чирков.

3

Вывороченное с корнем дерево.

4

Этим ласковым словом во многих северных областях называют клевер.

5

Так железнодорожники называли паровоз серии «Щ».

6

Хаки г- защитный цвет военного обмундирования.